

Цетради по консерватизму

ISSN 2409-2517

[№ 1 2015]

IN MEMORIAM
В.Л. Цымбурский
1957 — 2009

Альманах

{ Январь 2015 г. }



Русская idea

IN MEMORIAM

В.Л. Цымбурский

{ 1957 – 2009 }

Тетради по консерватизму

{ № 1 2015 г. }

Москва
Некоммерческий фонд – Институт
социально-экономических и политических
исследований (Фонд ИСЭПИ)
2015

Рекомендовано к печати
Экспертным советом Фонда ИСЭПИ

Редакционная коллегия
Д.В. Бадовский, А.Ю. Зудин, Б.В. Межуев (редактор-составитель номера),
А.Ю. Минаков, Р.В. Михайлов, Л.В. Поляков, М.В. Ремизов,
А.С. Ципко, А.Л. Чечевишников (гл. редактор)

Тетради по консерватизму: Альманах Фонда ИСЭПИ: № 1. – М.: Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), 2015. – 216 с.

Очередной номер альманаха «Тетради по консерватизму» посвящен выдающемуся русскому мыслителю Вадиму Леонидовичу Цымбурскому (1957 – 2009). Публикуются одна из глав его незавершенной диссертации и несколько малоизвестных выступлений. Многогранное наследие Цымбурского анализируется в статьях его друзей и коллег.

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77 – 59947.

© Некоммерческий фонд — Институт
социально-экономических и политических
исследований (Фонд ИСЭПИ), 2015

Содержание

Дмитрий Бадовский
К читателю
7

Борис Межуев
От составителя
9

«Остров Россия»: концептуальное наследие

А.П. Цыганков
«Островная» геополитика Вадима Цымбургского
12

Б.В. Межуев
Картография русского европеизма
21

Выступления разных лет (1993–2009)

В.Л. Цымбургский
«После аутодафе октября 1993 года вопрос о покаянии
России должен быть снят»
34

«Пока – не входить в мировое цивилизованное...»
37

Основания российского геополитического консерватизма
41

Сборник о новом человеке для новой эпохи
45

Публикация

В.Л. Цымбургский
Морфология российской геополитики и динамика
международных систем XVIII–XX вв. Фрагмент книги.
Глава пятая. Первая евразийская эпоха России:
от Севастополя до Порт-Артура
50

Критические послесловия

Г.О. Павловский
Маргиналии о геополитике
110

А.А. Тесля
Мелочные заметки
123

Пространство дискуссии

М.В. Ильин
Диалог об островах и проливах, междуморьях
и междумирьях
128

Е.С. Холмогоров
В поисках утраченного Царьграда:
Цымбурский и Данилевский
136

С.В. Хатунцев
Вадим Цымбурский, русский геополитик
157

Морфология метафоры

В.В. Ванчугов
От «Острова» к «Крепости»: метафора как инструмент
политического анализа и практической политики
170

Ю.В. Громыко
Идеология как дисциплинарное занятие. Цымбурский –
гуманитарный ученый-пророк
180

Рецензии

А.С. Щавелев
Островитянин, или Размышляя о «Конъюнктурах
Земли и Времени»
188

А.Н. Харин.
Первая книга о великом геополитике
193

Ad futurum

Д.М. Володихин
Россия как независимый субъект геополитики
202

В.М. Сергеев, П.Б. Паршин
«Вадим, по большому счету, не менял сферу своей деятельности»
(О политологическом периоде творчества В.Л. Цымбурского)
205

Е.Г. Борисова
Вадим, мой друг
212

Об авторах
214

К читателю

Российская политология при всем своем ученичестве по отношению к западной политической науке уже имеет собственных классиков, тех, кто способствовал ее развитию в России в девяностых и нулевых годах. Эти годы не прошли безрезультатно для отечественного обществоведения, свидетельством чему могут являться и произведения Вадима Леонидовича Цымбурского, по основному роду своей деятельности – филолога, специалиста по гомеровскому эпосу, кто, начав работать на уровне общественных наук на рубеже 1990-х, оставил ряд очень ярких и даже новаторских произведений, актуальное значение которых только сейчас постигается в полной мере его современниками.

Наверное, правильно, когда осмысление теоретического наследия ученого, равно как и публикация его рукописей (Цымбурский был, может быть, одним из последних мыслителей нашего времени, кто не пользовался компьютером), происходят не спустя много десятилетий, а практически сразу после ухода его из жизни. Не нужно оставлять эту благодарную работу на далекое будущее. Хотелось бы выразить признательность Борису Вадимовичу Межуеву за то, что он продолжает труд по восстановлению наследия Вадима Цымбурского.

Мы и наши коллеги предприняли усилия, чтобы познакомить отечественную аудиторию с основным трудом Вадима Цымбурского в области политической науки – его докторской диссертацией «Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII–XX веков», полное издание которой, будем надеяться, состоится уже в текущем году. И, конечно, этот труд должен получить заинтересованный отклик со стороны оппонентов и рецензентов. Пусть обсуждение, которое мы начали в этом выпуске «Тетрадей», станет заочным диспутом на защите диссертации с последующим присвоением высшей ученой степени – события, которого он, увы, не дождался при жизни. К сожалению, ученая степень – не орден, ее невозможно присудить посмертно. Поддержанной нами деятельностью по расшифровке и публикации текста «Морфологии российской геополитики» Фонд ИСЭПИ в какой-то мере исправляет это упущение, эту гримасу Истории.

Серьезный разговор об актуальности идей Вадима Цымбурского объединил на страницах этого выпуска Альманаха таких ученых и мыслителей, как Михаил Ильин, Борис Межуев, Глеб Павловский, Андрей Тесля, Станислав Хатунцев, Егор Холмогоров, Андрей Цыганков и другие.

И, наверное, последнее в заключение. Конечно, политические взгляды Вадима Цымбурского, как и некоторые его суждения по тем или иным вопросам, вызовут критику, встретят непонимание, даже протесты с разных сторон – причем как справедливые, так и беспочвенные. Это нормально для крупного ученого, для крупного человека. Но очевидно и другое. В своих идейных исканиях он всегда руководствовался интересами и благом России, полагая, что ответственному за свои слова политическому писателю морально недопустимо отрывать себя от общества и государства. Антигосударственный и антинациональный нигилизм был Цымбурскому чужд и враждебен.

Точно так же, как чужд, враждебен и отвратителен автору «Острова Россия» и гражданину своей страны был неприемлемый выбор – выбор, как он выражался, между фашизмом и компрадорством, между масштабным государственным насилием и отказом от государственного суверенитета под нажимом могущественных держав мира.

Надеюсь, четвертый выпуск «Тетрадей по консерватизму», приуроченный ко дню рождения покойного мыслителя, которому 17 февраля 2015 года исполнилось бы 58 лет, станет вкладом в развитие отечественной политической науки.

От составителя

В марте 2015 года исполняется шесть лет со дня кончины Вадима Цымбурского. Увы, пятилетняя годовщина его безвременной смерти оказалась отмечена событиями, которые он предвидел и которых опасался. Евро-Атлантика в своем бездумном расширении попыталась вобрать в себя территории, которые не просто отделяли ее цивилизационную платформу от России, но были теснейшим образом связаны с нашей страной, и полную утрату которых Россия не могла допустить. Не только геополитика Цымбурского, но и все его научное наследие стали предельно актуальными в момент, когда произошло то, что было исключено его геополитической моделью – столкновение европейской и российской цивилизаций на пространстве «лимитрофной» Украины.

Цымбурский считал себя в первую очередь филологом-классиком, но рассчитывал стать доктором философских наук, защитив диссертацию по теме истории русской геополитической мысли XVIII–XX веков. Благодаря поддержке Фонда ИСЭПИ работа над расшифровкой рукописи его диссертации приближается к своему завершению. Читатель настоящего выпуска «Тетрадей» может познакомиться с пятой главой этого труда, посвященной геополитическим исканиям русских мыслителей в растянувшуюся на половину века интермедию между двумя актами вторжения России в европейскую историю.

Геополитические искания Цымбурского, его теоретические идеи и конкретные политические рекомендации вызывали и вызывают многочисленные критические замечания со стороны коллег ученого. Кто-то возражает против самого увлечения выдающегося филолога политическими науками, кто-то не принимает его дрейфа от теоретической политологии к практической геополитике, кто-то имеет претензии конкретно к концепции «Острова России», которая и сделала Цымбурского знаменитым в широких научных средах. Как сможет убедиться читатель, все эти суждения коллег нашли свое отражение или, во всяком случае, получили обсуждение на страницах настоящего выпуска «Тетрадей».

В связи с часто выражаемой досадой представителей филологического цеха по поводу отхода их выдающегося коллеги в область политической науки я хотел бы поделиться одним эпизодом из жизни моего покойного друга и наставника. Году в 1995-м я заинтересовался историей Берлинского конгресса (1878), наиболее яркого эпизода дипло-



матической истории того периода, которому посвящена публикуемая глава докторской диссертации Цымбурского. Вадим Леонидович посоветовал мне прочесть очень ценный им роман Марка Алданова «Истоки». Я проглотил это замечательное произведение за два дня; помимо других эпизодов многопланового романа, мне врезался в память образ лидера британских вигов Уильяма Гладстона, глубоко набожного, религиозного политика, проживавшего в Харденском замке, где в его распоряжении было два стола: один – для политической деятельности, другой – для литературной. За одним столом будущий британский премьер писал политические речи и статьи, за другим готовил к печати рукопись книги о Гомере. Меня поразило этот портрет интеллектуала-универсала XIX столетия, в котором будто оживали тени титанов эпохи Возрождения. Выдающийся политик викторианской Англии, оказывается, на досуге изучал Гомера. Каково же было мое изумление, когда я узнал от Цымбурского, что его идея о присутствии хеттов в эпосе «Илиады» восходит именно к Гладстону и что, соответственно, филологические опыты британского премьера были отнюдь не бесплодны.

Но, с другой стороны, Гладстон, несмотря на все свои достижения в качестве филолога, останется в памяти европейского человечества прежде всего своими политическими поступками. Думаю, что и его русский ученик войдет в историю своего Отечества в первую очередь геополитическими пророчествами и выводами. И хотя Цымбурский жил совсем не в замке, а в однокомнатной квартире вместе с мамой, пережившей его на целых четыре года, в хрущевской пятиэтажке на окраине подмосковного городка Орехово-Зуево, и у него не было двух столов, а положение премьер-министра ему никак не светило, он, может быть, как никто другой в его время, выразил в своей деятельности тягу русского интеллигента к универсализму, к выходу за пределы своей научной специальности, к тому идейно-эстетическому комплексу, который сам Цымбурский назвал «русским викторианством».

Как и всякому выдающемуся филологу, Цымбурскому оказалось тесно в рамках своей науки – «башне из слоновой кости» классической филологии он предпочел не слишком благодарный труд на ниве политической аналитики. Сегодня, спустя шесть лет после его ухода из жизни, мы можем оценить, насколько мудра, хотя и жестока, была его судьба, не позволившая человеку такого интеллектуального уровня, погрузившись в прошлое, закрыть глаза на современность.

А.П. Цыганков
«Островная» геополитика Вадима Цымбурского

Б.В. Межуев
Картография русского европеизма

«Островная» геополитика Вадима Цымбурского

«[Я] пишу о России – “евразийской Атлантиде”
в полукольце Великого Лимитрофа, рискующей потонуть
в его поднимающемся приливе» [11, с. 366].
В.Л. Цымбурский

Работая с текстами о российской внешней политике, я не раз сталкивался с оригинальными концепциями и парадоксальными размышлениями их авторов. Русская мысль полна ими. Но, пожалуй, и в этом ряду геополитическим теориям Вадима Леонидовича Цымбурского принадлежит особое место.

Роль Цымбурского в переосмыслении русской геополитики

Среди многих заслуг Цымбурского в развитии русской политической мысли следует прежде всего назвать его роль в переосмыслении геополитики. В советское время геополитика находилась под официальным запретом, но использовалась в спецслужбах и связывалась с удержанием и экспансией политической власти государства. Геополитические разработки сохранили свою значимость и в связанных с военным планированием государственных учреждениях, в частности Генеральном штабе, где искали пути активного глобального противостояния атлантистским планам США. Из схожего понимания геополитики в основном исходили и те, кто после распада СССР озабочился укреплением позиций России на пространствах Евразии. Для многочисленной группы державников и имперцев геополитика означала прежде всего расширение границ – желательно до периметра советских. Эта линия мышления нашла свое развитие в работах Александра Дугина, переформулировавшего евразийство как теорию геополитической экспансии сухопутных держав против держав атлантической ориентации. Последние объединялись усилиями США и Англии, а роль лидерства евразийских держав была уготована России.

Дугинские теории встретили сопротивление со стороны теоретиков новой волны умеренного евразийства, среди которых были и близкие к правительству эксперты, и члены академического сообщества. В силу своей эрудиции и активности Цымбурский оказался среди них интеллектуально наиболее влиятельным, а его концепция «Острова России» – наиболее радикальным пересмотром прежних геополитических представлений¹. Среди тех, кто не принадлежал к либерально-западническим группировкам – а Цымбурский к ним не принадлежал, – мало кто отваживался открыто защищать изоляционистскую стратегию для страны, не боясь при этом упреков в «сдаче позиций». Цымбурский же доказывал, что позиция геополитического острова обеспечивала новому руко-

¹ Наследие Цымбурского, конечно же, не исчерпывается концепцией «Острова Россия». Более подробно о различных идеях ученого см. монографию Б.В. Межуева [1].

водству страны условия, необходимые для выживания в постсоветский период. В отличие от Дугина он был убежден, что после распада СССР основные угрозы России исходят не от Запада или иных цивилизационных сообществ, а от нестабильности близлежащего периферийного окружения (Лимитрофа). Для Цымбурского речь шла не только и не столько о границах, сколько о парадигме развития постсоветской России в оптимальных для нее условиях умеренной изоляции от основных центров мира.

Отправным для Цымбурского стало понятие Великого Лимитрофа, или череды территорий, отделяющих Россию как от романо-германской Европы на западе, так и от юга и востока. Речь шла о широком межцивилизационном поясе, включающем в себя Восточную Европу с Прикарпатьем и Приднестровьем, Закавказье с горным Кавказом, казахстанско-среднеазиатский край, зону обитания тюрко-монгольских народов, буддистов и мусульман по российско-китайской границе [6, с. 187].

В отличие от ряда классических евразийцев, а также от неоевразийцев дугинского направления, Цымбурский считал несомненным благом для России то, что она не должна более включать в свой состав полосу Лимитрофа. Рассматривая Россию в качестве «цивилизационной платформы», ученый не считал, однако, народы «территорий-проливов» достаточно интегрированными в ткани русской цивилизации. Вместо такой интеграции он предлагал сосредоточиться на внутреннем цивилизационном обустройстве и укреплении «Русской Евразии», сформировавшейся в заволжско-сибирском пространстве между двумя крупнейшими реками, Волгой и Енисеем.

Помимо цивилизационных у Цымбурского имелись и сугубо геополитические соображения приветствовать распад советских границ. Считая «территории-проливы» не освоенными в этноцивилизационном отношении, он расценивал их как «геополитически однородные» с точки зрения обеспечения российской безопасности. Переформулируя Макиндера, Цымбурский обращал внимание на разворачивающуюся в мире борьбу за контроль над Великим Лимитрофом [13, с. 412]. Россия, выпускавшая его из сферы своих непосредственных владений, приобретала тем самым необходимую для обеспечения безопасности буферную зону, а, следовательно, и возможность заняться внутренним обустройством страны. «Россия, покидая “территории-проливы”, отходит “к себе”, на “остров”, с предельным восстановлением дистанцированности от иных евроазиатских этноцивилизационных платформ» [10, с. 22]. Настаивая на необходимости движения к «своему Востоку» – от европейской части к Урало-Сибирскому региону и Приморью, – Цымбурский видел сердцевинную часть страны «государством, у которого на западе окажутся “территории-проливы”, отделяющие его от Европы, а на востоке всё те же трудные пространства» [10, с. 25].

Позволяли ли России международные условия осуществить свою миссию внутреннего цивилизационного сосредоточения? Даже если допустить, что свобода для русских сводилась именно к последнему, то могло ли государство позволить себе инвестировать огромные ресурсы в «новую колонизацию» зауральских территорий, включая перенос туда столицы страны¹, в условиях наличия требующих внимания внешних угроз?

Ответ Цымбурского сводился к тому, что у России есть запас нескольких десятилетий, поскольку «островное» положение страны делает крайне трудным оказание на нее военного давления со стороны как Запада, так и Китая. Однако для успеха нового освоения собственных территориальных пространств необходима соответствующая пониманию императива внутренней

¹ Вслед за Семеновым-Тянь-Шанским Цымбурский отстаивал идею переноса столицы, считая оптимальным для этого район Новосибирска [10, с. 26; 5, с. 278–285].



геополитики внешняя политика государства. В основу этой политики ученый предлагал положить принцип балансирования между основными субцентрами мира, не входя при этом в их число. Сравнивая такую политику с политикой другого «островного» государства, Британии, Цымбурский писал, что «Россия XXI в. – не претендент на гегемонию, а противник абсолютной гегемонии любого из субцентров» [7, с. 40]. Полемизируя со сторонниками пересмотра границ и полноимперского возрождения России, он был убежден, что страна «в нынешних границах сможет решить задачи на своем востоке, отложенные на века Империей» [7, с. 39]. Развивая эту мысль, ученый предупреждал: «...вменяя России европейскую, евразийскую, “римские” и подобные континентальные миссии, мы доиграемся до того, что потеряем Сибирь, а с ней потеряем и Россию» [7, с. 39].

Таким образом, Цымбурский задолго до прихода в официальный лексикон терминологии цивилизации и самобытных ценностей поставил вопрос о геополитике ценностей, способствовал легитимизации такой постановки (поскольку публиковался в основном в мейнстримных и даже близких правительству изданиях) и предложил свое решение вопроса. Ценностями возрождения «российской атлантиды» были для него не расширение границ, а их консолидация на «беловежских» основаниях для экономического и социального развития страны. В этом заключалась так и не реализовавшаяся консервативная, а в сравнении с консерватизмом советского типа – неоконсервативная, альтернатива начатому Ельциным разрушительному для страны неолиберальному курсу. В силу сочетания изоляционизма с отстаиванием этнокультурных ценностей, Цымбурского многие называли русским Хантингтоном (хотя сам он, кажется, предпочитал именоваться шпенглерянцем), а национальные демократы стремились зачислить его в свои сторонники. Последние, впрочем, так и не осознали геополитических тревог ученого и того значения, которое он придавал государству в экономическом освоении страны.

Интеллектуальные корни и позиция в российских спорах

Позиция Цымбурского в евразийском дискурсе оказалась глубоко своеобразной и многими не разделялась. Он вел полемику как с либералами-западниками и державниками, желавшими, по его убеждению, возвращения ко временам петровско-советской надорванности, так и с представителями традиционной и дугинской геополитики. И те, и другие, считал ученый, руководствовались абстрактными миссионерскими доктринами вроде Второго или Третьего мира, а не цивилизационными интересами самой России. Имея в фокусе внутреннее геополитическое обустройство, «Русская Евразия» Цымбурского стала новым своеобразным витком развития евразийской мысли на этапе поисков постимперского сосредоточения страны.

Из множества интеллектуальных влияний на Цымбурского стоит выделять как российских, так и западных критиков глобального универсализма и защитников культурной самобытности в мире конкурирующих цивилизаций¹. Впрочем, ни одно из этих влияний нельзя считать безоговорочным. Из российских мыслителей он высоко отзывался о Данилевском и представителях русской географической школы. Первого Цымбурский ценил за новую для XIX столетия постановку вопроса об отношении России и Европы «не как противостоящих принципов жизни на едином пространстве и его организации»,

¹ Подробнее о месте Цымбурского в теориях культурной самобытности России см: [2].

а в качестве «двух отдельных, лишь формально соприкасающихся и в силу этого конфликтующих на своих рубежах геокультурных пространств» [9]. У русских же географов ученый позаимствовал концепцию русской Евразии. Цымбурский настаивал на смещении акцентов на внутреннее освоение территорий за Уралом, считая необходимым говорить не о России-Евразии, а о России в Евразии. Он следовал в этом за русским географом начала XX столетия Вениамином Семеновым-Тянь-Шанским, выступавшим за перенос приоритетов имперского строительства с европейской России в ее уральско-сибирскую и азиатскую части. Только так, на основе внутреннего развития, считал Цымбурский, русская цивилизация смогла бы обеспечить условия для нового сближения с народами Лимитрофа [4]. При этом ученый с последовательно изоляционистских позиций подвергал критике и Данилевского, в частности, за его надежды на выстраивание союза с Германией, считая, что сильная Германия способна разрушить оптимальный для России культурно-цивилизационный баланс сил в Евразии¹.

Из западных влияний, вероятно, важными были Освальд Шпенглер и Самюэл Хантингтон, хотя Цымбурский признавал вторичный, по сравнению с Данилевским, характер их теоретизирования. Из заочной полемики с Хантингтоном во многом родились лимитрофные акценты Цымбурского, стремившегося подчеркнуть не учтенное американским ученым наличие «народов между цивилизациями» [8]. Кроме того, Цымбурский никак не мог принять уготованной американцем России роли. Согласно Хантингтону, Западу следовало взять российскую «православную цивилизацию» в союзники против чуждых цивилизаций ислама и Китая. По его мнению, Россия тем самым могла бы способствовать разрешению собственной цивилизационной дилеммы, ибо, подобно Турции и Мексике, находилась в состоянии внутреннего «культурного разрыва» между западниками и традиционалистами. По мнению Хантингтона, Россия находится в наиболее опасном положении – ее элиты пребывают в нерешительности по поводу присоединения к Западу; при этом не ясно, готово ли российское общество к пересмотру своей цивилизационной идентичности, а Запад не слишком-то выказывает готовность принять Россию [16, р. 43]. В своей книге Хантингтон развивал эту позицию, утверждая, что «Россия, тесно сотрудничающая с Западом, обеспечит дополнительные противовесы конфуцианско-исламской оси» и что Западу следует «принять Россию в качестве ключевого православного государства и важнейшей региональной державы с легитимными интересами в области безопасности ее южных границ» [17, р. 241, 312].

Цымбурского, считавшего, что основной пафос теории Хантингтона состоит не в предупреждении о возможном столкновении цивилизаций, а в противопоставлении Запада всем незападным цивилизациям [12; 8], перспектива союза с западным миром отнюдь не радовала. Он считал не случайным то, что Хантингтон выпустил из виду другие важные внутрицивилизационные конфликты, например, внутри Китая (проблема Тибета), между Индией и Пакистаном и др. Что касается России, то ответ на внутренние угрозы должен быть опять-таки внутренним, связанным с большей интеграцией российской цивилизации. Союз же против «мусульманско-конфуцианского блока» мог, по убеждению Цымбурского, иметь весьма опасные последствия. «Против нас чересчур долго разыгрывали китайскую и исламскую карту, чтобы нам теперь не постараться избежать расклада, который бы позволял Западу канализировать приливы

¹ Более подробно об отношении к Данилевскому см. фрагмент докторской диссертации Цымбурского «Морфология российской геополитики», опубликованный под названием «Николай Данилевский как геополитик» [9].

внешнепролетарской агрессивности¹ в направлении «русско-православной» цивилизации» [12, с. 211]. Опасения Цымбурского были настолько велики, что в идеях Хантингтона он увидел движение деградирующего Запада в направлении от либерализма к фашизму [3]. После террористических атак «Аль-Каиды» в США в сентябре 2001 года Цымбурский выступил против союза с Западом, считая для России возможным и необходимым сохранить влияние в Средней Азии и на Кавказе – на путях развития культурных и политических связей с Китаем, Индией и Ираном [15].

Уроки Цымбурского

Важнейшим из уроков ученого следует считать необходимость внутреннего освоения русского культурного пространства. Будучи мыслителем-геополитиком, Цымбурский по-своему, задолго до официального поворота к Сибири и Азии, обосновал мысль о необходимости «обустройства» страны и «сбережения народа» (А. Солженицын). При этом он всем своим творчеством отстаивал право не отождествлять изоляционизм со сдачей ценностных и геополитических позиций – цивилизации Запада. Будучи державником и находясь под влиянием позднеславянофильских и евразийских теорий, он был противником

¹ «...Помимо этого внутреннего пролетариата на окраинах великих империй и перифериях цивилизаций скапливается “внешний” пролетариат – миллионы “полуязычных” людей, выпавших из своей исторической традиции, озлобленных на цивилизацию за те запросы, которые она в них пробудила, но не смогла удовлетворить.

Можно признать, что в этом аспекте положение современного постимперского общества лучше, чем некогда было в Римской империи, хотя бы потому, что внутри евро-американской цивилизации отсутствует сколько-нибудь значительный пролетарский контингент. В прошлом веке культурный и имущий слой (“демос”) оказался достаточно силен, чтобы отбить натиск внутреннего пролетариата – победа, за которую Запад должен вечно благословлять Кавеньяков и Галифе. В итоге западное общество смогло интегрировать рабочий класс в свою структуру, что означало ликвидацию пролетарского состояния и пролетарской психологии.

Напротив, в нашей стране после Октябрьского переворота отчуждение гигантских людских скопищ от всех легитимных норм, наводнение земель бывшей Российской империи уродцами из творений А. Платонова было невероятно – и по темпам, и по масштабам. К тому же на наших территориях пролетариат внутренний незаметно переходит во “внешний”, заявивший о себе в Сумгаите, Фергане, Оше, Намангане, Молдове. Но как внутренний, так и “внешний” пролетариат СССР по отношению к постимперскому Западу, особенно к его европейской части, представляет огромный восточный очаг “внешнего” пролетариата, на кавказско-среднеазиатской окраине смыкающийся с южным очагом, представленным движением “пылающего ислама”. <...>

Теперь разрушительные волны, готовые ринуться на Европу с юга и востока, черпают импульс не в единой, ведающей свою цель злой воле, а в хаосе нелегитимных вождений. Повальная суверенизация, иступленное припоминание и измышление “исторических чаяний и прав” вызовут в Европе и за Атлантикой всплеск “защитных” национально-ультраправых и изоляционистских движений, что в итоге обернется рыхлением политических тканей, трайбализацией всего и вся и распадом постимперского содружества на островки враждующих друг с другом воль. Клич такой суверенизации: “Каждый за себя! <...>

Сможет ли Запад так же бороться с “внешним” пролетариатом, как он боролся с внутренним – отбивая и подавляя, сдерживая и разделяя, соблазняя и интегрируя? История не кончилась до тех пор, пока ценности универсальной гражданственности человеческого рода противостоят ценностям расползающейся “великой простоты” – ценностям раковой клетки. История не кончилась, пока Град Земной, где никогда до конца не сольются Закон с Благодатью, способен защитить себя от кромешных опытов низведения Царства Божия на землю явочным порядком» (Цымбурский В.Л. *Бес независимости // Век XX и мир. 1991. № 3. Примеч. ред.*

пронизывающей эти теории мысли о расширении империи. И хотя у Цымбургского, как и у многих мыслителей геополитической направленности, оказались недостаточно проработанными духовные и идеологические основания русскости, общая постановка проблемы оказалась совершенно правильной.

Вторым уроком Цымбургского является, по-видимому, необходимость для России длительного периода политики гибких союзов в целях создания необходимых внешних условий для внутреннего выздоровления. В этом ученый также выступал с позиций державного изоляционизма, являясь последовательным сторонником «сосредоточения» России. После поражения в Крымской войне Россия «сосредотачивалась», проводя в жизнь политику гибких союзов, пока не смогла, наконец, восстановить утраченные позиции на Черном море. «Мирное сосуществование» и «теория» социализма в отдельной взятой стране были своего рода попытками сосредоточения, ослабления внешней угрозы. Наконец, аналогичный способ державного мышления был характерен для Евгения Примакова, стремившегося маневрировать между Западом, Китаем и Индией после окончания холодной войны. Однако все эти проявления одного и того же подхода в конечном счете не дали ожидаемого результата. Так, из попыток сдерживать глобальные амбиции США мало что получилось, свидетельством чему стала неудача в организации «стратегического треугольника» Россия – Китай – Индия или же неспособность материально противостоять западным странам в вопросах поддержки суверенитета Ирака и Сербии.

Проблема заключается в невозможности для России проводить «горчаковско-сталинскую» политику маневрирования между крупными державами в условиях гегемонии единственной сверхдержавы. Действия в условиях де факто однополярного мира (или полутораполярного, как его называл вслед за Хантингтоном Цымбургский¹) не могут быть простым воспроизводством действий в условиях многополярности. Восприятие национального интереса как связанного с необходимостью сдерживать глобальные амбиции США представляется неточным. Концепция многополярности как желаемого результата требует слишком значительных материальных и политических затрат и обладает лишь поверхностным сходством со стратегией Горчакова. Вместо сосредоточения на внутреннем экономическом и социальном возрождении Россия должна была выстраивать модели сдерживания политики Запада и интеграции периферии. Неизменное восприятие Запада лишь как «полюса силы» помешало увидеть и воспользоваться некоторыми взаимовыгодными возможностями. В выстраивании же отношений с постсоветскими государствами были явно недооценены рыночные инструменты и возможности мягкой силы. Вместо опоры на частный сектор, взаимовыгодные двусторонние договоренности и неправительственные организации русского мира упор подчас делался на вызывавшие отторжение многосторонние договоренности, зачастую воспринимавшиеся как «имперский синдром» России. В целом российское внешнеполитическое мышление все еще несет на себе иногда печать советской ориентации на сдержи-

¹ Термин “uni-multipolar world” был введен С. Хантингтоном в научный оборот в статье “The Lonely Superpower” в мартовско-апрельском выпуске “Foreign Affairs” за 1999 год (р. 35–48). Одним из вариантов его перевода на русский язык стал «полутораполярный мир». Этот перевод существовал наряду с другими («одно-многополярный мир», «асимметричная многополярность» и т.д.). Примечательно, что термин «полутораполярность» для характеристики мирового порядка 1990-х годов был введен в научный оборот А.Д. Богатуровым за два года до С. Хантингтона – в монографии «Великие державы на Тихом океане. История и теория международных отношений в Восточной Азии после Второй мировой войны (1945–1995)», увидевшей свет в 1997 году. Этим термином ученый хотел подчеркнуть наличие военно-политического паритета США и России при кардинальном несопадении возможностей по другим аспектам совокупного потенциала. *Примеч. ред.*



вание Запада в условиях биполярной структуры международных отношений и все еще недостаточно приспособлено к новым условиям мира после холодной войны.

Цымбурский не мог предвидеть, сколько продлится необходимая для России пауза в международных отношениях. Он полагал, что у страны, возможно, есть запас нескольких десятилетий, настаивая на необходимости использовать время для новой колонизации земель за Уралом. К сожалению, со времени ухода Цымбурского положение России не стало проще. Экономическая стагнация, новое обострение отношений с Западом по широкому кругу вопросов, конфликт с Украиной осложняют проведение наступательного внешнеполитического курса и вновь актуализируют поиск как изоляционистской альтернативы, так и гибкой союзнической политики в интересах внутреннего развития. Вместе с тем, усилившееся давление западного мира существенно затруднило реализацию такой альтернативы. Ведь у Цымбурского она держалась на сохранении Лимитрофа и согласии на это внешних игроков¹. Такого согласия сегодня не существует, а России приходится защищать свои интересы и ценности от поглощения западных территорий-проливов Евро-Атлантикой.

Трудно сказать, поддержал бы Цымбурский воссоединение с Крымом, ведь и после грузинского конфликта он продолжал настаивать на том, что «нынешние контуры России оптимально отвечают российской геополитике пространств» и что «выдвижение к Босфору и Дарданеллам – это идея... совершенно абсурдная с точки зрения внутренних задач России» [14]. С другой стороны, на Украине оказались попранными коренные интересы и ценности России, а Цымбурский, конечно же, не был изоляционистом до степени готовности жертвовать таковыми. Модель «острова России» не означала для него «эмиграции из Евразии». Напротив, она предполагала, что «собственно геополитические внешние интересы России привязаны в максимальной мере к Великому Лимитрофу, тогда как проблемы других цивилизационных платформ для нас имеют скорее миросистемный, чем геополитический смысл» [6]. Мир уже пришел в движение, и России приходится приспосабливаться к новым для нее условиям.

Каким бы ни был курс внешней политики России, очевидно, что укрепление ее независимости сегодня сопряжено с необходимостью приоритетного развития ценностных, социальных и экономических оснований, а значит, и с новым периодом сосредоточения во внешней политике. У России имеется немалый исторический потенциал для проведения внешней политики ценностей². Однако эти ценности должны быть прежде всего четко сформулированы и разделяться широкими кругами ее граждан. Переформулировать сообразно времени традиционные русские ценности и идею национального сосредоточения – задача сложная, которая под силу философам и международникам-теоретикам, но не пиарщикам, экспертам и журналистам. Не сомневаюсь, что идеи Цымбурского окажутся в этом немалым подспорьем.

¹ Это – уязвимая черта теории Цымбурского, который, по воспоминаниям Бориса Межуева, даже сказал однажды в близком к отчаянию состоянии, что его модель может прекратить свое существование и актуальной может стать геополитика Дугина. За информацию и разъяснение я благодарен Борису Межуеву, а также Тимофею Бордачеву. *Примеч. авт.*

² Подробнее о российском потенциале мягкой силы см.: [18].

Литература

1. *Межуев Б.В.* Политическая критика Вадима Цымбурского. М., 2012.
2. *Цыганков А.П.* Международные отношения: традиции русской политической мысли. М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2013.
3. *Цымбурский В.Л.* Выступление на Круглом столе «“Цивилизационная модель” международных отношений и ее импликация» // Полис. 1995. № 1.
4. *Цымбурский В.Л.* Дважды рожденная «Евразия» и геостратегические циклы России // *Цымбурский В.Л.* Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 441–463.
5. *Цымбурский В.Л.* Зауральский Петербург: альтернатива для российской цивилизации // *Цымбурский В.Л.* Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 278–285.
6. *Цымбурский В.Л.* Земля за Великим Лимитрофом: от «России-Евразии» к «России в Евразии» // *Цымбурский В.Л.* Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 181–197.
7. *Цымбурский В.Л.* Метаморфоза России: новые вызовы и старые искушения // *Цымбурский В.Л.* Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 29–43.
8. *Цымбурский В.Л.* Народы между цивилизациями // *Цымбурский В.Л.* Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М., 2007. С. 212–238.
9. *Цымбурский В.Л.* Николай Данилевский как геополитик // Русская idea. 2014. 3 октября. URL: <http://politconservatism.ru/forecasts/nikolay-danilevskiy-kak-geopolitik-chast-pervaya-/>; 2014. 8 октября. URL: <http://politconservatism.ru/forecasts/nikolay-danilevskiy-kak-geopolitik-chast-vtoraya/>
10. *Цымбурский В.Л.* Остров Россия // *Цымбурский В.Л.* Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 5–28.
11. *Цымбурский В.Л.* «От великого острова Руси...» // *Цымбурский В.Л.* Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 340–368.
12. *Цымбурский В.Л.* Сюжет для цивилизации-лидера: самооборона или саморазрушение? // *Цымбурский В.Л.* Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 198–211.
13. *Цымбурский В.Л.* Хэлфорд Макиндер: трилогия хартленда и призвание геополитика // *Цымбурский В.Л.* Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 388–418.
14. *Цымбурский В.Л.* Шельф Острова Россия. Геополитика пространств и геополитика границ. Выступление на «круглом столе» Института национальной стратегии «Россия после признания: конец эпохи Ельцина – Путина» 18 сентября 2008 года // Русский Архипелаг. URL: <http://www.archipelag.ru/authors/cimbursky/?library=2783>
15. *Цымбурский В.Л.* Это твой последний геокультурный выбор, Россия? // *Цымбурский В.Л.* Конъюнктуры Земли и Времени: геополитические и хронополитические интеллектуальные исследования. М.: Европа, 2011. С. 75–84.
16. *Huntington S.P.* The Clash of Civilizations? // *Foreign Affairs*. Summer 1993. Vol. 72. № 3. P. 22–49.
17. *Huntington S.P.* The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York, 1996.
18. *Tsygankov, Andrei P.* Moscow's Soft Power Strategy // *Current History*. Vol. 112. Issue 756. October 2013.



Аннотация. В статье осмысливается роль Вадима Цымбурского в переосмыслении геополитики и геополитической теории. В частности, обсуждается его теория «островного» положения России. Также обсуждаются проблема геополитики ценностей, интеллектуальные влияния и позиция ученого в российских внешнеполитических спорах. В качестве уроков Цымбурского выделяются необходимость внутреннего освоения русского культурного пространства и длительного периода политики гибких союзов в условиях полуторполярного мира.

Ключевые слова: Россия-«остров», геополитика ценностей, полуторполярный мир.

Andrei P. Tsygankov, PhD, San Francisco State University, Departments of Political Science and International Relations, Professor.

«Island» Geopolitics of Vadim Tsymbursky.

Abstract. The article analyzes the role of V. Tsymbursky in rethinking geopolitics. In particular, his theory of Russia as a geopolitical “island” is discussed. Other discussed issues include the geopolitics of values, intellectual influences, and Tsymbursky’s position in Russian foreign policy debates. The article formulates two lessons of the thinker for Russia – the need in mastering Russian cultural space and a long period of flexible foreign policy under the conditions of uni-multipolar world.

Keywords: geopolitical “island”, the geopolitics of values, the uni-multipolar world.

Картография русского европеизма

Обстоятельства минувшего года, которые нет нужды пересказывать любому интересующемуся мировой политикой человеку, сделали очень актуальным все геополитическое наследие Вадима Цымбурского, мыслителя, скончавшегося в марте 2009 года. Одной из основных идей Цымбурского было представление, согласно которому ключевое значение для истории России – как предшествующих трех веков, так и в ближайшее время – будут иметь территории, которые отделяют Россию от коренной Европы, территории, от контроля над которыми Россия, согласно представлениям ученого, добровольно отказалась в 1989–1991 годах. Что важно: по мнению Цымбурского, эти территории не являлись органической частью ни России, ни собственно Европы – двух цивилизационных «материков», – но представляли собой некое отдельное целое, которое ученый в разных работах описывал и концептуализировал по-разному.

В самом первом своем сочинении «островного» цикла – статье 1993 года «Остров Россия» – Цымбурский определяет эти земли «между Россией и Европой» как «территории-проливы» – «пояса народов и территорий, примыкающих к коренной Европе, но не входящих в нее» [8, с. 8]. Использование для обозначения этих земель «водной» метафоры – «проливы» – позволило назвать Россию «островом» и, в столь же метафорическом смысле, цивилизационной платформой, отделенной от других цивилизаций цепью промежуточных территорий. Впоследствии, в работе 1995 года «Земля за Великим Лимитрофом», Цымбурский объединит «территории-проливы» к западу от России с Кавказом, тюркоязычной Средней Азией и уйгуро-маньчжурскими регионами Китая и опишет этот пояс земель термином, заимствованным у историка Станислава Хатунцева, – «Великий Лимитроф». Но для нас даже более существенно, что спустя еще два года, в статье 1997 года «Европа – Россия» – «третья осень» системы цивилизаций», Цымбурский довольно неожиданно назовет те же земли «территориями-прикрытиями» нашей цивилизационной платформы и призовет «к формированию у России собственного внешнего пояса территорий-прикрытий» [5, с. 131]. Описывая разветвленную и многоэшелонированную структуру Евро-Атлантики 1990-х годов с НАТО, «Партнерством во имя мира» и еще только проглядывавшим в те годы «Восточным партнерством», ученый делал вывод, что «будущее – за все более дифференцированной системой относительно независимых друг от друга лимитрофных эшелонов, прикрывающих цивилизационное ядро на подступах все более отдаленных» [5, с. 127].

В этой констатации содержалось предложение России разработать собственную систему ассоциированного членства в том объединении, которое по-

Межуев Борис Вадимович, кандидат философских наук, доцент кафедры истории русской философии философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель редакционного совета сайта «Русская idea», заместитель главного редактора газеты «Известия». E-mail: borismezhuev@yandex.ru



том получило название «русский мир». Но имплицитно здесь же наличествовало представление, уже явным образом декларированное в «Острове» 1993 года и потом несколько раз повторенное в последующих работах, что наибольшая угроза безопасности России проистекает от непосредственного соприкосновения нашей страны и не включающих ее систем коллективной безопасности, основанных на сознании общецивилизационного единства. В этом смысле наличие буфера в виде отпавших от России, но пока еще не охваченных Евро-Атлантикой территорий являлось в некотором смысле «прикрытием» нашей страны от прямого столкновения с консолидированной мощью целой цивилизации.

В комплексе лимитрофных земель, определяемых то как «территории-проливы», то как «территории-прикрытия», Украине Цымбурский уделял довольно важное место. В статье 1998 года «Как живут и умирают международные конфликтные системы», в которой делалась попытка вычленивать Балто-Черноморье уже не просто как полосу территорий, но как особую конфликтную систему с распределенными ролями, «украинские земли» представляли как своего рода «сердцевина» балтийско-черноморской системы, находящаяся на пересечении ее меридиональных и широтных осей [6, с. 258]. Конфликтная актуализация этих земель, масштабная переоценка их геополитического статуса в 2014 году просто не могла не вернуть внимание к теории Цымбурского, к концепции «Острова России», в которой основной акцент делался на этих промежуточных, или буферных, территориях между Россией и Евро-Атлантикой и в которой особенно подчеркивалась ценность их нейтрального статуса. Того статуса, который как раз и подвергся вызову в 2013–2014 годах.

В феврале 2014 года, примерно за три дня до государственного переворота в Киеве, автору этих строк довелось выступать в Симферополе в рамках медиа-программы «Формат А3» с лекцией под названием «Рубежи цивилизационных войн». Рассматривая происходящее в этот момент на Украине в контексте предсказанных еще в 1993 году Сэмюэлем Хантингтоном «войн цивилизаций», я ссылаясь на то важное уточнение, которое сделал Вадим Цымбурский к концепции американского политолога – «ойкумена не делится на цивилизации без остатка» [10, с. 200]: на разломах цивилизационных платформ живут народы междумирья, чьи геокультурные симпатии и ориентации могут варьироваться и меняться; народы, которые могут найти, а могут и не найти свое место в какой-либо цивилизационной семье. Одним из таких народов является народ Украины, безнадежно расколотый в своих симпатиях. И российским, и западным политикам стоило бы ранее более внимательно отнестись к теории Цымбурского и понять, что Украину, подобно, кстати, Молдавии, невозможно целиком вовлечь ни в Таможенный, ни в Европейский союз. И поскольку вопрос о цивилизационном самоопределении остатка западной оконечности Великого Лимитрофа в виде Украины и Молдавии назрел и обойти этот вопрос стороной невозможно, разумных выходов могло быть только два – раздел Украины и Молдавии с выделением в отдельные самостоятельные образования Крыма, Новороссии и Приднестровья – или новая федеративная сборка этих государств по модели, которую публицист Игорь Караулов обозначил формулой: «Одна страна, две цивилизации» [1].

Радикальный вариант решения проблемы в виде присоединения какой-либо из отпавших частей Украины к России я, честно говоря, не рассматривал, ориентируясь в данном случае на сценарий, предвиденный Цымбурским еще в 1994 году, когда он писал: «Что же касается украинских дел, то глубочайший кризис этого государственного образования мог бы пойти на благо России, если она, твердо декларировав отказ от формального пересмотра своих нынешних границ, поддержит в условиях деградации украинской центральной власти воз-

никновение с внешней стороны своих границ – в Левобережье, Крыму и Новороссии – дополнительно буферного слоя региональных “суверенитетов” в украинских рамках или вне их» [7, с. 36]. Нужно признать, что Цымбурский в 1994 году видел в Крыму просто часть лимитрофа, тогда как было бы логичнее видеть в нем, скорее, лимес – согласно принятой им терминологии – «неустойчивую окраину цивилизационной платформы». Проведший детство и юность в Могилеве и считавший себя этнически белорусом (несмотря на польскую фамилию матери, которую он носил, и польское происхождение отца, которого он совсем не знал), Цымбурский рассматривал в качестве «лимеса» родную ему Белоруссию, но не значительно более русский в плане этнической идентичности Крым. Возможно, отношение к Крыму как к части лимитрофа объяснялось в том числе византийскими историческими ассоциациями: в уже упомянутой работе 1998 года о Балто-Черноморье Цымбурский сделал многозначительное послесловие о так называемых территориях-ориентирах – землях, овладение которыми влечет Империю не только к дальнейшему расширению, но и к созданию масштабных геополитических проектов. Так, присоединение Крыма и причерноморских земель после первой русской-турецкой войны Екатерины II дало толчок тому, что впоследствии получило название «Греческий проект императрицы» – курсу на воссоздание Греческой империи, трон которой предстояло занять внуку Екатерины великому князю Константину Павловичу. Начало освобождения Украины в 1943–1944 годах от немецкой оккупации, как отмечал Цымбурский в той же статье, породило надежды внутри православной церкви на завоевание Константинополя и последующее «выдвижение Московской Патриархии в официальные лидеры православного мира» [6, с. 275]. Крым, конечно же, являлся «территорией-ориентиром» с мощнейшим геополитическим зарядом, нацеленным скорее на новое «похищение Европы», чем на освоение внутренних территорий России, к чему Цымбурский призывал в «Острове России».

Как бы то ни было, весь 2014 год прошел в постоянном обсуждении феномена лимитрофных, или буферных, государств, разделяющих Россию и Европу, и в том числе в размышлениях об их возможной геополитической судьбе. 22 февраля, прямо в день государственного переворота в Киеве, в газете “Financial Times” вышла статья Збигнева Бжезинского, в которой он призвал к «финляндизации» будущей европеизированной Украины, то есть к сохранению тесных экономических отношений с Москвой при всей предполагаемой разнице социально-политических систем России и будущей Украины «без Януковича»¹.

Сохранение Украины в качестве буферного государства и в целом значение буферов для всей геополитической истории России стало одной из тем целого ряда публикаций известного американского эксперта, главы аналитического агентства «Стратфор» Джорджа Фридмана, который посетил Москву в декабре 2014 года. По итогам своего визита он написал статью, в которой еще раз сделал акцент на непонимании Западом фундаментальной роли «буферных» территорий для безопасности России. «Для Запада, – писал американский геополитик, – трудно понять, что русская история – это сказка о буферах. Буферные государства спасают Россию от западных оккупантов. Россия хочет создать механизм, который оставит Украину по крайней мере нейтральной» [13]. Стоит отметить, что Фридман преувеличивает значение буферов в истории России, бессознательно воспроизводя «островную» модель ее геополитики: в действительности история России – это «сказка» не столько о «буферах» между Россией и Европой, сколько о готовности и даже стремлении их устранить с целью

¹ См. русский перевод этого текста: *Бжезинский З.* России надо предложить «финский вариант» для Украины // Иносми.ру. 2014. 24 февраля. URL: <http://inosmi.ru/sngbaltia/20140224/217842678.html>

прямого вовлечения России в историю европейского континента. Однако, как и предполагал Цымбурский в далеком 1993 году, сопротивление расширению НАТО на Восток в итоге не может не быть концептуализовано в виде якобы извечного желания нашей страны установить со своей стороны барьер нейтральных государств, а эта модель не может не вести к понятным идеологическим следствиям в виде представления о некоей особой цивилизационной судьбе России. Так, пространство, вернее его политическая конструкция, в какой-то степени задает логику идеологического самоопределения: очень трудно, борясь за сохранение буферов, доказывать культурную, или цивилизационную, идентичность геополитических образований, разделяемых этими буферами.

В своей речи на Валдайском форуме 24 октября 2014 года президент России Владимир Путин использовал при описании внутриукраинского конфликта именно эту – вполне логичную в данном контексте – «цивилизационную» лексику. Путин заметил, что в современную эпоху «фактором риска становятся не только традиционные межгосударственные противоречия, но и внутренняя нестабильность отдельных государств, особенно когда речь идет о странах, расположенных на стыке геополитических интересов крупных государств или на границе культурно-исторических, экономических, цивилизационных “материков”». Фактически президент указал – прямо в духе выводов геополитики Цымбурского – на межцивилизационный, то есть «лимитрофный», характер Украины и, соответственно, на то, что внутреннее противостояние в этой стране объясняется тем, что границы цивилизаций проходят внутри нее, в силу чего любая попытка определить однозначно цивилизационную принадлежность украинского народа оборачивается кровавым размежеванием или же столь же кровавой сборкой.

Итак, реалии 2014 года сделали геополитическую модель Цымбурского предельно актуальной, но в то же время те же самые реалии обнажили уязвимость ее важнейших концептуальных положений – уязвимость, которую сам Цымбурский почувствовал и зафиксировал раньше других, но на устранение которой ему уже не было отпущено времени. Дело в том, что концепция «Острова России» в первой своей формулировке была отмечена духом парадоксального исторического оптимизма. Многие читатели «Острова» были несколько шокированы финальным пассажем этой статьи, который сам автор признавал слегка кощунственным: «для России сейчас очень хорошее время, дело только за политиками, которые это поймут». Чем так могло понравиться геополитику то чудовищное время, когда Россия потеряла значительную часть территорий, за которые она боролась три века своей великоимперской политики, когда рухнула большая часть ее промышленности и если не обнулится, то значительно ослаб ее научный потенциал? Тем, что, согласно Цымбурскому, Россия впервые за три столетия освободила себя от ответственности за судьбы балто-черноморских «территорий-проливов», и их безопасность и уровень развития с этого момента стали составлять головную боль формирующейся Евро-Атлантики. Следуя выводам американского социолога Иммануила Валлерстайна, Цымбурский рассматривал ялтинское разделение Европы как необходимую предпосылку установления американской гегемонии над континентом. Было бы логично допустить, что развал ялтинской системы явился фактором, подтачивающим или ослабляющим эту гегемонию, причем без особых усилий со стороны России, которая теперь, освободившись от полуиррационального тяготения к Европе, могла бы заняться обустройством собственной территории. Для реализации этого плана нужно было предпринять еще ряд шагов, одним из которых мог бы стать перенос политического или хозяйственного центра государства в район Юго-Западной Сибири – в ту область, которую Цымбурский вслед за Михаилом Ильиным называл «новой Великороссией».

Нужно помнить, что все 1990-е годы в рядах экспертов преобладал алармизм двойного рода. Были популярны мнения, согласно которым Российская Федерация после конца СССР – территориально непрочное образование, которое в итоге распадется, или что она, напротив, образование неполное, и для того чтобы сохраниться, ей необходим новый интеграционный процесс, который позволит вернуть русским то, что они только что потеряли. Цымбурский утверждал, что нет – Россия не распадется и возвращать то, что потеряли, незачем. Не потому что это для России недопустимо с точки зрения принципов, как он выражался, «мирового цивилизованного», а потому что ей это невыгодно самой. Вернув себе потерянные территории, мы окажем «мировому цивилизованному» хорошую службу, вновь присоединив к себе потенциально проблемные земли и народы с их постоянно колеблющейся идентичностью.

Оставался всего один вопрос – и вот на него Цымбурский упорно не давал ответа, хотя вроде бы обязан был дать, как только проблема расширения НАТО на Восток была решена в положительную сторону, – что будет с «островом Россией» в том случае, если лимитрофные территории, «территории-проливы», окончательно поглотит Евро-Атлантика и Россия в геополитическом смысле перестанет быть «островом»? К этому вопросу примыкал другой, прямо вытекающий из первого: следует ли России уже сейчас противодействовать реализации этого сценария, не допуская окончательной ликвидации буферной зоны «территорий-прикрытий»? Следует ли в этом случае продолжать сохранять непрямой контроль над частью «территорий-проливов», не допуская утверждения на них любой силы, потенциально угрожающей безопасности России?

Любопытно, что политике России в южной и юго-западной частях Великого Лимитрофа Цымбурский посвящает в 1999 году отдельную небольшую работу, которая в первом журнальном варианте получила название «От Дагестана-99 к будущему Великого Лимитрофа Евро-Азии». Здесь, сразу по следам басаевского вторжения в Дагестан, Цымбурский предлагает Китаю, Ирану и России объединиться в союз против возможного проникновения структур Евро-Атлантики на территорию Великого Лимитрофа. Автор «Острова Россия» постулирует довольно жестко, что «Россия не вправе спокойно смотреть на то, как евроатлантические силовые структуры возьмут под свою руку его кавказский и центрально-азиатский сектора, опираясь на межцивилизационные малые «империи» (Турцию, Азербайджан, Узбекистан), а также манипулируя исламизмом как средством разрыхления цивилизационных центров мощи [4, с. 72]. Цымбурский даже намечает основы плана по совместному контролю государств-цивилизаций над взрывоопасной межцивилизационной буферной зоной в районе Центральной Азии: согласно этому плану, «три восточных центра должны будут соединиться в единые «Челюсти»» для предотвращения «прямого прорыва» Евро-Атлантики с территории Великого Лимитрофа в хартленд.

Между тем, мы не обнаруживаем в той же работе никакой внятной проработанной стратегии относительно западного сегмента Великого Лимитрофа – как следует поступать России в случае окончательного поглощения «территорий-проливов» Евро-Атлантикой. Цымбурский сам признает в той же работе 1999 года, что, «разгромив Югославию при помощи исламистов, Евро-Атлантика взяла под свою руку весь восточноевропейский сектор Лимитрофа». При этом он очень пронизательно, ввиду последующих игр ЕС на предмет ассоциации с Украиной, Молдавией и Грузией и вообще всего сюжета «Восточного партнерства», отмечает, что при дальнейшей интеграции лимитрофных территорий была применена «техника экспансии без кооптации». Однако анализ реалий, касающихся Европы и приевропейских территорий, обрывается сухой констатацией: «Останавливать свое победное шествие после столь впечатляющего



успеха НАТО явно не намеревается». За этим следует вопрос: «Но в каком же направлении будет сделан следующий ход?» [4, с. 69], который уводит Цымбурского в сторону Передней Азии. Сценарий непосредственного соприкосновения России и Европы при устранении спасительного буфера вновь оказывается за пределами рассмотрения в данном, как, впрочем, и в последующих геополитических этюдах ученого.

Понятно, что в отношении Европы и приевропейских буферов невозможно было действовать по тем же рецептам, которые Цымбурский предлагал, когда рассуждал о Передней Азии. Союз государств-цивилизаций против лимитрофных территорий, открытых для союза с Евро-Атлантикой, – эта стратегия, понятная, когда речь шла про Иран и Китай, оказывалась проблематичной в ситуации с Европой. Конечно, уже в «нулевых» годах Цымбурский не мог не обратить внимания на то, что раскол Европы на «новую» (склонную к поддержке Америки в ее бушистском варианте) и «старую» (отвергающую военные авантюры вроде интервенции в Ирак в марте 2003 года) приблизительно соответствует ранее обозначенному им разделению на романо-германское «ядро» Европы и ее восточно-европейскую периферию. Видел он также то, что серия «цветных» революций представляла собой по существу ту самую экспансию Евро-Атлантики на территорию Великого Лимитрофа, которая в Передней Азии осуществлялась силами «агентурного» исламизма. И тем не менее Цымбурский в эти годы удерживался от соблазна перенести свой проект союза «материков» против потенциально нелояльных, или «агентурных», периферийных центров силы на Балто-Черноморье в его актуальной конфигурации. Ничего подобного союзу с Германией против «Восточного партнерства» (о чем грезили многие эксперты, включая автора этих строк¹, еще в начале 2014 года, до внятного обозначения Ангелой Меркель своей позиции в отношении украинского вопроса) Цымбурский никогда не прогнозировал и от сценарных разработок таких геополитических схем он всегда отстранялся. Возможно, благодаря очень внимательному изучению (в рамках написания своего фундаментального труда «Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII–XX веков») обстоятельств поворота России от прогерманского курса Александра II к профранцузской линии двух последних императоров (этот поворот в отличие от авторов типа Александра Дугина или же Евгения Морозова Цымбурский считал абсолютно неизбежным ввиду претензии держав Оси на полный контроль над Балто-Черноморьем) ученый никогда не делал ставку на обретение ни Европой в целом, ни конкретно Германией политической самостоятельности. Вслед за американским политологом Айрой Страусом Цымбурский называл Евро-Атлантику термином «униполь» – однополярное политическое пространство, в отличие от Страуса не вкладывая в это понятие, правда, никаких позитивных коннотаций.

История показала, что Цымбурский в данном случае оказался снова прав, и тем не менее эта ситуативная правота не отменяет уже отмеченную нами дилемму, которая не получала в текстах о Великом Лимитрофе внятного решения. Дилемма эта звучала так – стоит или не стоит России ввиду потенциального снятия <упразднения?> самим Западом буферной зоны, разделяющей его территорию с нашей страной, предпринимать какие-то превентивные шаги в целях удержания хотя бы части этой зоны под своим контролем. Предполагает ли «островное» равнодушие к «территориям-проливам» согласие на ликвидацию базы Черноморского флота в Севастополе или создание баз НАТО в непосредственной близости, скажем, от Смоленска? И как должна быть политически оформлена не охваченная НАТО и ЕС часть Балто-Черноморья?

¹ См., в частности: [2].

Нельзя сказать, что Цымбурский не ощущал, что проблематика «буферных зон» требует дополнительной концептуализации. Уже незадолго до своей кончины, по следам пятидневной войны с Грузией в августе 2008 года, приведшей к признанию Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, Цымбурский обозначил направление возможной трансформации своей концепции, назвав ту часть земель Великого Лимитрофа, которая находилась под покровительством России либо сознательно тяготела к ней, почерпнутым у его постоянного коллеги и оппонента Михаила Ильина термином «шельф острова Россия». По определению Цымбурского, «шельф – это территории, которые связаны с нынешними коренными российскими территориями физической географией, геостратегией, культурными связями». Геополитику представлялось очевидным, что «Восточная Украина... Крым... определенные территории Кавказа и Центральной Азии принадлежат к российскому шельфу». И тут Цымбурский делает знаменательное различие «геополитики пространств» и «геополитики границ»: смысл этого разделения раскрывается в последующих отрывочных замечаниях. Цымбурский по-прежнему убежден, что Россия не заинтересована в радикальном пересмотре своих контуров, что ее геополитическая ниша в целом отвечает ее интересам. Но вот «геополитика границ» – дело совсем другое, она «требует детального, скрупулезного анализа и учета в конкретной ситуации ввиду существования шельфа России и ввиду оценки ситуации на этом шельфе с точки зрения наших интересов и нашего будущего» [11]. Хотя различие между двумя типами геополитики не проведено до логического конца, складывается впечатление, что автор «Острова России» после военного конфликта с Грузией не был абсолютно убежден, что формальные границы РФ не могут быть пересмотрены в сторону расширения, если часть «шельфа острова Россия» отколетя от сплавиваемого Евро-Атлантикой в единое целое лимитрофного пояса государств. Цымбурский надеялся, что данное допущение ревизионистского пересмотра границ государств Ближнего Зарубежья радикально не изменит суть его «островной» теории. Россия останется «островом», даже если осушит часть берегового шельфа, соберет под свою опеку тяготеющие к ней земли и народы.

Гипотезу о том, что Цымбурский планировал очередную фундаментальную переработку своей геополитической теории с использованием понятия «шельф острова Россия», подтверждают строки из его мемуарного очерка «Speak, memo!»), написанного в последние месяцы жизни, примерно в конце февраля – начале марта 2009 года: «Год 2008-й пятидневной войной и заявлениями российских лидеров о наличии территорий за пределами России, представляющих для нее особую значимость, стал для меня намеком на возможность следующего доосмысления концепции, с особым упором на выдвинутое еще в 1994 году понятие «шельфа острова Россия». Этот шельф видится как области на Лимитрофе, в том числе за государственной российской границей, состоящие с Россией в особой, требующей признания и учета физико-географической, культурно-географической, экономической и стратегической связи. Мировой кризис отдалил актуальность подобного пересмотра концепции, который остается в резерве» [12, с. 12].

Можно предположить, что события 2014 года, если бы Цымбурский смог оказаться их живым свидетелем, сделали бы допускаяемый ученым «пересмотр» концепции «Острова Россия» более чем актуальным. Увы, судьба не отпустила Вадиму Леонидовичу шанса развить концепцию «островного шельфа», хотя отсылка к 1994 году заставляет предположить, что Цымбурский вспомнил уже цитировавшуюся фразу о возможности создания ориентирующейся на Россию «буферной зоны», состоящей из Крыма, Левобережной Украины и Приднестровья.



Возможно, в 1990-х годах Цымбурский не стал конкретизировать процесс и механизм образования подобной зоны, существование которой он только мимоходом допустил в статье «Метаморфоза России: новые вызовы и старые искушения» 1994 года, придя к убеждению, причем еще до создания «островной» концепции, что освободившаяся от «призрака коммунизма» Европа не готова реально расширять свои границы, интегрируя в свои пределы народы восточной периферии. Эта убежденность ярко проявляется в статье Цымбурского еще 1992 года, посвященной деконструкции понятия «открытого общества» Джорджа Сороса, в которой будущий геополитик высказывает предположение, что «экономические тенденции сейчас явно не способствуют выбору в пользу “экспансии ради стабильности”, скорее работая на “оукливание” постиндустриальных “центров” в их геополитических нишах по сторонам Северной Атлантики...» [9, с. 172]. Последующее знакомство с модной в 1993–1995 годах концепцией Сэмюэля Хантингтона могло только укрепить уверенность в правоте гипотезы, что прием лимитрофных территорий в НАТО – не более чем блеф, а будущее Европы – в пространственном «оукливании», которое со своей стороны требуется и России.

Это предположение оказалось если не прямо ошибочным (кто знает, сохранятся ли Европейский союз и НАТО в прежнем виде после кризиса 2014 года?), то в плане краткосрочного прогноза явно чересчур оптимистичным. Следует ли из этого, что теперь мы должны счесть всю геополитическую концепцию ошибочной и неубедительной, что, подобно своему любимому Маккиндеру, изобретателю «хартленда», Цымбурский должен остаться в истории политической мысли автором двух-трех красивых географических метафор, конкретный или же конъюнктурный смысл которых будет доступен лишь историографу? Что все теоретические наработки Цымбурского останутся лишь интересной интеллектуальной провокацией эпохи геополитического сжатия России, ее временного надлома и отката с прежних рубежей в глубь евразийской равнины?

Я думаю, на все эти вопросы следует ответить безусловно отрицательно. Прежде всего Цымбурский сам прекрасно осознавал некоторую конъюнктурность своих первых опытов в области геополитики, включая наиболее популярный текст 1993 года, давший название всей концепции и впоследствии одноименной книге. В дальнейшем, в том числе в докторской диссертации, он хотел положить отдельные интуиции «островного» цикла на твердую научно-методологическую основу, оснастив свои выводы о трансформациях истории русской геополитической мысли как общими представлениями о динамике международных систем XVIII–XX веков, так и анализом текстов российских авторов трех столетий. В чем же состояло главное научное открытие Цымбурского, его вклад в руссиеведение? Думаю, прежде всего, в том, что он продемонстрировал со всей полнотой, в чем заключается для России «европейский выбор», каковы почти неперемненные геополитические последствия отождествления России с Европой.

Вопреки всей либеральной историографии он рискнул высказать в качестве аксиомы тезис, который ему пришлось впоследствии обосновывать и доказывать на протяжении всей жизни, что стремление России представить себя Европой всегда будет иметь не столько социокультурные, экономические или какие-либо иные внутренние последствия, сколько последствия именно геополитические. Проще говоря, тезис «Россия – это Европа» задает импульс в первую очередь не столько модернизации, сколько экспансии. Читая главы «Морфологии российской геополитики», в этом убеждаешься как в почти стопроцентно доказанном постулате.

«Русский европеизм» – почти всегда сюжет не столько для социологии <культуры?>, сколько для политической географии. Русский либерализм мог

сколько угодно критиковать имперскую политику Николая II за увлечение далекими от интересов коренной России восточническими империалистическими проектами, но как только Империи представилась возможность войти в союз с англо-французским блоком против держав Оси, недавние толстовцы легко перекрасились в панславистов и вместе с дипломатами-западниками типа Сазонова или Извольского стали «славянофильствовать», как того тогда требовало время. Вот эта неотменяемость пространственного фактора во всем нашем «европохитительском» замахе и составляет предмет исследования Цымбургского, и, я убежден, в этом – главном – своем тезисе он остался более убедительным, чем все его критики. Равно как и в тезисе обратном: имперство, даже по видимости антизападническое, представляет собой хитрый выверт, своего рода псевдоморфозу скрытого западничества, им владеет тот же самый «европохитительский» соблазн.

Итак, вся геополитология Цымбургского – это своего рода картография русского европеизма, раскрытие механизмов реализации нашего насчитывающего уже три с лишним столетия «европейского выбора», который при всех своих вариациях влечет охваченных этим импульсом русских к стремлению устранить разделяющие Россию и Европу промежуточные территории. По ходу исследования Цымбургский приходит к двум фундаментальным идеям.

Первая состоит в том, что пространство этих промежуточных территорий вместе с Россией имеет свою особую конфликтную структуру с распределенными ролями, причем эта структура сложным образом сочетается с конфликтной структурой самой Европы, в которой еще со времен наследников Карла Великого вычленяются два враждующих центра по обеим сторонам Рейна. Россия получает возможность «стать Европой» лишь тогда, когда один из этих центров берет Россию в союзники против другого. Как только противостояние центров по тем или иным причинам затухает, Россия из Европы почти автоматически выталкивается.

Идея вторая – в этой саге о стремлении попасть в Европу Россия выступает вначале в роли союзницы одной из сил, потом в качестве объекта мощной атаки побеждающей стороны, затем уже как атакующая держава в сознании своей временной мощи и – в конце концов – как общий враг для целой европейской цивилизации, объединившейся против недавнего претендента на континентальную гегемонию, – и вся эта история в силу определенных географических факторов повторялась в судьбе имперской России несколько раз (точнее, три раза), и она имеет все шансы повториться вновь. Если мы каким-то образом не вырвем себя из этих проклятых циклов, мы снова рискуем «войти в Европу» на правах, скажем, союзницы Франции против Германии, затем рухнуть под мощным (возможно, геэкономическим) ударом последней; потом, одолев вечного соперника, посчитать себя распорядителями судеб всей Европы, чтобы на финальной стадии цикла вновь оказаться на том же самом «острове», с которого мы некогда начинали наше движение в сторону Европы. И Цымбургский искал варианты, как избежать «вечного возвращения» на круги своя, в процессе которого Россия для призрачной цели приносила в жертву свое сельское хозяйство, науку, промышленность, оказавшись в конце концов поставщиком углеводородов для постиндустриального мира.

Что Цымбургский тем не менее недоучел в своей концепции, чем объясняется та самая уязвимость его конкретных геополитических рекомендаций, с которыми он выступил в 1993 году? Мне кажется, его главным упущением стало недостаточное аналитическое рассмотрение фазы отката – по его терминологии, фазы D всего цикла «похищения Европы». В главах его диссертации этой фазе уделено незначительное внимание, характерной фигурой этой фазы он на-



зывает канцлера Александра Горчакова, героя Парижского договора 1856 года и автора знаменитой формулы «Россия сосредотачивается».

Безусловно, как мы уже говорили, и сама геополитика «Острова Россия» может быть осмыслена в качестве специфического именно для этой фазы «европохитительского» цикла интеллектуального построения. Но проблема даже не в этом – зависимость собственных размышлений от «конъюнктур земли и времени» Цымбурский как раз с легкостью мог бы допустить. Но вот что бы составило и, как мы говорили, реально составило вызов для последовательности его концепции – так это снятие в ходе фазы D промежуточных территорий между Россией и Европой именно этой последней. Неизбежно возникает вопрос, может ли «европохитительский» комплекс обрести какую-то совсем новую морфологию, отличающуюся от описанной в диссертации, когда «Европа» будет формально начинаться непосредственно по другую сторону западной государственной границы России?

Но ведь именно эта перспектива фактически и возбуждает ту, прямо скажем, немалую часть нашего либерального сообщества, которая поддерживает украинский Майдан именно как попытку соседней республики выйти из российской сферы влияния и встроиться в сферу влияния Евро-Атлантики, кто в общем уже примеривает для России не слишком комфортный для большинства, но удобный для немногих статус полусуверенной периферийной державы, стратегические ресурсы которой находились бы под контролем элит той цивилизации, с которой мы хотим себя отождествить. Можем ли мы «стать Европой» в том случае, если не мы «похитим ее», но если она «похитит нас»? Не будет ли вероятным выходом из «европохитительского» кругообращения не самоизоляция на «острове», а слияние с континентом при политическом устранении буферной зоны, но при полном отказе России от всех поползновений на державную суверенность? К сожалению, это тот вопрос, который выходит за рамки исследований великого политического мыслителя, с которым нам посчастливилось быть современниками. Мы не найдем в статьях и книгах Цымбурского ответа на эту раскалывающую российское общество дилемму, однако он указал нам направление, следуя которому, мы сможем прийти к правильному решению.

Хочу добавить в заключение еще один личный момент. Конечно, указанная проблема была ясна мне, как, полагаю, и самому Вадиму Леонидовичу еще в 1993 году, когда он только выпустил в свет в журнале «Полис» свою статью «Остров Россия». Однако в определенном смысле мне (и отчасти, только отчасти ему) отсутствие внятного решения казалось достоинством, а не промахом его концепции. Я полагал, что русское общество мгновенно расколется на два враждующих лагеря, как только перед Россией будет поставлен недвусмысленный и однозначный выбор: причастность к Европе или цивилизационный суверенитет. «Остров Россия» идеально подходил в качестве основания для идеологии постсоветской и постимперской России именно потому, что однозначностью своих выводов не провоцировал русское общество на раскол и тем самым задавал фундамент для подлинной демократизации России, каковая в случае любого однозначного цивилизационного самоопределения («за Европу» или «против Европы») мне представлялась маловероятной. Поэтому я и высказывал точку зрения в своей первой политологической статье 1997 года «Понятие “национальный интерес” в российской политической мысли XIX–XX вв.» [3], что залог демократической интеграции России – переход от дискурса «цивилизационного выбора» к дискурсу «национальных интересов». «Островная» модель геополитики позволяет русским европейцам считать себя вынужденно отделенными от Европы европейцами в согласии с теми, кто, принимая ту же модель, могут относить себя к «особому человечеству на особой земле», не претендуя на присоединение новых земель.

И мне было столь же ясно, что как только «территории-проливы» будут осушены со своей стороны Евро-Атлантикой, вот это гипотетическое «островное» согласие, которое по большому счету и было основой вначале примаковского, а затем и путинского политического консенсуса, окажется нарушено – и мы вместо перспективы демократического единства по базовым основам национальной идентичности будем иметь перспективу жестокого и непримиримого противостояния элит, каждая из которых не сможет простить другой фрустрацию ее цивилизационного выбора. Примерно то, что мы имели в соседней Украине, но только без четкого раскола враждующих сторон по географическому принципу. В этой борьбе, условно, проевропейским силам едва ли будет суждено одержать победу, слишком значителен перевес тех, кто делает ставку на самостоятельность России, проявившуюся в воссоединении с Крымом. Однако элитный вес противоположной партии делает исход этого противостояния далеко не стопроцентно предрешенным.

Но, в конце концов, западная часть Великого Лимитрофа еще не полностью проглочена двумя цивилизационными «материками» – Россия еще отчасти «остров», а это значит, что консенсус еще возможен, и идеи Цымбурского еще могут сыграть свою роль не только в науке о России, но и в деле созидания ее лучшего будущего.

Перифразируя знаменитую фразу Вадима Леонидовича, которую я уже цитировал в этом тексте, хочу закончить его словами: для «Острова Россия» сейчас наступает очень хорошее время, дело только за политиками, российскими, европейскими и заокеанскими, которые это поймут.

Литература

1. Караулов И. Одна страна – две цивилизации // Известия. 2014. 29 января. URL: <http://izvestia.ru/news/564780>
2. Межуев Б. На нас смотрит вся Европа // Известия. 2014. 14 января. URL: <http://izvestia.ru/news/563992>
3. Межуев Б.В. Понятие «национальный интерес» в российской общественно-политической мысли XIX–XX вв. // Политические исследования. 1997. № 1. С. 5–31.
4. Цымбурский В.Л. Дагестан, Великий Лимитроф, мировой порядок // Цымбурский В.Л. Конъюнктуры Земли и Времени. Геополитические и хронополитические интеллектуальные исследования / Ред.-сост. Г.Б. Кремнев, Б.В. Межуев. М.: Европа, 2011.
5. Цымбурский В.Л. «Европа-Россия»: «Третья осень» системы цивилизаций // Цымбурский В.Л. Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 105–132.
6. Цымбурский В.Л. Как живут и умирают международные конфликтные системы (Судьба балтийско-черноморской системы в XVI–XX веках) // Цымбурский В.Л. Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007.
7. Цымбурский В.Л. Метаморфоза России: новые вызовы и старые искушения // Цымбурский В.Л. Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 29–43.
8. Цымбурский В.Л. Остров Россия // Цымбурский В.Л. Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 5–28.
9. Цымбурский В.Л. Открытое общество, или Новые цели для Европы. Семантическая алхимия Джорджа Сороса // Цымбурский В.Л. Конъюнктуры Земли и Времени. Геополитические и хронополитические интеллектуальные исследования / Ред.-сост. Г.Б. Кремнев, Б.В. Межуев. М.: Европа, 2011.
10. Цымбурский В.Л. Сюжет для цивилизации-лидера: самооборона или саморазрушение? //

- Цымбурский В.Л.* Остров
Россия: Геополитические и
хронополитические работы. 1993–
2006. М.: РОССПЭН, 2007.
11. *Цымбурский В.Л.* Шельф Острова
Россия. Геополитика пространств и
геополитика границ (Выступление на
Круглом столе ИНС «Россия после
признания: конец эпохи Ельцина –
Путина», 18.09.2008) // АПН,
25 сентября 2008. URL: <http://www.apn.ru/publications/ar25ticle20733.htm>
12. *Цымбурский В.Л.* Speak, Memory!
// Цымбурский В.Л. Конъюнктуры
Земли и Времени. Геополитические
и хронополитические
интеллектуальные расследования /
Ред.-сост. Г.Б. Кремнев, Б.В. Межуев.
М.: Европа, 2011.
13. *Friedman G.* Viewing Russia From the
Inside // Stratfor. Geopolitical Weekly,
16 December 2014. URL: <http://www.stratfor.com/weekly/viewing-russia-inside#axzz3M7QeQomW>

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению эволюции геополитических воззрений Вадима Цымбурского в контексте концептуализации в его теории проблемы промежуточных, буферных территорий между Россией и Европой, которые автор «Острова России» назвал «территориями-проливами». Как известно, Цымбурский считал, что утрата контроля Россией над этими территориями не ослабляет, а гарантирует безопасность нашей страны, главная угроза которой происходила из внутренних поползновений устранить «буферные» землях в целях геополитического слияния Европы и России. Возникает вопрос, как Цымбурский мог интерпретировать в рамках своей системы снятие полосы этих территорий Европой – видел бы он в этом угрозу безопасности нашей страны. В статье доказывается, что в конце жизни именно этот вопрос стимулировал ученого к очередному переосмыслению его геополитической концепции, осуществить которое помешала ему смерть.

Ключевые слова: геополитика, территории-проливы, буферные территории, русский европеизм.

Boris V. Mezhyuev, PhD, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Philosophy, Department of History of Russian Philosophy, Associate Professor. Politconservatism.ru, Chairman of the Editorial Board. "Izvestia" newspaper, Deputy Chief Editor.

Mapping of Russian Europeanism.

Abstract. This article deals with the evolution of geopolitical views of Vadim Tsymburski in the context of his conceptualization of the problem of "buffer", or "limitrophe" territories between Russia and Europe which were called by the author of "The Island of Russia" as "strait-territories". It is known that Vadim Tsymburski thought that the loss of control by Russia over these territories has strengthened the security of our country that was damaged throughout the history by Russia's own urge to eliminate these «buffer» territories for the geopolitical confluence of Russia and Europe. The question arises, how could Vadim Tsymburski treat the elimination of "strait territories" by Europe in terms of his system, could it be seen by him as a threat to Russian security? The article proves that in the end of his life just this point motivated the scholar to reconsider his geopolitical conception but this reconsideration was prevented by his death.

Keywords: geopolitics, strait-territories, buffer territories, Russian Europeanism.

В.Л. Цымбурский

*«После аутодафе октября 1993 года вопрос о покаянии России
должен быть снят»*

«Пока – не входить в мировое цивилизованное...»

Основания российского геополитического консерватизма

Сборник о новом человеке для новой эпохи

«После аутодафе октября 1993 года вопрос о покаянии России должен быть снят»

Клуб «Свободное слово» в 1990-х и 2000-х годах был местом постоянных встреч представителей московской интеллигенции – прежде всего той, что поддержала горбачевскую «перестройку» и с большим сомнением, если не враждебностью, встретила приход ельцинизма и экономическую реформу Гайдара. На всех заседаниях клуба, которые в 1990-х проходили в помещении Союза кинематографистов, председательствовал его основатель – философ Валентин Толстых. Здесь часто можно было услышать выступления философов Абдусалама Гусейнова, Вадима Межуева, Эрика Соловьева, Юрия Бородая, Карла Кантора, Григория Померанца, историков Владлена Логинова и Владлена Сироткина, политологов Андраника Миграняна, Игоря Клямкина, Леонида Полякова и многих других. Материалы заседаний публиковались первоначально в распространяемых в узком кругу ротاپринтных сборниках, которые сегодня труднодоступны для исследователя и являются библиографической редкостью.

Републикуемый текст Вадима Цымбурского, по-видимому, представляет собой сокращенную версию его самого первого выступления в клубе на заседании 29 ноября 1993 года «Интеллигенция во времена кризисов и катастроф (логика гражданского поведения)». Все участники сосредоточились на обсуждении публичного поведения интеллигенции в период событий октября 1993 года. Подхватывая эту тему, Цымбурский представил свою концепцию интеллигенции, основанную на социологии Толкотта Парсонса. Согласно этой концепции, русский интеллигент претендовал на выполнение сразу двух функций: культурной и политической. Согласно Цымбурскому, интеллигент – это человек культуры, от имени культуры занимающийся политическим целеполаганием, противопоставляя себя правящей бюрократии, функцией которой является снятие напряжений внутри социума.

Выступление Цымбурского прозвучало непосредственно после публикации его основного геополитического труда «Остров Россия» в № 5 журнала «Полис» («Политические исследования»), и эта статья сразу же сделала имя ученого известным в той среде, которая составляла основную аудиторию клуба «Свободное слово»: не артикулированные ссылки на «островной» текст явно присутствуют в этой речи, полемически обращенной против представителей интеллигенции, которые хотели сохранить за ней какую-то общественно-значимую роль, несмотря на позор «черного октября» 1993 года. Хотелось бы отметить, что полный текст речи в клубе – с прямыми отсылками к теории Парсонса и геополитике «Острова России» – был опубликован первоначально в ротاپринтном сборнике «Свободного слова», однако в 2014 году нам, увы, не удалось обнаружить ни одного его экземпляра. Поэтому сегодня мы вынуждены довольствоваться сокращенным вариантом этого выступления, приведенном в изданном Петром Щедровицким в 1996 году сборнике материалов клуба (Свободное слово: Интеллектуальная хроника десятилетия / Редакторы-

составители А.А. Гусейнов, В.М. Межуев, В.И. Толстых. М.: Школа культурной политики, 1996. С. 333–334).

* * *

Интеллигент – явление синкретизма культуротворческой и политической функций. Это тот случай, когда в формах активности одного и того же социального слоя осуществляется «склеивание» функции воспроизводства культуры, поддержания непрерывности в существовании данного общества и функции «Гонки» престижных политических целей. Интеллигент по определению столь же «хомо политиканус», как и «хомо культуралис». В чем это реально выражается? Когда мы говорим о том, что интеллигент почти всегда в оппозиции властям; что он – тот, чье сердце уязвлено несправедливостями мира; что им можно быть, только заступаясь за униженных и оскорбленных, – мы тем самым утверждаем простую и однако же парадоксальную вещь: в контексте *нашей* общественной системы творцом культуры является человек, причастный к зарождению и эскалации престижных политических целей. Мы мало поймем в феномене «великой русской классической культуры», если при рассмотрении ее динамики не примем в расчет структурно-функционального назначения этой культуры: быть питомником политического неформалитета, играющего в этом обществе роль то «второго», теневого, то основного, «первого», истеблишмента.

В каком же положении наша интеллигенция оказывается сейчас, когда ясно, что Россия в мировое цивилизованное сообщество «не влазит» по экономическим, культурным, социально-психологическим и иным причинам и основаниям? У интеллигенции, пока она еще намерена цепляться за Россию, остается два пути. Первый – разогреть кризисность, подыскивая президенту все новых недругов и подталкивая его к борьбе до победы, т.е. до непристойных карикатур на 37-й год. Второй путь, продемонстрированный здесь Г.С. Померанцем, – игра на мотивах вроде «чрезвычайно сложного времени», необходимости, постреляв, покаяться, а покайсявшись, пострелять и т.п. В этом случае трудно увидеть что-то иное, нежели полную моральную капитуляцию, сознательное предпочтение «своего» победителя. После аутодафе 3 и 4 октября, после расстрелов 5-го всякий вопрос о покаянии России должен быть снят. Сейчас выбор между покаянием и пребыванием под проклятием стоит перед теми, кто звал нас к покаянию с 87-го.

Проект, во имя которого выступала интеллигенция последние годы, обесмыслен, фрустрирован, исчерпан. По-настоящему происходит вот что. С крушением «августовских» идеалов интеллигенция перестает выполнять свое структурно-функциональное назначение в российском обществе культурнически и политически активированного слоя. Да, будут морально кредитоваться врачи, учителя, библиотекари. Но не будут кредитоваться люди, у которых душа уязвлена страданиями человечества, которые зовут массы и зовут к улучшению мира.

Интеллигент, скатившись до роли мелкотравчатого подстрекателя, перестает котироваться как «хомо политиканус». Зато резко изменяется целостность ранее ему противостоявшей интегративной системы власти. Реорганизуется геополитическая структура страны, активизируются местные администрации. Вопреки тому, что говорится о распаде России вслед СССР, я не вижу возможности такого распада. Напомню только об одном обстоятельстве: в начале октября многие Советы субъектов Федерации, многие главы национальных республик были на стороне Верховного Совета? Почему в это время не раздались сепаратистские голоса, не было призывов к выходу, к обособлению от «обезумевшей Москвы», почему развитие событий принципиально отличалось от того, что мы видели в 1991 году?



Я не думаю, что интеллигенция в ее традиционном виде найдет себе место в новых структурно-функциональных образованиях. Может быть, лучшим вариантом для интеллигенции, шагавшей в 1991 году под лозунгами «Горбачев, уходи!», «Горбачев, не завидуй нашей любви к Ельцину», будет пойти по стопам эмигрантов первой и третьей волны: без специальных репрессий и «философских пароходов», просто видя фрустрацию своих ожиданий, она кинется за пределы России, не оправдавшей надежд на вхождение в «мировую симфонию», и огромным «выбросом России» будет раскидана на пространстве от Оксфорда до израильских судомоен...

Я допускаю и такое. Общество, как и природа, не терпит пустоты: этот отток компенсируется молодыми и свежими, кои радостно займут эти места, вселятся в чужие квартиры, получают кучу новых прописок, должностей и окладов, сменяют отхлынувших в библиотеках, лабораториях, на страницах журналов и в планах издательств. Но это уже едва ли будут интеллигенты: в лучшем случае это будут интеллектуалы, эксперты, консультанты там, где в них будут нуждаться люди управления, политики, экономики. У этих людей культуры будет свой интеллигентский долг: забота о духовном снятии возникающих напряжений, и через это – истовое обеспечение непрерывности существования, при всех переменах общества, России.

«Пока – не входить в мировое цивилизованное...»

Вниманию читателя предлагается одно из наиболее значительных с теоретической точки зрения публичных выступлений Вадима Цымбурского. Оно было озвучено 24 января 1994 года на заседании клуба «Свободное слово», посвященном теме «Русский фашизм – миф или реальность?». Члены клуба, включая цитируемых в выступлении Цымбурского философов Вадима Межуева и Карла Кантора, обсуждали, по следам неожиданного успеха партии Владимира Жириновского на выборах в Государственную Думу в декабре 1993 года, насколько вероятен политический успех «русского фашизма» и в какой мере ответственность за возникновение этого феномена несет либерализм в его искривленной отечественной версии.

* * *

Моему выступлению предстоит быть своего рода дополнением и комментарием к выступлению В.М. Межуева. Прежде всего, я хочу полностью поддержать то, что говорилось Вадимом Михайловичем о необходимости различать понятия «фашизма» и «нацизма».

Нужно видеть в фашизме то, что не покрывается ранжированием людей по национальному и расовому признакам – ранжированием, которое исторически проявлялось в разных обстоятельствах, разных культурах, разных обществах. Уже достаточно и в прессе, и здесь говорилось о Прибалтике и об ее обращении с «русскоязычными». По существу Прибалтика тяготеет к типу нацистского общества, и однако мы не можем назвать сегодняшние прибалтийские общества фашистскими.

Если мы присмотримся к двум эталонным фашистским обществам, какие нам являют, при всем различии между собой, Германия и Италия во второй четверти нашего века, и попытаемся определить их общие черты, стремясь охарактеризовать феномен фашизма, то, на мой взгляд, он должен быть охарактеризован следующим способом. Прежде всего, **фашизм есть форма восстания нации против попыток вписать нацию в непрестижный и дискомфортный для нее мировой порядок на правах нации «второго сорта»**. Это, как мне кажется, исходное, родовое определение фашизма.

Но такого рода определения мало, ибо надо задуматься над тем, в чем именно состоит это «восстание нации». Вспомним здесь то, что некогда Джилас писал о большевистской революции и о неразрывной с ней экспроприации иностранных капиталов и кассации иностранных долгов России. В конце концов, Джилас рассматривал нашу революцию так же как форму национального восстания против миропорядка, не устраивающего нацию. Однако **фашистское восстание имеет свои отличающие его черты**.

Во-первых, такой чертой является четкое противопоставление мировым нормам, правилам игры, определившимся в капиталистической мир-системе,



ценностей данного народа, нации. **Фашизм – восстание ценностей против норм.** Отсюда вытекает все, что говорилось Карлом Моисеевичем Кантором насчет язычества, ставки на «кровь и почву», по сути – на исконные культурные начала данной нации, как бы возносимые в противовес диктуемым ей извне нормативам и правилам. Такой поворот неизбежен уже потому, что в своем бунте впадшая в фашизм нация стремится опереться на те начала, где она менее всего зависит от миропорядка, – на то, что создано и непосредственно выпестовано ею и где она не так явственно соединена с «чужим» миром, как в циркуляции стоимостей и в балансе сил. Бунт ставит на культуру, на ее первоосновы, где антропология погружается в биологию, – и в этой бездне черпает прообразы восстания политического.

Во-вторых, помимо ставки на эти «кровные» и «почвенные» основы, типологической чертой фашизма является использование **тоталитарной техники власти**, а именно приобщения всех граждан общества к всеобщности единой воли через посредство партии-авангарда, снимающей противопоставление общества и государства, партией, которая становится над формальными структурами государства как собрание «лучших сил народа». Партия-авангард с ее дробным, слабо формализованным переходом от партии «внешней» к «внутренней» притязает на снятие разрыва между элитой и массами, превращая каждый человеческий атом общества в «единую силу частицу».

Третий признак фашизма состоит в том, что в своем восстании фашизированная нация стремится внутри себя снять классовые противоположности и противоречия, **нейтрализовать конфликт богатых и бедных, экономических «верхов» и «низов» нации.** Поэтому, как правило, при фашизме не происходит экспроприации, физического истребления заправил экономики, но «хозяев жизни» склоняют консолидироваться с низами своей нации на основе морального единства, на основе именно тех своих, и только своих, исконных первоначал, во имя которых «нация-пролетарка» поднимает бунт против не устраивавшего ее мира.

Посмотрим еще раз на этот **теоретический эталон фашизма:**

– ставка на свои неотъемлемые, не экспроприруемые миропорядком истоки; на «кровь и почву» – раз;

– тоталитарная техника власти, связывающая массы в «единую силу», – два;

– стремление на этой основе снять внутренние классовые противоречия – три.

Попытаемся теперь инвертировать данный эталон и построить другой, который зеркально противостоял бы эталону фашистскому. Мы получим при этом **эталон компрадорского государства.**

Я обращаю ваше внимание на то, как абсурдно, оксюмороном звучит словосочетание «компрадорский фашизм», предполагая некий лицемерный выгиб мысли, соединяющий члены антитезы. Ибо компрадорство – прямая альтернатива фашизму для общества, закатившегося в дискомфортную лунку мир-системы.

Пункт против пункта.

Вместо ставки на кровь и почву – **полное привязывание государства к внешним мировым структурам**, черпание режимом ресурсов выживания из внешней поддержки и внешнего признания.

Вместо тоталитарной техники власти – **техника власти авторитарная**, когда атомы не связываются ни в какую всеобщность, но им предоставляется порознь вертеться в атомарном их состоянии, лишь бы не вмешивались в дела власти, не препятствовали ей по своему усмотрению определять условия этого «верчения».

Наконец, вместо морально-политической нейтрализации противоречий – их **предельная поляризация**, общеизвестная игра на противопоставлении образа жизни одной десятой приобщившихся к мировому цивилизованному и девяти десятых не приобщившихся, оставшихся «при своих».

Причем авторитарная техника власти предназначена удержать общество в этом напряженном неравновесии, до бесконечности отсрочивая взрыв.

По правде, для государства, втягивающегося в миропорядок на неблагоприятных для себя условиях, есть два пути: либо смириться с положением вещей, когда в обществе выделяется верхушка, приобщенная к мировым стандартам, пользоваться авторитарной техникой власти для обуздания девяти десятых и гордиться тем, что играешь по правилам «мирового цивилизованного», – либо идти на бунт, который с высокой вероятностью придаст обществу фашистские черты.

Выбор страшный.

Во второй четверти века либеральная Европа и весь Запад были напуганы тем, что в их собственном, романо-германском ареале обозначилась такая «периферия», такой тип бунтующих наций. А потому после мировой войны были приняты все меры к тому, чтобы в Европе – а заодно и в Японии как ближайшей к США части «мирового приморья» – эти очаги погасить и абсорбировать подобные нации – внутри либерального «центра». Это было сделано.

Россию никто в таком качестве и на таких льготных условиях абсорбировать не будет, да и не смог бы. Потому надо признать, что **при желании любой ценой закрепиться на окраине «мирового цивилизованного» перед Россией встанет выбор между двумя путями: путем компрадорским и путем фашистским.**

Если мы поглядим, что пишут одни демократические эксперты, восславляя авторитаризм как форму перехода в лучшее состояние; что пишут другие эксперты, превознося общество, где армия, влившись в «цивилизованную» одну десятую, возьмется ее защищать от девяти десятых, оставшихся «при своих», – мы увидим отчетливо: выбор между этими путями стал определенным и близким.

И то, что Вадим Михайлович говорил насчет близочности типов Гайдара и Жириновского, – это близочность альтернативных путей, выбираемых внутри обозначенной ситуации, близочность удовлетворенности ею и бунта против нее.

Сколько раз за последние годы в демократической прессе в оправдание сегодняшних боссов цитировалась строчка Бродского насчет того, что «ворюга мне милей, чем кровопийца». А ведь как сказать, население-то может выбрать и по-иному. Ведь у кровопийц нередко бывает этакий пассионарный шарм – вспомним рассуждения Раскольников о Наполеоне, – ворюги же, тем паче ворюги доходов от экспорта, как правило, никаким шармом не обладают. Потому **народы в истории частенько выбирают по-другому, чем Бродский.**

На самом деле, вопрос состоит единственно в следующем: неизбежно ли гнать к этой страшной ситуации, когда население данной страны окажется только перед таким и никаким иным выбором? Если мы хотим войти в мировое цивилизованное на тех условиях, которые нам сегодня предлагаются в обмен на наши идеологические обязательства, нам придется либо пройти путь компрадорства до некоего неочевидного конца, либо в какой-то момент срываться в фашизоидную фрустрацию со всеми последствиями.

Все, о чем сейчас надо думать, – так это о способах предотвратить подобный выбор, уклониться от него. Есть ли по существу такая возможность? В последние годы мы слушали столько насмешек над «третьими путями», что даже неловко высказывать напрашивающуюся мысль: пока – **не входить в мировое**



цивилизованное, не садиться на трехногий стул, который нам там приготовлен, продумать, не осталось ли в запасе для такого вхождения неких возможностей, скрывающихся имплицитно в нынешнем, еще сильно внесистемном положении России. **Нельзя ли еще использовать эту внесистемность для реорганизации и внутренних сил, и внешнего потенциала страны?** Все ли варианты нашего отношения к мир-системе рассмотрены, не остались ли пропущены такие, которые давали бы шанс фрустрировать вызов неприемлемого выбора?

Что касается социально-политической программы, то главный вопрос сегодня в следующем: возможно ли в нашей стране такое принятие либерально-гуманистических норм, выработанных Западом, такое претворение их, которое было бы ради этой страны, а не ради оправдания ухода от нее? Именно так: **может ли западник в России быть либералом и западником для России, а не для Запада?** Причем не в начале века, не в дни Милюкова и Струве, а в наши дни, когда мы обсуждаем шансы русского фашизма?

Основания российского геополитического консерватизма

Републикуемый текст – выступление Вадима Цымбурского на «круглом столе» «Проблемы российской геополитики» на философском факультете Московского университета весной 1994 года, материалы которого увидели свет в журнале «Вестник МГУ. Серия 12: Социально-политические исследования» (1994, № 6, с. 3–7). В коротком предуведомлении редакция раскрывала темы «круглого стола»: «причины, обусловившие значительное повышение интереса общественности к геополитическим проблемам в последнее время; содержание понятия “геополитика” и его трактовка в современной литературе; анализ роли России в постсоветском пространстве; тенденции в развитии российского регионализма».

Цымбурский предстает на этом мероприятии не только автором полноценной и самостоятельной российской геополитической концепции, альтернативной любым – и европейским, и евразийским – версиям континентализма, но и теоретиком уже формирующегося в качестве особой идеологии «геополитического консерватизма», ориентированного на сохранение как основ существующего миропорядка, так и «подтачивающих его сил». Ученый полагал, что самоустранение России из конфликта этих начал (поддерживающего статус-кво и его колеблющего) позволит нашей стране избежать лишней траты ресурсов в деле поддержания собственной безопасности и направит ее усилия на освоение собственной территории. Время показало, что любая реализация «консервативной программы» потребует удержания «территорий-проливов» в российской сфере влияния, а это – уже вне всякой предзаданной идеологической установки российской власти – сохранит Балто-Черноморье как поле конфликтных и часто антагонистических интересов.

* * *

В наши дни интерес многих русских к геополитике коренится в восприятии ими тех перемен, что произошли с их страной в начале 90-х, как своеобразного сжатия России. «Великая Россия» – СССР – для многих трансформировалась вовсе не в СНГ, а в РФ с ее нынешними границами, государственная традиция не прервалась, но воплотилась в новом, еще не вполне привычном пространственном образе. Отсюда обращение к дисциплине, объявившей своим предметом использование государствами пространственных факторов при определении и достижении политических целей. К тому же в обществе, резко разделенном по социальным приоритетам, геополитика, подавая страну как целостность, представляя ее единым «игроком» в отношении к внешнему миру, несет в себе миф «общей пользы», солидарности «российского клана», где на всех будут делиться выигрыши и проигрыши. Можно сказать, что идеология, искомая ныне многими группами нашей элиты, способная сплотить Россию, почти неизбежно должна включать сильные геополитические мотивы.

Говоря о том, какой быть нашей геополитике, сперва скажу, какой она, по моему, быть не должна, какие «идолы» – в терминах Ф. Бэкона – ей угрожают.



Среди «идолов» самых опасных – восприятие геополитики исключительно как идеологии пространственного расширения. Это – идущая от традиций школ К. Хаусхофера однобокая, детерминированная обстоятельствами Германии в начале XX в. рецепция базисных, геополитических категорий: «усвоения» страной пространства, внутреннего и внешнего, адаптации к нему и контроля над ним. Не «идолизироваться» могут разные геополитические конструкты, вроде концептов «сердцевины материка» («хартленд»), «кромки материка» («римленд»), «большого пространства» («гроссраум»), «России-Евразии» и т.д., сценарии «борьбы хартленда с побережьем», «строительства суверенных гроссраумов» и им подобные, из которых многие отражают опыт иных национальных политических культур с их программами национального самоопределения для России.

Кроме того, на уровне практической стратегии нашей геополитике грозят «патетические идолы» – загибы самооправдания-самоутверждения «национальной души». Это, с одной стороны, реваншизм и реинтеграторство, а с другой – склонность неразборчиво подыгрывать мировому цивилизованному в том, что оно понимает под «стабилизацией» сегодняшнего миропорядка. Первая пара «идолов» толкает Россию к авантюрным затеям в стиле «Ялты-2», тогда как «идолизация» стабильности делает из нее поборницу тех сторон «нового мирового порядка», которые для России должны быть либо безразличны, либо признаваемы откровенно дискомфортными.

Отечественная геополитика, осмысливая причины сжатия страны, должна от «домашних» причин перейти к лежащим за ними причинам миросистемным, чтобы, осознав изменение России как функцию от изменения мира, определить для трансформированной России стратегию в этом мутирующем мире. Необходимо выявить моменты новизны в сегодняшнем отношении России к пространству по сравнению с великоимперской эпохой, проникнутой императивом «выноса силы вперед». Наша «внешняя» геополитика и геоэкономика, описывающая отношения России к не-России в контекстах мыслимых вариантов динамики мировых систем, должна соединиться с геополитикой и геоэкономикой «внутренней», обосновывающей для наших регионов тактику дифференцированного развития, в том числе выделения инновационных зон, с учетом принципов «российской солидарности», «связывания соседств» и «регионального державничества». Последний принцип разработан М.В. Ильиным, он отражает реальную тенденцию к «строительству державы» снизу вверх – с регионов. Исходя из этих предпосылок, мы можем сравнить версии геополитического самоопределения России.

Россия как государство Европы – идея фикс нашей великоимперской эпохи, опосредовавшей причисление страны к «цивилизованному миру» претензией на принадлежность к одной пространственной платформе с романо-германскими странами. Следствием такого самоопределения стал наш трехвековой натиск на Запад, отпор с его стороны и вместе с тем западнцентристский перекосящий развитие России из-за колониалистского отношения к зауральскому русскому Востоку, начинающему демохозяйственным вакуумом сейчас «всасывать» потенциалы Китая. После отхода России с промежуточных территорий Восточной Европы в полной мере подтверждается наша истинная роль в европейском мире XVIII–XX вв. – роль навязывавшей себя ему чужеродной силы. Сейчас для нас быть европейским государством – значит либо вернуться к натиску на запад в виде «Ялты-2», либо принять место смиренного и поднадзорного маргинала. Россия и Европа – два шопенгауэровских дикобраза, способных согреть друг друга взаимопониманием, экономическим сотрудничеством и т.д., лишь отдалившись на расстояние своих иголок.

Что касается «евразийства», то под этой этикеткой у нас циркулируют идеи, имеющие между собой мало общего. Евразийство ортодоксальное предлагает России то ли сплотиться с Азией против «романо-германского шовиниз-

ма», то ли объять континентальную глубину до Синьцзяна, чтобы «не попасть к немцам на галеру». Но евразийцами зовут себя и те, кто взваливает на Россию миссию отвоевать Среднюю Азию для мирового цивилизованного сообщества соблазнами вроде многопартийности и прав человека. Наконец, благодаря «Дню» и «Элементам» «евразийство» у нас обрело еще и хаусхоферовский смысл сплочения России с Центральной Европой и миром ислама в суверенный гроссраум против атлантического «мондиализма».

Теории сближения России с Азией вообще или с «тюрко-исламским миром» в частности догматически игнорируют как наблюдаемый массовый отток из Средней Азии и Казахстана вместе с ростом бытового расизма в нашей стране, так и то напряжение между российской умеренной рождаемостью и фертильностью южных республик, которое стало вторым по значению стимулом к демонтажу СССР вслед за перенапряжением от нашего «похищения Европы». Далее. Нам совершенно не должно быть интересно насаждать демократию в Средней Азии, учитывая уже прошедший эксперимент с «посевом» демократических идей в Таджикистане и Закавказье, а равно и опыт прошлого, когда Запад не уставал науськивать азиатов против русских, пытавшихся притязать на часть «бремени белого человека». Реальные же наши интересы на юге, включая доступ к некоторым ресурсам, стабильность здешних режимов, отстраняющих Средний Восток от России, а также проблему «Казахстана в Казахстане», с евразийской программой состыкуются слабо, как последнюю ни трактовать.

Построения группы «Элементов» с жестким разделением Запада на атлантический и континентальный круги представляют эпигонское почерпание из Хаусхофера ради утешения себя надеждой на решающую роль России в исходе тяжбы между частями мирового цивилизованного. Небесспорна оценка сегодняшнего мира как монополярной демонической гегемонии США. По крайней мере, с этой моделью успешно конкурирует сейчас иная, где перегревшейся сверхдержаве противопоставляются крепнущая претенциозная Европа и ислам, требующий передела миросистемного капиталистического «пирога». Такой вариант на деле глубоко импонирует бы авторам «Элементов», в чьем проекте сплотившаяся континентальная Европа при поддержке России отторгает от себя американцев, вытесняя их за Атлантику. Но всё это – гротескное преувеличение тенденций, подлинный смысл которых раскроется лишь через десятилетия. Пока европейские «новые правые», которых «Элементы» берут в союзники, далеки в своих странах от кормил власти, а среди тех интеллектуалов Европы, кто видит ее в будущем без американцев, преобладают видящие ее также и без русских и, кстати, с жесткой селекцией восточноевропейцев. Встреча Европы с исламом на холмах Боснии как-то мало напоминает дружный антиамериканский комплот, да еще готовый принять православие третьим. Для наблюдаемого мира геополитика «Элементов» не дает России никаких кратко- и среднесрочных ориентировок. А если вообразить в будущем отступающие в свою крепость США и вздымающуюся пан-Европу, задумаешься, с какой из этих сил России лучше дружить, вспомнив как исход «евроазиатского» советско-германского содружества 1939–1941 гг., так и добрые трансокеанские отношения русских монархов с американской изоляционистской демократией XVIII–XIX вв.

Выдвинутая мной модель «острова России» представляет альтернативу русскому континентализму равно в его европеистских и евразийских вариантах, реализующуюся на трех – цивилизационном, геостратегическом и экономическом – уровнях. В плане цивилизационном Россия периода ее кристаллизации как территориального государства (XV–XVI вв.) по своим культурно-конфессиональным и социальным характеристикам выступает гигантским русским «островом» внутри континента, отделенным от приокеанских цивилизационных платформ «территориями-проливами» Восточной Европы, Закавказья,

казахско-среднеазитских степей и пустынь, а также синьцзяно-монгольского пояса. В XVIII в. элита России берет курс на самоотождествление с Европой и изживание «островитянства» страны. Следствием чего стала «холодная война» XIX–XX вв. между Россией и Западом с промежуточными-«разрядками» и пиком во второй половине текущего столетия. Надлом нашего напора на Запад в начале векового (XX–XXI вв.) понижательного тренда мировой экономики, по Ф. Броделю, уход России из Восточной Европы и ее отказ от азиатских владений означают восстановление «территорий-проливов» в их прежнем качестве.

В плане геостратегическом такой поворот дает снижение внешнего давления на Россию по всему азимуту, кроме района встречи с Китаем в Приморье. По всей полосе цивилизационных «территорий-проливов» к России примыкают государственные образования, несравнимые с ней в военной мощи. Исходный цивилизационный паттерн России, транспонируясь в сферу геостратегии, становится гарантией ее безопасности. Возникающее отсюда стремление русских поддерживать особый статус «территорий-проливов», согласно модели «острова России», попадет в унисон с ограниченными способностями структур «коренной» Европы к пространственному разрастанию и с ростом аутсайдерского самоощущения среди значительной части восточноевропейцев.

В экономическом плане снижение напряженности на западе и вообще снятие крупных экстравертных целей будут работать на подъем регионов русского «острова», на растущую значимость его восточной части с Южной Сибирью и тихоокеанскими портами. «Внутренняя» геополитика начинает резко превалировать над «внешней», чего не видят наши национал-патриоты. В то же время ближайшая к нам кайма «территорий-проливов» сейчас представляет зону государств с разрушенными экономиками, эфемерными валютами и уровнем жизни ниже российского. Этим значительно облегчается притягивание ресурсов данных территорий, когда нужно, в интересах благосостояния и развития России на льготных условиях, если она будет сознавать данные интересы, будет готова на партнерские скидки со своей стороны... и не испугается упреков в «неоколониализме». Украина уже сейчас облегчает нам жизнь, следуя принципу «не доедим, но вывезем», а Метрострой процветает трудами гастарбайтеров.

Модель «острова России» – не изоляционистская в обычном смысле. Беря за данность, что подъем наших регионов, особенно восточных, должен потребовать привлечения иностранных капиталов (наряду с национально-российскими), она предполагает создание условий – законодательных, в том числе налоговых, информационных, наконец, элементарно-полицейских – для возможности их ангажирования на чисто экономической почве, а не в форме кредитов под социальные и политические обязательства. Этой политике поддержки частных инвесторов не противоречит то общее отношение России к мировому цивилизованному сообществу, которое может быть выражено в трех «наивных» принципах:

– при существующем мироустройстве, страшно консервативном по господствующим тенденциям, ни один народ, имеющий что терять, не может позволить себе роскоши саморастраты в «выносах силы вперед». Если какой-то народ этого не осознает, тем хуже для него;

– однако, живя и самоопределяясь в этом мироустройстве, Россия своим положением не настолько в нем укоренена, чтобы отождествлять свою судьбу с ним, с его нерушимостью. Нам должны импонировать миросистемные казусы, понемногу расшатывающие и подрывающие позицию мирового цивилизованного, если они нам не причиняют ущерба и не требуют от России серьезных расходов. Но разрушит этот мир не Россия;

– российский геополитический консерватизм состоит в понимании того, что сохранение мирового порядка есть «подмораживающее» сохранение его целиком вместе с подтачивающими его силами, а не следование иллюзорным гарантиям на века, которые бы обеспечили статус его нынешних лидеров.

Сборник о новом человеке для новой эпохи

Этот текст – фактически последняя статья ученого, она была надиктована Борису Межуеву за четыре дня до смерти автора. Текст был опубликован в сокращении в специальном выпуске ньюслеттера «Русского журнала» (http://www.intelros.ru/pdf/Rus_Jornal/21/1.pdf), посвященном 100-летию выхода сборника «Вехи». В более полном варианте он был размещен на сайте РЖ 24 марта 2009 года, на следующий день после кончины мыслителя. Статья отмечена сильным влиянием историософии второго тома «Заката Европы» Шпенглера, которую Цымбурский хотел положить в основание своей системы хронополитики.

* * *

Столетие «Вех» – столетие большого этапа нашей цивилизационной истории, это столетие нашей городской революции. Думаю, что в отдаленном будущем зрелую стадию цивилизационной истории России будут отсчитывать даже не с 1917 года, а именно с «Вех».

Давайте взглянем в исходный тезис этого сборника. Его исходный тезис – это **неудача революции, революции 1905–1907 годов**. Думаю, что этот вывод был отнюдь не очевиден. В своих воспоминаниях меньшевик Николай Валентинов писал, что если бы революционерам в 1904 году показать Россию 1908-го, то они вынуждены были бы признать, что новая Россия представляет предел их тогдашних мечтаний. Это была фактически конституционная Россия. Считать, что революция кончилась неудачей, могли кадеты, когда по результатам выборов в первую Думу они чуть было не захватили власть; так могли думать трудовики, когда они почти захватили лидерство во второй Думе. Но объективные ученые, хорошо знавшие Макса Вебера, вероятно, имели представление о его оценке России как страны, движущейся навстречу буржуазной демократии, пусть и в извращенной бюрократической псевдоконституционной форме. С узко политической точки зрения революцию нельзя было считать полностью неудачной.

О чем же шла речь в «Вехах»? О том, что революция не оправдала себя по тому максималистскому счету, который ей эти люди предъявляли. Авторы «Вех» обвиняли интеллигенцию, тот политический класс, который делал революцию, в том, что он оказался не на уровне ее потенциала, не на уровне ее задач, не на уровне ее масштаба. Вот в чем они ее обвиняли!

Наша первая революция была действительно грандиозным событием с точки зрения реформационной заявки, с точки зрения становления новой России, России городов. Историк Виктор Живов в статье десятилетней давности пишет о том, что наше интеллигентское движение 1850–1860-х годов представляет собой мощное движение маргинализованных слоев провинциаль-



ного духовенства и дворянского класса¹. Если предшествующие 150 лет вкусы задавало наше столичное аристократическое дворянство, наша, я бы сказал, «партия жизни» в ее имперской цветущей мощи, то теперь, в 1850–1860-е, согласно Живову, впервые выходит наша «партия ценностей». «Партия ценностей» использовала курс на естественные науки императора Николая Павловича для того, чтобы выдвинуть программу «опрощения» и подвергнуть критике все наши верхи и все их ценности именно исходя из ценности данного «опрощения». Мы впервые увидели в 50–60-х массивное наступление контрэлиты на наши верхи.

Следующие пятьдесят лет происходил огромный накат «партии ценностей» на Россию. И когда поход «партии ценностей» на Россию принес первые заметные успехи, веховцы произвели удивительный поворот. Следует учесть, что они в большинстве своем были кантианцы, и эти кантианцы, увидев, что на их глазах произошла революция, которая уже так много принесла, в желании, чтобы она принесла еще больше, развернули свои орудия против самой «партии ценностей». Они стали критиковать те «ценности», под знаком которых состоялась сама революция. Это была фактически критика критики. И здесь веховцам очень помогло то, что они читали Вебера, его работу о протестантизме и духе капитализма. Они знали, что религиозный дух западной Реформации дал удивительно щедрые плоды, именно он обеспечил продуктивность западной цивилизации.

Поэтому **они указывали на чрезвычайную заполитизированность, политическую замкнутость революции как на источник ее слабости**. Они указывали на то, что революция жестко привязана к типу человека, который всецело сосредоточен в сфере политики и не способен поэтому пойти дальше, не способен стать полноценным субъектом цивилизационного развития.

«Вехи» зафиксировали недоделанность, ущемленность и урезанность нашего реформационного сознания. Представьте себе, что реформационная Европа XVI–XVII веков стала бы строиться на идеях «мюнстерской коммуны», лейденских братьев. Можете себе представить, что получилось бы? Чем бы тогда была Европа и была бы она вообще? Веховцы с ужасом констатировали, что наша поднимающаяся реформация оказалась привязана к, возможно, наименее продуктивной части старой России. И «Вехи» поставили вопрос о выковывывании «нового человека», соответствующего масштабу социальных сдвигов.

Я хотел бы обратить внимание на любопытный интертекст, существующий между «Вехами» и ярчайшим текстом о тоталитаризме, который был создан в сталинские годы. Речь идет о «Дракон» Евгения Шварца. Михаил Гершензон в «Вехах» пишет о том, как интеллигенция звала всех «выйти на площадь», и теперь *«сознания высыпали на площадь, хромые, слепые, безрукие: ни одно не осталось дома. Полвека толкутся они на площади, голоса и перебраниваясь»*. И после этого эти беспомощные сознания оказываются привязанными к колеснице власти, они становятся объектом ее манипуляции. Проходит тридцать пять

¹ Автор ссылается на статью В.М. Живова «Маргинальная культура и рождение интеллигенции», впервые опубликованную в журнале «Новое литературное обозрение» (1999. № 37; см. также: Живов В.М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. С. 685–704). Идеальный генезис русской интеллигенции Виктор Живов обнаруживал в глубинном *ressentiment*, который испытывали по отношению к элитарной культуре дворянства представители русского духовенства. Для Цымбурского эта гипотеза Живова удачно вписывалась в историософскую схему Шпенглера, согласно которой интеллигенция Нового времени представляет собой наследницу духовного сословия («партии ценностей»). И в качестве таковой она бросила вызов земельной и военной аристократии («партии жизни») в ту эпоху, которую автор «Заката Европы» называл временем Пифагора – Мухаммеда – Кромвеля, а Цымбурский обозначал своим любимым термином «городская революция». *Примеч. ред.*

лет, и появляющийся на сцене Дракон в зеленом кителе говорит Ланселоту, что если бы он увидел души тех, за кого сражается, то не стал бы «умирать из-за калек», за «безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянные души <...> дырявые души, продажные души, прожженные души, мертвые души». Души, разрушенные и разрубленные самим Драконом, самой тоталитарной властью. Очень жалко, что до сих пор сцена искушения Ланселота никогда не читалась в веховском контексте¹.

Итак, авторы «Вех» подняли вопрос о человеке, который мог быть адекватен крупнейшим цивилизационным переменам. И здесь они оказались удивительно прозорливы. Но они проиграли в другом. **«Веховцы» не смогли поставить вопрос о том, во имя чего будет существовать эта новая реформационная Россия, Россия городов.** Говоря словами Блока, Россия «конгрессов, банков, федераций», Россия нового цивилизационного такта. И потому они оказались сами уязвимы перед лицом социалистической ревизии проекта этой России. Они не поставили вопроса о смысле, который будет нести эта поднимающаяся Россия. Для людей старой, аграрно-сословной России ее смысл был более-менее ясен. Авторы сборника не смогли фактически ничем его заместить – это смогли сделать только те самые гершензоновские ущемленные, «хромые, слепые, безрукие» сознания, которые объявлялись «Вехами» не приспособленными для дела строительства городской цивилизации.

Главное, что нам завещали «Вехи», – это ответ на тот вопрос, который они в рамках своей кантианской программы наметили, но не смогли выполнить. **Вопрос о ценности России в рамках программы реформации**, о том, каков смысл России городского общества.

¹ Цымбурский пояснил в устной беседе смысл этой аллюзии: чрезмерная зависимость русской интеллигенции от политических тем и сюжетов обрекла ее в конечном счете на подчиненное политическое положение в системе тоталитарной власти. *Примеч. ред.*





В.Л. Цымбурский
Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII–XX вв.
Фрагмент книги.
Глава пятая.
Первая евразийская эпоха России: от Севастополя до Порт-Артура

Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII–XX вв.

Фрагмент книги

От редактора-составителя. Чем больше времени проходит с момента кончины российского мыслителя, выдающегося геополитика и крупного филолога Вадима Цымбурского (1957–2009), тем в большей мере открываются глубина его идей, точность рекомендаций и проницательность исторических оценок. Гражданская война на Украине обозначила фундаментальную роль лимитрофных межцивилизационных пространств в современном геополитическом противостоянии, которую Цымбурский зафиксировал в полемике с Сэмюэлем Хантингтоном. Цымбурский положил «территории-проливы» в центр своей концепции, что позволило ему предвидеть нынешний кризис и дать ему точное геополитическое описание.

Поэтому важной и приоритетной задачей является полное издание всех политических и филологических работ мыслителя – в первую очередь тех, что остались неопубликованными при его жизни. Или затерянными в малоизвестных ротапринтных сборниках. Из тех сочинений, что остались в рукописи, самое крупное – незавершенная докторская диссертация «Морфология российской геополитики», которую ученый готовил примерно в 1997–2002 годах, после чего работа над этой книгой остановилась отчасти по причине ухудшившегося здоровья автора, отчасти из-за того, что объемы предполагаемой работы выходили за рамки диссертационного исследования. Группа в составе Б.В. Межуева, Г.Б. Кремнева и Н.М. Йовы в настоящее время готовит расшифровку и издание того корпуса рукописей, которые остались в архиве мыслителя.

Самая большая из рукописных глав диссертации, которая публикуется в этом номере «Тетрадей», имеет название «Первая евразийская эпоха России: от Севастополя до Порт-Артура». Глава охватывает большой промежуток времени – от Крымской войны до русско-турецкой 1877–1878 годов, когда русская геополитическая мысль еще лелеяла возможность возвращения России на Балканы в качестве лидера славянского освобождения. Однако по мере укрепления на востоке Европы сильного германского блока росло сознание того, что это возвращение едва ли будет легким и что, возможно, геополитическую активность России следует развернуть в Центральной Азии. Иногда это время называют «славянской весной», и во многом оно совпадает своими ожиданиями с нашей нынешней эпохой.

Глава посвящена геополитической мысли России в эпоху, когда Империя Романовых была вытеснена из восточных пределов Европы коалицией западных держав во главе с Великобританией и когда взоры отечественных стратегов развернулись в сторону Средней Азии и впоследствии – Дальнего Востока. Аналогичный разворот мы переживаем и сегодня, и поэтому наблюдения Цымбурского над интеллектуальными течениями того времени оказываются крайне актуальными.

Так, еще с начала 1990-х годов Цымбурский испытывал большой интерес к творчеству создателя теории культурно-исторических типов Николая Данилевско-

го. В личных разговорах он отдавал явное преимущество идеям автора «России и Европы» перед взглядами некогда любимого им русского философа Владимира Соловьева. Цымбурский даже говорил, что считает обвинения Вл. Соловьевым Данилевского в скрытом антихристианстве его теории некорректными именно в условиях господства в царской России религиозной цензуры. Получается, что Вл. Соловьев, помимо прочих выдвинутых им против Данилевского обвинений, намекал и на своего рода нелояльность бывшего петрашевец к господствовавшему в России вероисповеданию. Цымбурский развивал свой «цивилизационный подход», отталкиваясь от выводов второго тома «Заката Европы» Шпенглера, но при этом сознавал, что данное направление исследований ведет свою родословную от размышлений русского мыслителя.

Тем не менее, как может убедиться читатель публикуемого нами текста, Цымбурский не закрывал глаза на многочисленные концептуальные натяжки и передержки так называемой теории культурно-исторических типов, равно как и на уязвимые места собственно геополитических рекомендаций автора «России и Европы». Обратим внимание лишь на один аспект этой критики, важный для нас сегодня. Цымбурский прозорливо указывал на иллюзорность представления Данилевского, от которого, судя по всему, тот не отказывался до конца жизни, о возможности союза России с державой-гегемоном континентальной Европы, при котором русской Империи был бы обеспечен контроль над южной частью Балто-Черноморья. Аналогичная иллюзия, условно говоря, Тильзитского сговора, была свойственна и геополитикам нашего времени, кто до последнего времени мечтал о прочном альянсе России с освободившейся от атлантического влияния Германией. Да, через восемь лет после смерти Данилевского Россия, словно разделяя его сожаления о крахе Тильзитского сговора с Наполеоном, вступила в военный союз с Францией, однако последняя к этому времени уже являлась не безусловным гегемоном Европы, но страной, проигрывающей битву за европейское лидерство и оттого нуждающейся во внешней поддержке. И что бы ни говорили наши германофилы, у России никогда не было более верного и более надежного союзника в Западной Европе, чем давивая германским сапогом Третья республика.

В процессе объективного и отстраненного анализа воззрений Данилевского, описания эволюции его политического мировоззрения Цымбурский неожиданно наталкивается на идею, которая кажется ему особенно близкой. Речь идет о концепции России как Анти-Европы, представлении, которое позволяет противопоставлять нашу страну не той или иной европейской державе, но Европе в целом. Любопытно, что в то самое время, когда автор «России и Европы» приходит к этой идее, Данилевский, как подчеркивает Цымбурский, выбирает в качестве приоритетного врага славянства Англию, с которой Россия теперь образует особую конфликтную систему. Идею о наличии сверхсистемы «Европа–Россия» сам Цымбурский впервые высказывает в работе 1997 года «Европа – Россия. Третья осень системы цивилизаций», в которой он попытался соотнести выявленные им «циклы похищения» Европы с трансформациями геополитической структуры последней. В качестве культурологического отражения идеи России как Анти-Европы Цымбурский обращается даже к популярной в 1990-х годах концепции Бориса Гройса о России как «бессознательном Западе» с целью проиллюстрировать тот же тезис – что две цивилизации имеют взаимосвязанную культурную и политическую динамику.

Обратим также внимание и на внимательный анализ в публикуемой главе геополитических воззрений Федора Достоевского. Цымбурский обнаруживает в



геополитике Достоевского глубинный эсхатологический подтекст: вся история нашего послепетровского «рывка в Европу», как считает ученый, представлялась автору «Братьев Карамазовых» поспешным и неуместным стремлением разрушить грань между Западом и Россией. Отторгнутые коалицией западных держав от участия в судьбах Европы, русские после поражения в Крымской войне должны были искать для себя геополитическую миссию вне коренного пространства западного мира, ожидая, что в будущем они смогут вновь прийти в надломленную социализмом Европу – но уже не как слуги каких-либо европейских сил, а в качестве подлинных судей.

В изображении Цымбурского Достоевский предстает мыслителем, сумевшим сочетать темы Тютчева и Данилевского – точнее, согласно концепции «Морфологии российской геополитики», представления фазы С (российской гегемонии в Восточной Европе в 1815–1854 годах) и фазы Е (отката от Европы после Крымской войны при сохраняющейся надежде на создание особого пророссийского блока на пространстве Балто-Черноморья). Освобождение славян и завоевание Константинополя мыслятся писателем как своего рода компенсация отказа от всеевропейского призвания при сохраняющейся надежде, что в будущем предоставленная сама себе Европа упадет к ногам России.

Цымбурский сам довольно много размышлял над возможностью нового прихода России в европейскую историю в качестве вершителя ее судеб – и вопрос, стоит ли русским возвращаться в нее даже в таком почетном качестве, не находил у творца «Острова России» однозначного ответа. Ответ на этот вопрос он оставил за собой.

Б.В. Межуев

Глава пятая

Первая евразийская эпоха России: от Севастополя до Порт-Артура¹

Логика стратегического цикла во многом определила восприятие русскими не только самой Крымской войны, но и ее итогов: и здесь опять налицо разрыв между фактами и вкладываемым в них значением. Каковы были итоги войны по существу? Россия потеряла кусок земли в Бессарабии, ей, как и Турции, навязывалась нейтрализация Черного моря, где обе стороны сохраняли по нескольку кораблей для береговой службы, зато военным кораблям западных держав в подтверждение Лондонского протокола 1841 г. воспрещался проход через проливы. Вот и весь проигрыш России, которая покрыла себя военной славой в битве со сплоченной Европой, затратившей огромные силы на взятие одной российской крепости.

Смысл этих событий выглядел иначе – едва ли не катастрофически. «После 1856 г. Россия оказывала на европейские дела меньше влияния, чем в любой период после окончания Великой северной войны в 1721 году» [Тэйлор 1958, 120]. Либерал Н.А. Мельгунов, подводя итоги правления Николая I, писал: «У нас теперь нет друзей, нет прочных и естественных союзников: мы предо-

¹ Начало рукописи главы сопровождается добавлением названия ее первого параграфа: «§ 1. Славянство или Туран? (Между Парижским миром и Берлинским конгрессом)». Другие параграфы этой главы не обозначены отдельными заглавиями. Кроме того, при публикации сохранены некоторые особенности правописания и система ссылок, несколько отличающаяся от используемой в «Тетрадах по консерватизму». *Примеч. ред.*

ставлены самим себе, отчуждены ото всех и одиноки» [Мельгунов 1974, 73]. Б.Н. Чичерин расценивал войну как катастрофу, которая «разорвала союз царя с народом, окончательно опозорила царствование, которое без того могло бы гордиться внешними успехами и внешним могуществом» [Чичерин 1906, 153]. В некоторых публикациях середины 1850-х сквозит трактовка Парижского мира как перемирия, за которым продолжится западный натиск, нацеленный на уничтожение России, – но изредка проскальзывают надежды на то, что возобновление войны может стать для Империи отыгрышем [Погодин 1874, 351. Мельгунов 1976, 141–143]. Россия по состоянию на 1855–1856 гг. расценивается как страна, выпавшая из круга великих держав. Мельгунов пишет: «Россия, слава Богу, не Турция, даже не Австрия; ее не сотрешь с карты Европы и Азии; она всегда будет стоять во главе – если не первенствующих, по крайней мере второстепенных держав, а это чрезвычайно много» [Мельгунов 1976, 141–142] (ср. с сегодняшними суждениями о России как «рыночной державе»).

Рядом с мотивами «перемирия» и «нисхождения во второй разряд» в ряде выступлений звучит мотив «оукливания» страны ради «внутренней работы». Цитировать Герцена, Погодина или Мельгунова на сей счет можно без конца. Уходящий в отставку канцлер К.В. Нессельроде пишет о том, что «внутренняя работа является первой нуждой страны, и всякая внешняя деятельность, которая могла бы тому препятствовать, должна быть тщательно устранена. ... Политика наша... может допускать возможность войны, но лишь в том случае, когда будет сознательно явствовать неуклонная необходимость или явная выгода оной для России» [Нессельроде 1872, 341]. Как и в конце 1980-х, лозунг «национальных интересов» звучит «трубным зовом почти изоляционизма». Преемник Нессельроде А.М. Горчаков синтезирует эти настроения в нашумевшей формуле «сосредотачивающейся России» (*la Russie se recueille*), каковую формулу, кстати, современники охотно переводили: «Россия задумывается» («собирается с мыслями»).

Что же происходит в эту пору «собираения с мыслями» – с *геополитической* мыслью России?

I

Объективно фаза сжатия Парижским миром исчерпалась. На рубеже 1850-х и 1860-х гг. видим новые явления: на юге – замирение Кавказа, прокладка железных дорог к Черному морю, на востоке – использовав англо-французскую войну против Китая, Россия, как «добрая посредница» и «защитница» Китая, утверждает на Амуре и в амуро-уссурийском междуречье. В 1857 г. иранский шах, с российской подачи, вновь пытается наступать на Герат, всполошив англичан угрозой Индии. И все же до середины 1860-х психология и идеология эпохи отмечены духом фазы D (фазы сжатия): брожение и революционный террор в Польше; наконец, восстание здесь, перекинувшееся в Литву и Белоруссию; английские поставки оружия мятежным кавказцам; попытки снаряжения польских отрядов в помощь силам Шамиля; демарши западных держав с угрозой признать поляков-повстанцев воюющей стороной – всё создавало картину продолжающегося расшатывания западных и юго-западных границ Империи агентурой европейских держав при поддержке последних. На Тихом океане маячили в Цусимском проливе английские корабли, а Русская Америка пребывала под давлением со стороны Британской Канады.

Политика Горчакова вся проникнута духом фазы D. Эта фаза определила тот курс, к которому позднее канцлер пытался адаптировать совершенно новую конъюнктуру, обозначившуюся со второй половины 1860-х и на протяжении 1870-х гг. сперва толкавшую Россию к азиатской экспансии, а позже как бы дававшую шанс нового «возврата в Европу».

Настроение этой фазы предельно отчетливо выразила знаменитая горчаковская депеша от 21 августа 1856 г., где прозвучали слова о «сосредоточивающейся России». «Сообщества тех, кто много лет вместе с нами отстаивали принципы, коим Европа обязана более чем четвертью века мира, – этого сообщества больше нет в прежней его целостности. Не по воле нашего августейшего повелителя возник этот результат. Обстоятельства вернули нам полную свободу действий. Император решил по преимуществу посвятить свое внимание благополучию своих подданных и сосредоточиться на развитии внутренних ресурсов страны, обращая свою активность вовне только тогда, когда этого будут абсолютно требовать позитивные интересы России. Что касается молчания, в котором нас обвиняют, мы могли бы напомнить то искусственное возбуждение, которое недавно организовывалось против нас. ... На той охранительной деятельности во благо правительств, из которой сама Россия не извлекла никакой выгоды, спекулировали, чтобы обвинить нас в стремлении к невесть какому универсальному владычеству. Мы могли бы считать, что нашим молчанием напоминаем об этих обстоятельствах. Но мы не верим, что такая поза приличествует державе, которой Провидение отвело в Европе место, занимаемое Россией» [Сборник 1881, 5 (2-я пагинация)].

Тут весь Горчаков: попытка «оставаться в Европе», не «обращая активность вовне» и не рискуя новыми кризисами. Язвительный генерал-майор М.И. Венюков по праву писал о том, что за броской формулой «сосредоточения России» скрывалась обостренная осторожность. Именно она побуждала Горчакова праздновать Пекинский договор 1860 г. не как блестящую компенсаторную экспансию Империи, но как улаживание спора на востоке, завязавшегося одновременно с кризисом на западе. Она побуждала его трактовать судьбу проливов и Балкан как предмет общеевропейского надзора, воздерживаясь от всякой спонтанной российской активности – вплоть до готовности в 1876–1877 гг., когда Балканы полыхали антитурецким восстанием, оставить воюющих их собственной участи. Она же будет толкать его к замирению с Англией в Средней Азии, к попыткам сконструировать здесь в переговорах конца 1860-х – начала 1870-х некий буферный пояс. Этот пояс предотвращал бы столкновение, а значит, не позволил бы использовать редкие изначальные успехи России ради давления на Англию в новой балканской игре, но Горчаков к такой игре и не стремился.

Собственно, успехи Горчакова были связаны либо с защитой тех позиций, на которых оказалась Россия с 1856 г. (отпор европейскому демаршу по польскому вопросу), либо с демонстративным исправлением неких ущемлений России, не предполагающим какого-либо «проецирования мощи» с ее стороны (негоциации 1870–1871 гг., когда Горчаков отыграл формальное право России на черноморский флот, – но в обмен на право Турции по желанию пропускать в Черное море флоты своих европейских союзников).

Идеологи эпохи первой «евразийской интермедии» по-разному переживают это время. В статьях Погодина первой половины 1860-х звучат одни и те же навязчивые темы: вооружение Европы; крепнущий турецкий флот; план Наполеона III (вернувшегося к идеям Людовика XV и Талейрана) развернуть Австрию на восток, превратить ее из европейской державы в «восточное царство» (Ost-Reich), защищающее европейский вход от России; доступ Англии к Черному морю – «Милости просим хоть в Одессу, которая кстати получает более и более польский характер и готова соединиться железными дорогами с Польшей». По сравнению с погодинской публицистикой Крымской войны новые статьи поражают концептуальной бедностью, при общем лейтмотиве: Россия «упала с высоты своего величия и очутилась вдруг среди держав второклассных и третьеклассных и не смеет говорить там, где Англия и Франция, даже Австрия ре-

шают дела, лично до нее касающиеся, не только посторонние» [Погодин 1876, 136; 140; 153; 165; 335–336].

Иначе адаптируется к новой эпохе Тютчев. Опираясь на свой миф «Великой Резни народов», которая должна разыгаться без участия России и открыть путь к созиданию «другой Европы», он приветствует созревающее противостояние Пруссии и Франции. Он усматривает в «первой сознательной племенной войне между составными частями Европы Карла Великого» – «первый шаг к ее разложению» и начало «мирового поворота в судьбах Европы Восточной», отговаривая в специальной записке Александра II от любых попыток умиротворения, но живя ожиданием «взрывов», надеясь на одновременную комбинацию взрыва «восточного» на Балканах со взрывом «западным» в сердцевине романо-германской Европы, он готов примириться с длительным фактическим пребыванием России вне европейского пространства. «В интересе всей Восточной, т.е. Русской, Европы самое желательное – продлить еще на несколько лет этот тлетворный мир, так сильно содействующий процессу разложения, – а без полного коренного, разложения нельзя будет приступить к перестройке. Не в призвании России являться на сцене как *deus ex machina*. Надо, чтобы сама История очистила наперед для нее место». Так, жаждущий «взрывов» Тютчев оказывается союзником «сосредоточенного» Горчакова, конструируя сюжет-компромисс между идеалами и реалиями, в рамках которого самоотстранение России от мировой (европейской) игры становится необходимо в видах полного, коренного и т.п. «разложения» западного миропорядка и «расчистки сцены».

Между тем, поднимается генерация популярных публицистов, как бы открыто брезгующих внешней проблематикой, демонстративно сводящей вопросы России к внутреннему обустройству, просвещению и благосостоянию. Чернышевский недоумевает: как возможна борьба с Западом? Запад хлопочет о лучшем устройстве человеческого общежития, как же с ним бороться? Неужели средневековые порядки утверждать? На все декларации о славянах – естественных союзниках России (сейчас бы сказали – ее естественном Большом Пространстве) он отвечает, что коли война, не дай Бог, подвернется, союзником послужит тот, кому в данный момент будет с Россией по пути, а так-то войны с ее хозяйственными осложнениями и напряжением общественного организма лучше загодя не планировать. В том же духе заверяет Добролюбов, что исламистская проблема на Кавказе возникла только от русских грубостей и бестактностей, но просвещение и благосостояние всё поправят. Все проблемы России как бы становятся разрешимыми внутри нее, по ходу внутреннего совершенствования, без каких-либо планов, нацеленных на внешний мир (видение вполне горчаковское).

Как часть новой ориентировки, порожденной фазой сжатия, но вместе с тем несущей в себе потенциал «евразийского поворота», формируется русское, особенно сибирское областничество. Любопытны позднейшие воспоминания Г.Н. Потанина об обстановке, в которой оно поднималось. Выступления Костомарова и Щапова с планами федерализации России в условиях подготовки Земской реформы 1864 г.; взволнованная среда образованных провинциалов, уверяющих, что «каждая область должна иметь интеллигенцию, которая должна служить местному населению»; споры в Русском географическом обществе 1860-х насчет правомерности вкладывания средств в развитие Сибири, которое, мол, неизбежно приведет к ее отпадению; при этом академик Бэр доказывает, что отпадение земледельческих колоний – дело естественное и не вредящее метрополии, а Великий князь Константин Николаевич уверяет: «Сибирь – не колония, а расширение государственной территории» [Потанин 1907, 16]. Дискуссии переходят в практическое поле, создается «Общество независи-



мости Сибири», участник его арестовывается с листовками, следуют разгром и судебный процесс. От тех лет остались забавные стихи в одном из писем юного Потанина: «Пора провинциям вставать, / Оковы, цепи вековые / Централизации свергать, / Сзывать Советы областные» [Потанин 1987, 61].

Позднее, переосмысляя те годы, Потанин напишет о чисто территориальных предпосылках сибирского областничества, коренившихся в особенностях коммуникаций Европейской России и Сибири. «Чувство, вызвавшее эту идею, нужно искать в умах сибирского крестьянства. ... Сибирское население не могло не чувствовать, что оно живет вдали от остального русского мира. Оно не входило в район той сложной системы взаимных общений, которую экономическая жизнь создала в Европейской России. ... Сибирь входила в общение с этой округленной сферой только по одному направлению – с востока на запад (и обратно с запада на восток). ... Если в Сибири тоже была сеть перекрещивающихся торговых путей, то это была самостоятельная сеть, независимая от сети европейской России, потому что у Сибири был свой север, отдельный от севера европейской России, и свой юг, отдельный от юга европейской России» [Потанин 1907, 8–10]. Формулируя основные идеи для особого государственного статуса Сибири, Потанин вводит в перечень черты геополитические: «Отсутствие дворянства, оторванность от великорусских традиций, индивидуализм в сельском мире; распыление земельной общины и *tabula rasa* в сфере землеустройства, нахождение в крае многочисленных некультурных рас, другие физические условия, другой климат, другая природа, другое направление рек, другие морские берега и другие заграничные соседи, – все это поводы к тому, чтобы сибирское хозяйство, сибирские финансы были выделены из общеимперских» [там же, 60].

Тема областничества в то время обретает двоякий политический смысл. С одной стороны, областники исповедовали мнение, что «чем обширнее территория, тяготеющая к одному центру, тем остальное пространство обездоленнее и пустынное в культурном и духовном отношении» [там же, 61–62]. Уже в 1870-х после отбытия ссылки Потанин напряженно занимается опытами – складывания местных центров, местных ресурсных потоков, на которые резко возникает общественный спрос в пореформенных условиях. Тезис Потанина о неизбежности конфликта сибирского населения не только с правительством, но и с могущественной буржуазией Европейской России толкает его к рассмотрению в письмах и статьях проблем капитализма, как и проблем Империи, с точки зрения отношения центров и опустошаемых, «высасываемых» ими окрестных пространств – подход, предвосхищающий построение «миросистемников» и неомарксистской географии XX в.

С другой стороны, современники связывали областничество, отнюдь не только сибирское, с выпадением России из большой европейской игры, с ослаблением западной фокусировки. Достоевский в 1870-х прямо объяснял областническую волну тенденцией к «закрытию европейского окошка» российским политическим откатом из Европы и последовавшим затем снижением значимости столиц как центров, имеющих якобы исключительный и прямой выход в европейский мир. И. Аксаков даже в 1880-х будет приветствовать областничество как надежную опору почвенничества и противовес западничеству столичных кругов. Надо признать: отступление из Европы, пафос «сосредоточения», лозунг национальных интересов как «трубный глас почти изоляционизма» и встречное повышение массового интереса к внутренней геополитике, к вопросам самоуправления и федерализации, возрастающее внимание к зауральскому сибирскому массиву, споры о его будущем и его значении в русской истории, переходящие в революционные планы и ответные репрессии, – вся эта констелляция ярко характеризует фазу «сжатия» России после «европейского

максимума» (фаза D) при ее переходе в собственно евразийскую интермедию, а в какой-то мере и последнюю в ее разворачивании, переплетаясь с попытками созидания российского пространства вне Европы. Показательна в этом плане личная судьба Потанина – активист зауральского областничества с 1860-х, разработчик вопросов российской локальной (краевой) геоэкономики в начале 70-х, с конца 70-х по 90-е он выступает сперва участником, потом организатором прославленных экспедиций в Туву, Монголию, Тибет, застенный Китай – одной из знаковых фигур первого азиатского крена Империи.

II

Симптоматично, что в ту пору сильным раздражителем русской мысли становятся сочинения такого автора, как польский эмигрант Ф. Духинский. Опубликованный с 1840-х сам Духинский видел в себе продолжателя идей, выдвинутых А. Мицкевичем в его парижских лекциях после краха польского восстания 1830 г. В этих лекциях Мицкевич трактовал русских как славянское племя, «погибшее» или роковым образом мутировавшее под влиянием впитанных им финских и татарских (туранских) компонентов и сохранившее со славянским миром лишь лингвистическую связь. По словам А. Гильфердинга, Мицкевич видел в современных русских «массу», проникнутую «духом монгольского племени», «духом рабства и разрушений» – то есть духом «противославянским» [Гильфердинг 1868, 63]. Эту эмоциональную схему Духинский переработал в целую доктрину столкновения «арийского» и «туранского» (по-современному, урал-алтайского) миров, с фронтиром между ними по рубежу Днепр – Западная Двина. Славяне оказываются на краю «арийского» европейского пространства; по ту сторону фронта им противостоит лингвистически ослабявшееся племя «московитов», сохранившее азиатскую традицию боготворения царской власти (по Духинскому, *tsarat*). Доктрина Духинского выпячивала историческую роль украинцев, или «рутенев», как крайнего на востоке чисто славянского племени, в первую очередь принявшего на себя давление московитов и подпавшего под их власть. Духинский допускал мирное сосуществование «московитов» в случае сознательного и четкого размежевания их географических пространств. Как писал один его поздний поклонник и популяризатор, «московиты в настоящее время должны выбирать между двумя судьбами: или они становятся в авангарде Европы ... против азиатских орд, чтобы их задержать и отбить в Азию, или они становятся во главе самих этих орд, чтобы руководить ими и направлять их в нашествии и в оккупации ими всей Европы» [Prêt 1892, XX]. Последний вариант – это собственно схема из «Завещания Петра Великого». Первый же связан с разворотом «Московии» прочь от Европы вглубь Азии. Россия становится азиатским «авангардом Европы», если откажется от присутствия в европейском мире. Надо отметить, что если лекции Мицкевича не получили никакого отклика в российской идеологии времен нашего первого европейского максимума, то в 60-х реакция на Духинского впечатляет: на него откликаются Костомаров, Погодин, Данилевский, С.М. Соловьев, А. Гильфердинг, причем последний в этой связи вспоминает и о первоисточнике Духинского – Мицкевиче.

Нелепости у Духинского налицо: чего стоит его мысль, якобы нашествие Батые было спровоцировано продвижением древнерусских князей (славян-рутенев) в бассейны Оки и Волги, на земли будущей Московии, – и монголы якобы шли на помощь еще не ослабявшим предкам московитов! Однако раздражающие фантазии Духинского оказались слишком актуальны: развернув схему столкновения европейской и российской цивилизаций, этот автор выдвинул тезис об особом неевропейском русском пространстве не где-то за Уралом, а по восточную сторону того самого двинско-днепровского барьера, который в Крымскую войну рисовался Погодину и многим другим пугающей ли-

нией рокового максимального отката России к допетровским пределам. Сделав упор на «туранских» элементах русской истории, Духинский подкапывался под идею «1000-летия России», объявляя ее значительно моложе и вместе с тем заявляя об особом генезисе цивилизации на российских пространствах, лежащих вне славянского окраинно-европейского ареала. Позднее Пыпин отметил, что Духинский прямо сомкнулся с атаковавшими его поздними славянофилами в ключевой идее цивилизационного размежевания двух миров; спор, собственно, шел о том, по какую сторону фронта быть славянам, не входящим в цивилизационное ядро Великороссии. Если по русскую – разлом пойдет по линии Данциг – Триест, если по европейскую, как у Духинского, – то по линии двинско-днепровской. В этой полемике, как раньше в текстах Тютчева, вырисовывалась широкая полоса на входе Европы, в пределах которой могут конструироваться разные варианты расширения и сжатия «русского пространства» на Западе и, напротив, западноевропейского на Востоке.

Очень любопытны интеллектуальные «встречи» Духинского с популярнейшим в конце 50-х и начале 60-х Герценом. Последний, сохраняя веру в «новый» славянский мир, противостоящий враждебной ему «старой» Европе, после Крымской войны великолепно переработал эту установку применительно к новому раскладу. Если в частных письмах он обзывает сочинение Духинского «белибердой», то в работе «Россия и Польша», оформленной как послание польским эмигрантам, он с уникальной духовной переимчивостью обыгрывает мотивы польского «фантазера». Оттолкнувшись от старого тезиса об «обманчивом сходстве правительственных форм» России и Запада, подстроенном под культурным и бытовым разрывом, он солидаризируется с корреспондентом в том, что лучше и естественнее было бы славянскому миру разделиться на две отдельные части – то есть по одну сторону была бы Россия – славяне, смешанные с чуждым и туранскими племенами, по другую – Польша и старые славяне (т.е. южные. – В.Ц.). Призвание и поприще первых – «огромные плоскости Азии до Тихого океана». Назначение других – «отпор германскому владычеству и завоевание Турции» [Герцен XIV, 39]. Согласившись с этой доктриной, отводящей европейским славянам роль заслона (балтийско-босфорского) Европы от России, Герцен признаёт: «России действительно главное дело дома и в Азии». Смакуя оценку России как «плохого славянского мира с примесью чуждских и туранских элементов», он восклицает: перед европейским цивилизационным тупиком «едва ли не придется нам благословить “чуждские и туранские” элементы, попридержавшие наше “старославянское” развитие» и позволившие теперь нам выбрать неевропейский цивилизационный путь [там же, 57]. Он верит, что лучшим для русских поляков вариантом был бы свободный союз, крушащий Австрию и освобождающий западных славян. Но он готов признать и независимую Польшу, если она «действительно больше принадлежит к старозападному миру и хочет рыцарски делить его последние судьбы» [там же, 59], и даже независимую Украину [там же, 21]. Иначе говоря, его веру в азиатско-тихоокеанские перспективы России не смущал бы и днепровско-двинский барьер.

Еще в 1853 г. он отчеканил формулу о «Тихом океане – этом Средиземном море будущего», на два года отстав от высказавшего подобную же метафору Маркса и на 40 с лишним лет опередив Ф. Ратцеля. Последний сам едва ли не почерпнул ее во время поездок в Америку из тамошней прессы, где, по данным Герцена, этот афоризм со ссылкой на русского мыслителя муслировался в 1850-х. Сопоставление американской и русской колонизаций в «Былом и думах»; раздумье в «России и Польше» о ненужных Европе двух странах, которые «нарождались по сторонам ее, как два огромных флигеля»; особая статья «Америка и Сибирь» на тему русско-американской встречи «по ту сторону» европейской цивилизации – все эти контексты тяготеют к идее тихоокеанского союза

двух миров, оторвавшихся от бонапартистской Европы. Итоги Крымской войны им рассматриваются как конец петербургского «осадного положения» – кошмара российского псевдоевропеизма. С тем же пафосом, с каким он раньше предрекал в победе Николая I над Западом прорыв России по ту сторону петербургской эпохи, он пишет в 1858 г.: «Если Россия освободится от петербургской традиции, у нее есть один союзник – Северно-Американские Штаты». Он прославляет Муравьева-Амурского и Путятин: «Во время мрачных европейских похорон, где каждый что-нибудь оплакивал, они с одной стороны, американцы с другой, сколачивали колыбель» [Герцен XIII, 399; 403].

Образцом совершенно иной, глубоко продуманной и пережитой реакции нам предстают сочинения знаменитого панслависта 1860-х и 1870-х генерала Р.А. Фадеева. Он ясно различает две России, причем первой, опорной для него оказывается вовсе не наличная Империя, как для Тютчева, но «коренная Россия, от Днепра до Тихого океана, Россия царей и Екатерины II». Ей как единый феномен противопоставлена «Россия настоящего и будущего, одолевшая Польшу и воссоединенная, единственная ныне представительница, в глазах света, славянского племени». В условиях Империи ядровая, коренная Россия «неприкосновенна для внешнего врага» – и в том ее преимущество перед всеми европейскими державами, у которых национальное ядро не окутано такой защитой. Вся западная граница Империи (от Балтики до Черного моря), по Фадееву, «не иное что, как произвольная черта, которая может так же легко отодвинуться далеко назад, как и выступить вперед, смотря по обстоятельствам и умению пользоваться своими средствами» [Фадеев 1889–1890, 32]. Эта неопределенность границ Империи на западе для него – неизменное состояние с момента ее выхода за пределы «коренной России»: «С того времени как Россия ... выступила из пределов чисто русского племени ... и вдвинулась в чересполосицу восточного края средней Европы, славянского по населению, немецкого по официальной окраске, западная ее граница стала произвольной и случайной чертой, зависящей от первого крупного политического события». У этой границы масса откатится назад к российскому «ядру», что вело бы к поглощению славянской «породы» – «породою» немецкой, хотя промежуточной ступенью на этом пути может быть формирование с западной подачи «славянского союза помимо России» [там же, 244; 313].

Итак, выбор зависит между редукцией Империи к «ядровой» России или созданием по этнолингвистическому критерию на западе панславистского Большого Пространства. Каждое из этих решений явится самоопределением России, пока застывшей в цивилизационной неопределенности. «Что мы выиграем нравственно с восстановлением славянского мира? Мы выиграем то, что будем знать, кто мы и куда идем» [там же, 319]. В случае неблагоприятного решения, «такого решения, которое перенесет вопрос с наших внешних окраин на внутренние окраины» [там же, 293], «коренная Россия» – прямо по Духинскому и со ссылкой на него – определится как фрагмент исторически ушедшего туранского мира: «или мы – славянство с его будущим, или мы – Туран, незаконное вторжение прошлого». «Славянство или Туран – другого выхода нет» [там же, 326]. В отличие от Духинского Фадеев не считает Россию исконным Тураном, пытающимся поглотить славянскую окраину Европы, но это некая нестойкая восточная часть славянства, которая будет обречена на «туранизацию», в случае если не сконструирует и не утвердит себя по-иному через панславистскую сборку. Для Фадеева, Туран – исход без будущего (почему – он не детализирует). Единственный для нее способ обрести будущее – на путях осуществляемого размежевания двух великих «пород»: славянской и немецкой.

Переходя с уровня геополитической имагинации к геостратегии, от постулируемых для России ценностей и интересов к практическим целям и зада-

чам, Фадеев прежде всего настаивает на радикальном изменении смысла так называемого «восточного вопроса»: «От прежнего восточного вопроса осталось одно название; все прочее – сущность и размеры стали иными» [там же, 249]. Если за точку отсчета принимать конец XVIII в., когда Восточный вопрос связывался с «турецким наследием», то «расширение вопроса» связывается исключительно с меняющимся положением Австрии, слабеющей и отчаянно пугающейся за свои славянские владения¹. «Английский аспект» проблемы мало интересен для генерала: британский флот – слабая помеха для наступления на Балканы со стороны континента. Главной препоной для интересов России становится Австрия, держащая в руках ворота между юго-восточным углом Карпат и устьем Дуная, нависающая с тыла над театром любой российской балканской кампании. Отказавшись уже в 1853 г. быть континентальной опорой России, она содействовала антироссийской коалиции в осуществлении ее замыслов со стороны моря. Занимая центральное положение в балтийско-балканской полосе, Австрия полностью контролирует все действия России в интервале между российским ядром и коренной Европой. Кроме того, как свидетель австро-пруссской войны, Фадеев констатирует: с утратой собственно европейской роли Австрия становится по преимуществу развернутым в неевропейские пространства европейским (германским) авангардом, получающим в этом качестве полную поддержку нового, северо-германского центра коренной Европы.

В отличие, как увидим, от Данилевского Фадеев понял сразу, что задача Бисмарка – не только формирование германского национального пространства, но сохранение контроля немецких центров над восточными приделами Европы – над Балканами и Балто-Черноморьем. Даже тогда, когда Бисмарк субъективно, может быть, и искренне выражал готовность считать проливы достоянием России, Фадеев предсказывает будущие попытки включения в германскую зону турецко-славянских и румынских областей, становление сперва германо-турецкой, а затем и прямо германской гегемонии на Черном море (опережая историческую динамику на 40 лет). В таких условиях Восточный вопрос в старом смысле по стратегическим обстоятельствам становится «южной половиной славянского вопроса», в рамках которого главным фокусом на первых порах должна стать не задунайская, южнославянская группа, а северная, центрально-европейская: чехи, словаки, поляки².

Восток Центральной Европы должен стать главным направлением атаки, причем должна считаться «главным врагом никак не Западная Европа (франко-английская. – В.Ц.), а немецкое племя с его непомерными притязаниями (в Балто-Черноморье. – В.Ц.)» [там же, 296]. Контур будущей Антанты как бы прорисовываются в указании Фадеева на то, что при глубочайшем российско-европейском расхождении и противостоянии «от России ни в каком случае не зависит создать союз» в Европе. «Россия может только пристать к одному из двух лагерей, на которые по временам делится Европа» [там же, 269]. Чтобы избежать «пути в Туран» Россия должна быть готова к сближению с тем лагерем в Европе, который стерпит ее контроль над выступающей как стратегическая целостность полосой от Балтики до Балкан, вплоть до границ немецкого племени.

¹ «При таком переходном состоянии, все, что происходит в одном углу этой чересполосной страны, не может не отозваться со временем во всяком другом углу; думая о Литве, о балтийском побережье или о Черном море, мы не можем не думать одновременно о Богемии и Румынии» [Фадеев 1889–1890, 245].

² Отсюда и решение польского вопроса, по Фадееву, близкое к старому решению Пестеля: подготовка Польши к суверенности в союзе с Россией при выведении из-под польского влияния и русификации «Северо-Западной России» (Литвы, Белоруссии, Западной Украины).

Фадеев забыл, что Восточный вопрос получил новый смысл по сравнению с XVIII в. уже при Николае I, когда он зазвучал как вопрос русской гегемонии над восточным центром романо-германской Европы, а через него и над этой цивилизацией в целом. Для него как геополитика – это вопрос размежевания России с Европой, причем размежевания на преимущественных для России условиях, исключающих ее «сползание в Туран». «Воссоздание славянского мира значит ли всемирное преобладание? Конечно, нет; но первенство в Старом свете – да!» [там же, 318]. Славянская независимость есть, прежде всего, подручное средство конструирования пространства, обеспечивающего как культурное самоопределение, так и безопасность российскому ядру. «В наше время, когда Европа поделилась на несколько огромных масс, когда лишь тот имеет право на отдельное существование, кто выставляет полмиллиона солдат, когда даже старые государства, как Голландия и Швейцария, начинают бояться за свое будущее, что значит международный щербень, каковы чехи, хорваты и другие?» [там же, 290]. При этом дело не просто в полумиллионах солдат. «Первенство между народами решается теперь не на поле битвы, а географическим их положением» [там же, 318], – и панславянское решение обеспечит такое положение для России, вместе с безопасностью ее ядра «от Днепра и до Тихого океана».

Подобно Герцену, Фадеев видит в САСШ партнера России по обустройству будущего миропорядка, совпадая с издателем «Колокола» почти что в словесных формулировках. «По окраинам Европы – в Америке и в России – выросли два новые, живые человечества, не замкнутые в тесной перегорожке, как европейские нации, но разливающиеся без препятствий по необозримым горизонтам, растущие без меры во все стороны, насколько станет у них естественного роста» [там же, 318–319], обрекающие романо-германские старые нации на второразрядные роли сравнительно с восточными и западными соседями.

Несомненно, что «доктрина Духинского» при всей фантастичности ее исторической подоплеки всерьез спровоцировала русских авторов на вопрос о том, что такое пространство России вне коренной романо-германской Европы. Герцен и Фадеев отчеканили два варианта ответа. Оба приняли границы «ядровой» России по Духинскому – «от Днепра до Тихого океана» – без обозначения южных пределов. Герцен принял трактовку русских как «плохих славян, смешанных с чудью и финнами», и отвел им место – «дома и в Азии», при условии возникновения между ними и старой Европой славянского пространства, охватывающего часть Турции и сопротивляющегося германизации, с его обитателями, «рыцарски» разделяющими судьбу Европы. Для Фадеева немыслимы ни отступление России с балто-черноморского перешейка, означающее слияние с миром «отживших» племен, ни особый славянский союз между Россией и Европой, который ему видится переходной стадией к германизации Балто-Черноморья, включая Черноморский бассейн.

Два ответа российской геополитики Духинскому, представляя два разных видения русского пространства, вторили двум бросавшимся в глаза русскому середине 1860-х новым феноменам российской общественной жизни и политики: бурной активности создаваемых с конца 1850-х «Славянских комитетов» и в то же время поступающим сообщениям о стремительном расширении Империи в Центральной Азии. В этой первой части нашей протоевразийской фазы российская внешняя политика объективно обретает два фокуса, каждый из которых охватывает по-своему старый Восточный вопрос, придавая ему особую интерпретацию: в одном случае он представал как «вопрос австрийский», в другом – как вопрос английский по преимуществу.



III

С первых же лет мощного наступления России – пока между Каспием и китайским Восточным Туркестаном – начинаются попытки его истолкования в диапазоне от весьма наивных до крайне рафинированных, внесших в нашу геополитику богатый взнос. Продолжаются эти истолкования и по сей день.

Можно ли согласиться с версией, трактующей этот «натиск на юг» как изначально продуманное покушение на Британскую Индию? Я не говорю о дилетантских историософских экзерсисах, когда в одну схему грез об Индийском океане укладываются и народные сказания о богатой Индии, и «Хождение» Афанасия Никитина, и мечты Петра I, и куцый бросок Павла I, и т. д. вплоть до контактов Л.И. Брежнева с И. Ганди. Авторы подобных истолкований оказываются беспомощны перед вопросом: почему эта «индийская тяга» у русских могла никак не обнаруживаться в течение целых веков или, по крайней мере, десятилетий, не проявляясь ни между Петром I и Павлом I, ни в царствование детей Павла. Однако даже у весьма квалифицированных экспертов встречаем утверждение о Средней Азии как маловажном самом по себе интервале русского броска к Индии [Замятин 1998; 1999]. При этом не учитываются совершенно противоречащие такому толкованию свидетельства от 1860-х и 1870-х гг. В частности, не учитывается особенность первоначальных «индийских» планов в России XIX в., имевших чисто деструктивный смысл дестабилизирующего удара по Индостану как по враждебной территории. Кроме того, игнорируется тот факт, что до 60-х планы такого удара вовсе не предполагали освоения Средней Азии, имея в виду использование союза с Ираном для наступления на Индию либо морем (по И.В. Вернадскому), либо через юго-восточное побережье Каспия, Астрабад и далее Герат (как позднее сформулировал А.Е. Снесарев, «европейским путем в Индию»), оставляя Среднюю Азию в стороне. И в самом деле, если бы речь шла только об угрозе «жемчужине британской короны», из трех путей через Среднюю Азию, по Каспию или через Иран со стороны Кавказа, естественно было бы по трудности первого пути предпочесть любой из двух последних.

На то были и возможности. Иран в 1858 г. возобновляет претензии на Герат, причем шах выступает с проектом русско-иранского договора против Англии.

Англичане и в 1830-х и после Крымской войны рассматривали Иран с его афганскими претензиями как естественного агента России [Венюков 1877, 47]. С российской стороны в 1875 г. генерал М.А. Терентьев уверенно писал: «Персиянин навсегда останется тем, что он есть: впечатлительность – не его вина и отделаться от нее он не в силах. На этой-то струне мы и будем всегда играть свои победные марши! ... Отрезав враждебные нам ханства от Турции ... ненавидимая ими за шиитизм еще более, чем мы за христианство – Персия есть наша естественная союзница» [Терентьев 1875, 206]. Он же: «Эта страна, благодаря своему географическому положению и религиозной отчужденности от остального мусульманства – есть наша естественная союзница. ... Только тогда, когда этот страх (в Иране. – В.Ц.) перед Англией и это сомнение в силах России – поменяются местами, только тогда мы можем сказать, что наше влияние в Персии действительно сильнее английского» [Терентьев 1876, 246; 262]. Несомненно, что в военных и политических кругах России после Крымской войны крепнет течение, рассматривающее Англию как главного противника, а Восточный вопрос, подобно П.А. Вяземскому, – как «английский вопрос». Уже в 1857 г. военное командование в Петербурге и Тифлисе думает над планами «возмездия англичанам в Индии» [Венюков 1877, 48]. На рубеже 50-х и 60-х директор Азиатского департамента МИД Н.П. Игнатъев, герой Севастопольской обороны генерал С.А. Хрулев и др. то рассуждают о неизбежности «войны с Англией за Азию», то, напротив, предполагают демонстративными угрозами Ин-

дии добиться от Англии компромисса на Ближнем Востоке (включая Балканы) [ИВПР 1997а, 88; 95]. Все равно остается необъясненным – почему был избран не «европейский путь» с опорой на Иран, а многолетнее движение через степи и пустыни. Объяснение Терентьева [Терентьев 1876, 182]: «Пробовала она (Россия. – В.Ц.) достигнуть (до Индии. – В.Ц.) через Персию – не пускают; пробовала из Астрахани через Бухару и Хиву – не повезло. Петр I указал третий путь через киргизские степи», – неудовлетворительно. Остается непонятным, кто «не пускал» через Иран, если шах, наоборот, был склонен к союзу. Что до англичан, они равным образом склонны были «не пускать» Россию со стороны Средней Азии, как и со стороны Ирана.

Здесь возникает надобность рассмотреть другую мотивировку, также широко встречающуюся в литературе. Она упирает на отсутствие у Империи жесткой южной границы, обрекавшей ее – приоткрытую степям, обиталищам кочевников – расширяться на юг до прочных естественных пределов. Сперва Россия пыталась, чтобы обеспечить себе мирную жизнь, воздвигнуть в степях оборонительные линии – Оренбургскую, по Сыр-Дарье, и Сибирскую, по Иртышу. Между линиями образовался зазор, соединение же их в 1864 г. с захватом земель Южного Казахстана столкнуло Россию с Кокандом, Хивой и Бухарой. Покорение же этих государств привело русских в пустыни Туркмении. По словам того же Терентьева, противоречащего его собственному, цитированному только что утверждению, «наше движение на восток, конечно, не зависело ... относительно возможности добраться этим путем до Индии... (мы. – В.Ц.) преследовали только свои насущные, ближайшие цели, понятные каждому простому солдату: “наших бьют, значит, надо выручать” – вот и поход» [Терентьев 1876, 183].

В другом месте он же [Терентьев 1875, 7–9] пытался развить то же обоснование более углубленно: «Сибирь мы заняли, так сказать, с налета, от степей же Средней Азии отрецивались сколько могли. Судьба толкала нас к Аральскому морю, а мы упирались, не шли. ... Соседство с дикими, не признающими ни международных и никаких прав, кроме права силы – вынуждало нас укреплять границу линией крепостей; под защиту этих крепостей являлись по временам, с просьбой о правах гражданства, то есть о защите – дикие племена, теснимые более сильными; эти новые подданные чрез несколько времени оказывались хуже врагов; нам приходилось или задавить их окончательно, или прогнать, но и в том, и в другом случае необходимо было оцепить занятую ими территорию рядом новых укреплений – являлась, значит, новая линия. Так *перекатными* линиями и подвигается Русь на восток, в тщетной погоне за спокойствием». Он пробует показать, что проблема коренилась исконно в самом характере русского освоения Сибири, когда, концентрируясь в речных долинах, русские стремились оградить свои места обитания со стороны степи, «врезываясь по рекам вглубь степей, цепи укреплений образовали таким образом целую систему коридоров, ничем не перегороженных. Будучи связаны с центральными административными пунктами, сибирские цепи были крепки *по долготе* и слабы *по широте*, ибо укрепления соседних линий не имели поперечной связи, за безводием разделявших их степей. В эти коридоры беспрепятственно проникали шайки грабителей, опустошавших наши поселения» [там же, 11].

Стремление объяснить бросок России в Среднюю Азию феноменом размытой «азиатской границы» изначально отличало руководителей Империи. Так, Горчаков в известном циркуляре от 21 ноября 1864 г., объяснявшем начало большого наступления на юг, рисует картину, когда каждый умиротворенный кочевой сосед становится объектом посягательств более далеких варваров, что заставляет ради защиты новых подданных переносить границы все время вдаль. Горчаков философски заключал, что в варварском соседстве цивилизованное государство «должно решиться на что-нибудь одно: или отказаться от

этой непрерывной работы и обречь свои границы на постоянные неурядицы ... или же все более и более подвигаться вглубь диких стран, где расстояния с каждым сделанным шагом увеличивают затруднения и тягости, которым оно подвергается» [Мартенс 1880, 23].

Развивая эту версию, Терентьев как-то не вдавался в вопрос о причинах контраста между бросковым завоеванием русскими Сибири и медленным до поры до времени выдвиганием их в Среднюю Азию. Подняв специально эту тему, видный востоковед В.В. Григорьев объяснял успехи русских в Сибирской экспансии преимущественно оседлым характером местного населения [Григорьев 1867], будь то звероловы или даже пастухи. «Степи Южной Сибири заключили и заключают в себе население пастушеское, но не кочевое. ...С настоящими кочевниками, летовища которых отстают от их зимовок на сотни, иногда на тысячи верст, встретились мы лишь в средней Азии, когда с тридцатых годов прошлого столетия господство наше распространяется на степи ее из Южной Сибири и заволжского низовья. Подчинить себе кочевников было для нас намного труднее, нежели утвердиться между бродячими скотоводами, перемещающимися на небольшие дистанции». «После бесчисленных ошибок в разных родах все-таки кончили мы, однако ж, тем, что познакомились с природой степей, со средствами их и недостатками, со способами войны в них, с потребностями, обычаями и духом кочевников». Григорьев не считает степи Южной Сибири, освоенные русскими в доимперскую эпоху, за степи подлинные; выход в настоящий мир степей он датирует началом сюзеренитета над Малым Жузом при Анне Иоанновне. В XX в. П.Н. Савицкий осмыслит это различие как оппозицию луговых степей или лесостепей с лесными вкраплениями – и ковыльно-попынной степи к югу.

В этом направлении глубже всего мыслил в те годы М.И. Венюков, усматривая причины «затягивания» России в Среднюю Азию в «ошибке», совершенной ранней Империей, когда первые группы дахов были при Анне приняты, из-за имперского тщеславия, в российское подданство. По Венюкову [Венюков 1873, 8], в конце XVII столетия мы имели в Азиатской России совершенно естественную границу на юге – границу, лучше которой во многих отношениях у нас нет и не было никогда. Казаки и промышленники остановились на Иртыше, на Алтайских и Саянских горах, на Аргуни и Амуре, но ни киргизские степи, ни Туркестан, ни Джунгария и Монголия «их, представителей жизни оседлой, совсем не пленили». На его взгляд, границы «по рекам Уралу, Миасу, на Курган к Омску, отсюда по Иртышу, потом по предгорьям Алтая южнее Бийска ... были, в некотором смысле, естественные пределы для нашей территории в северной Азии, ибо охватывали собою одни бассейны рек, текущих в северные моря, ни более, ни менее. Исключение составлял один Нерчинский край; но и он ... представлял такую часть государства, которая была плотно связана с другими и притом еще могла служить в будущем базой для наступательных действий на Амуре, которого верховья лежат именно здесь. В степи Средней Азии, безводные или орошенные не имеющими выхода озерами с их незначительными притоками, мы тогда еще не делали шагу» [там же, 9–10].

Если Маккиндер определял хартленд через два типа вод – реки, текущие в Северный Ледовитый океан, и замкнутые водоемы Центральной Азии – и тем самым связал в один геополитический комплекс сибирские леса и центрально-азиатские степи, то для Венюкова лишь первые представляли естественную ландшафтную нишу русских. Исходной ошибкой, на его взгляд, было принятие в 1731 г. под опеку Империи Малой и Средней Орды и попытки соорудить линии в казахской степи. С 1730-х по 1820-е из-за несовпадения этих линий с областью передвижения «подданных» кочевников налицо было «странное явление двойной государственной границы – действительной и фиктивной – на пространстве

от Каспийского моря до подножий Алтая» [там же, 26–27]. Второй ошибкой стали попытки, начиная с губернаторства М.М. Сперанского, превратить азиатскую границу-фронт в прочный территориальный рубеж европейского типа. По Венюкову [там же, 12; 26], «тут начало системы, которая привела нас за Балхаш, к Или, к Алатау и наконец в Небесные горы и в Туркестан, системы, выработанной не народом, не партиями завоевателей-колонистов, а администрацией, то есть самим правительством. ... Здесь родилась та дорого стоящая России система движений вперед по степям бесплодным, безводным и населенным такими подданными, что от них нужно обороняться линиями крепостей». Впрочем, он готов признать, что «в степях, по самому свойству их обитателей, приходится следовать правилу: ничего или всё. ... Кочевых среднеазиатцев или не нужно совсем принимать в подданство, или неизбежно брать всех» [там же, 14]. Попытку притормозить на этом пути представляет, по Венюкову, попытка в 1840-х гг. опереть «довольно естественный рубеж России» на «северную окраину голодной и песчаной степной полосы, которая от Каспийского моря, через Усть-Урт, тянется на севере Аральского моря, Сыра и Чуя, а потом по берегу Балхаша» (собственно рубеж ковыльных степей и полынных пустынь. – *В.Ц.*). Тогда предполагалось «остановиться в распространении к югу и испытать, не довольно ли будет для охранения наших земель небольшого числа укреплений, поставленных вдоль этой окраины, севернее ее». Казалось, что «через голодные пустыни хищники не могут к нам проникать большими партиями из-за границы» [там же, 29]. Но этот вариант не пресек «двоеподданничества» ряда кочевых племен, и дрейф на юг продолжился, тем более что, приняв в 1846 г. под опеку Большую Орду, Россия совершила «второй роковой шаг», после которого уже не было поворота назад вплоть до горных хребтов, окаймляющих с юга Среднюю Азию, и до утверждения «русской украины» по Аму-Дарье [Венюков 1877, 4].

Значение работ Венюкова в том, что он очертил две мыслимые «естественные границы» России на юге: это может быть либо экологическая граница, опирающаяся на переход лесостепи собственно в ковыльную степь так, чтобы Россия в основном контролировала долины рек Ледовитого океана, либо граница по южному горному поясу. Эти варианты соответствуют либо России, противостоящей тюркской Евразии, либо «России-Евразии» в собственном смысле. Он показал, что выход России в центрально-азиатскую степь – феномен имперский, тогда как Московское царство прочно противостояло степной Евразии, и границы его были едва ли не более мотивированы, чем любые промежуточные решения в диапазоне между двумя очерченными «естественными» рубежами. Наконец, в качестве паллиативной и нестойкой разделительной линии в этом интервале он выделил северный край полосы полынных степей – черту, сегодня условно отделяющую русифицированный Северный Казахстан от Южного.

Еще одну геокультурную границу в центрально-азиатском поясе провел В.В. Григорьев [Григорьев 1867], отмечая, что, перевалив через хребет Каратау (юг Казахстана), перейдя от страны кочевников к стране оседлых земледельцев, «вместо шаманистов, считающихся мусульманами лишь по недоразумению около полутора столетий уже, впрочем, продолжающемуся, мы будем иметь подданными настоящих магометан». Собственно в физико-географическом смысле этот переход можно описать как переход от казахских полынных полупустынь к узбекско-туркменским полынно-солянковым пустыням с областями поливного земледелия.

С другой стороны, Венюков предложил интересную, хотя и несколько мистифицирующую трактовку русского напользания на Среднюю Азию до встречи с ираноязычными народами Персии и Афганистана как возрождение в Азии единого «арийского пространства», некогда разорванного тюркским напором [Венюков 1878, 2 сл.]. Поскольку надежными границами России могут быть лишь

«северные подошвы Альбурса и Гиндукуша», постольку она «должна подчинить себе всех туркмен, узбеков и таджиков, живущих в арало-каспийской низменности». Соседями ее станут «персияне и афганцы», арийцы, которые «всегда могут и должны быть сделаны “младшими братьями” России. ... афганцы, персияне и белуджи останутся надолго промежуточными между русскими владениями в Туране и английскими в Индии» [там же, 21]. Особенно интересным, хотя не до конца раскрытым, остается утверждение Венюкова о том, что, взяв под контроль Туран и начав вытеснять «чистых туранцев» смешанным населением [там же, 5 сл.], Россия должна воздержаться от дальнейшего наступления на Средний Восток, ибо «всякие завоевания в том направлении внесли бы новую этнографическую рознь в население, подвластном русскому скипетру» [там же, 22]. Наряду с геокультурным рубежом Григорьева, отделяющим казахов-«шаманистов» от оседлых тюрок-мусульман, Венюков приводит еще одну геокультурную черту, совпадающую со второй «естественной границей России» и отделяющую покоряемый Россией среднеазиатский Туран от иранского «ядрового» Среднего Востока.

Можно сказать, что русская геополитическая мысль 1860-х и 1870-х выстраивает сетку физико-географических и геокультурных характеристик, дифференцирующих Туран, описывающих его как последовательность признаковых переходов от коренной России к мусульманскому Среднему Востоку с его ираноязычным ядром.

Надо сказать определенно: если версия, связывающая экспансию Империи в Средней Азии с «порывом к Индии», не объясняет, почему оказался выбран столь трудный и проблематичный путь вместо иранского, хорошо просматриваемого пути, то версия, связывающая эти завоевания только с особенностями азиатской границы, не объясняет темпов и интенсивности наступления. На протяжении 90 лет существования двойной границы и потом почти 100-летних попыток провести твердую границу, связав ее степняков, имперское правительство, по словам Терентьева, на бухарскую, кокандскую и хивинскую торговлю русскими рабами отвечало «презрением». И вот за считанные 10 лет уничтожено три государства: одно из них поглощено Россией, два превращены в ее вассалов. Позднее А.Е. Снесарев всерьез замечал, что причиной этого похода было движение по линии наименьшего сопротивления – «просто туда, где прежде всего было легче пройти» [Снесарев 1906, 16]. Он по праву отмечал совершенно исключительную роль местных военачальников, генерал-губернаторов и т. д., действовавших при пассивном одобрении (а иногда даже при малоактивном неодобрении) правительства совершенно наподобие атаманов XVI–XVII вв. [там же, 20]. Но разве в южном направлении стало в 1860–1870-е вдруг почему-то «легче пройти», чем в прошлые десятилетия? И если новоявленные «атаманы» могли увлечь за собой правительство, не говорит ли это о переменах геополитической идеологии эпохи? Связать ли это с Крымской войной и с «выталкиванием» России на восток? Но почему одновременно клокочет деятельность Славянских комитетов, и на славянском поприще встают такие же активисты-«атаманы», а некоторые, как знаменитый генерал-майор М.Г. Черняев, свободно перемещаются с одного поприща на другое, со среднеазиатского на славянское?

Мы объясним это, лишь усмотрев за всеми этими тенденциями единый гео-идеологический импульс к конструированию «своего», особого российского пространства из земель, которые обретались бы за пределами «коренной» Европы, не входя в ее расклад – или могли бы быть изъяты из этого расклада. При этом множатся критерии и обоснования для разных вариантов конструирования такого пространства, обоснования физико- и культур-географические. Причем последние могут предполагать как собиравание вокруг России народов и пространств, близких к некоему признаку (панславизм или «панправославизм»

Достоевского), либо, наоборот, собирание и замирение «чужого» пространства, источник многовековых беспокойств (мир тюрок «шаманистов» и мусульман). Слова Терентьева о путеводном указании Петра I здесь знаменательны, заставляя вспомнить последний, «евразийский» период активности императора, предшествовавший вовлечению России в европейский расклад при его наследниках и вдохновлявший «птенца Петрова» И. Кирилова увидеть в приуральских и приаральских степях «Новую Россию».

IV

На этом фоне надо подойти и к вопросу об Индии. Очевидно, что Индия в это время – предмет раздумий авторов, уверенных, что борьба России с Англией уже развернулась, и для России речь может идти лишь об оптимальном варианте ее развертывания. Идея «угрозы» Индии со стороны Средней Азии для принуждения Англии к «хорошим отношениям» с Империей на Ближнем Востоке проскальзывала в записке Игнатьева Горчакову от начала 1860-х гг., предусматривавшей также союз с Ираном и усиление российской морской активности на Тихом океане. В литературе отмечается, что отправка в 1863 г. российской эскадры в США и принятие решения о соединении Оренбургской и Сибирской линий мыслились под влиянием Игнатьева Александром II и военным министром Д.А. Милютиним как ответ на английский демарш по поводу польского восстания [ИВПР 1997а, 97]. Однако для многих начинавшаяся «холодная война» не была очевидна. В 1864 г. и Горчаков, и Милютин верили, что среднеазиатское наступление ограничится примерно югом Казахстана, где следует «установить ... прочную, неподвижную границу и придать ей значение настоящего государственного рубежа» [там же, 100].

Даже после первых столкновений русской армии с Кокандом и занятия русскими Ташкента некоторые петербургские эксперты оставались убеждены, что «о занятии Кокандского ханства ... едва ли может возникнуть предположение не только теперь, но даже и в отдаленном будущем»; что «неприступные для военных экспедиций высоты ... делают невозможным столкновение в средней Азии русских и английских войск»; что говорить здесь можно только о «состязании торговых интересов» [Долинский 1865, 52–53]. Но в 1867 г. В.В. Григорьев твердо предрекает близкое столкновение России с Кокандом и Бухарой, снаряженных английским оружием (что и состоялось в следующем же году), и намекает на возможность применить к ней такие же меры. В 1870 г. Военный Совет уже прямо склоняется к тому, чтобы «умерить гордыню» Англии «с приближением русских войск к ее владениям в Индии» и занятием Бухары придать России «больше веса в решении Восточного вопроса» [ИВПР 1997а, 109]. «Сдерживание» Англии на Балканах и на Ближнем Востоке посредством «давления» на нее через Среднюю Азию становится, по сути, открыто проводимой политикой, во многом вопреки намерениям Горчакова.

Ясно, в таких условиях особое значение обретала тема «промежуточных пространств» между владениями России и Англии в Азии [Мартенс 1880]. С конца 1860-х между державами идут переговоры насчет нейтрального пояса, о чем особенно хлопочет Горчаков. Было очевидно, что буфер снизит действенность предполагаемого сдерживания, – и активность в этом плане Горчакова, сторонника «сосредоточения» России, стояла в прямой связи с его неприязнью к балканской ангажированности Империи. С занятием Россией Хивы и Коканда буферами были признаны подступы к Индии – Афганистан и Туркмения, причем каждая сторона была близка к аннексии своей части буфера. Если Горчаков стоял за нерушимость буфера, то Венюков, предрекая [Венюков 1875, 159] наступление Англии в Афганистане и занятие Россией Туркмении, отстаивал не



так буферность Афганистана, как его сравнительную независимость от России, которая была бы ему гарантирована даже в случае разрушения Британской империи в Индии [Венюков 1878, 21–22].

Противники идеи буфера нападали на нее с разных сторон. Генерал-майор Терентьев настаивал на том, что именно непосредственная уязвимость Англии в Азии заставит ее «два раза подумать», прежде чем начинать войну с Россией, если последняя не будет прямо угрожать английским интересам [Терентьев 1875, 233]. Но оставалось откровенно неясным, где тот рубеж, за которым уязвимость Англии перейдет в прямую угрозу – провокацию войны. Подчеркивая, что с российских позиций в 1875 г. границы Индии крайне трудно достижимы, хотя Россия и будоражит враждебных к Англии индусов своим соседством [там же, 259], Терентьев колеблется между боязнью увязнуть в афганской войне в случае перехода русскими границ этого государства и признанием: нейтральный пояс мешают «привязать» Англию к России в европейских делах [там же, 241; 264].

С иных позиций существование буфера подверг критике прославленный правовед Ф.Ф. Мартенс. Юрист-миротворец отстаивал уничтожение буфера как провоцирующего державы фактора дестабилизации. По его мнению, прямое соприкосновение на твердых рубежах усилило бы их взаимозависимость и в конце концов склонило бы к сотрудничеству [Мартенс 1880]. Впрочем, эту аргументацию могли бы принять и сторонники давления на Англию, вложив свой смысл в понятие «сотрудничества».

Оригинальность рассуждениям Мартенса придает мотив «азиатского страха» как фактора, обрекающего империю на сотрудничество. По его словам, если Англия одолеет Россию в Азии индийским (азиатским) войском, – это будет начало конца английской власти над Индией. Но, с другой стороны, если Россия перенесет войну на ниву Индостана и вызванное ею восстание сметет британское владычество, – что делать России в покоренной 200-миллионной Индии? А дестабилизировав Индию, удержит ли она сама свою Центральную Азию? [там же, 86 сл.] Апелляция к «азиатскому страху» была в какой-то мере понятна, например, Венюкову, предостерегавшему против усиления этнической розни в Империи по мере экспансии: избыток центрально-азиатских варваров по возможности следовало бы спихнуть на кого-нибудь другого – скажем, на Китай. В случае же разрушения британского господства в Индии взрывную волну должны сдерживать «младшие братья» России – афганцы и персияне.

Итак, Индия была воспринята как слабое звено в структуре Британской Империи как объект давления, который мог бы парализовать Англию в классическом Восточном вопросе. Итак, для политиков, представлявших себе Восточный вопрос в качестве вопроса «английского», он неизбежно должен был трансформироваться в вопрос «индийский» и в таком качестве рационализировать строительство «русского пространства» в Центральной Азии – причем, пространства, не обязательно охватывающего Индию как таковую.

То же самое и в текстах, где авторы от «сдерживания» Англии, ведущего в тупики взаимозависимости, прямо переходят к планам войны с нею, в том числе с прямым переносом действий на индийскую почву. Венюков [Венюков 1875, 2 сл.] выпускает брошюру, где заявляет, что «материковые земли английской Азии могут и должны быть рассматриваемы как театр войны, в которой шансы успеха во многом будут зависеть от того, как противники Англии ... сумеют воспользоваться физическими свойствами территории, приспособиться к ним и поставить англичан в невозможность оборонять обширную страну, ими захваченную, но чуждую и даже враждебную им по составу населения, а по отдаленности от самой Англии не могущую ожидать от нее больших подкреплений». Тут же он пишет «о путях из Индии на запад и север, которые по ходу политических

событий приобретают теперь такое существенное значение ... для Средней Азии, а следовательно и для нашего отечества» [там же, 169]. Через несколько лет, уже отставник и эмигрант, в памфлете против правительства Александра он напишет о том, что это «правительство поступило нелепо, пытаясь в 1870-х годах сблизиться с Англией ценою азиатских своих интересов ... Войну с Англией можно отсрочить, но избежать ее нельзя, и обязанностью русского правительства отныне становится готовить ... ее успех заключением прочных союзов с естественными врагами Великобритании, изучением ее положения в Индии и в колониях, созданием большого наступательного флота». Но при этом он уверяет, что Россия уже утвердилась в «пределах, которые, вероятно, останутся на большей части протяжения ее всегдашними пределами» [Венюков 1878а, 385; 386]. Неизбежная война за разрушение Британской Империи не должна быть войною за Индию, невыносимую для него в качестве российского владения.

Той же установкой отмечен, вероятно, самый известный из русских проектов прямого удара по Индии, выработанный в 1877 г. генералом М.Д. Скобелевым [Скобелев 1883]. Скобелев уверял, что с теми силами в Средней Азии, которые «наше правительство случайно скопило на здешней окраине ... можно нанести Англии не только решительный удар в Индии, но и сокрушить ее в Европе» [там же, 544]. Ранее, еще в 1871 г. он полагал в духе общего имперского курса, угрожая Индии, обеспечить «решение в нашу пользу трудного восточного вопроса – другими словами, завоевать Царьград своевременною, политически и стратегически верно направленною, демонстрациею» [Скобелев 1882, 122], но через шесть лет¹ он говорит уже об ударе по Индии, чтобы или уничтожить враждебную империю, или, по крайней мере, «парализовать сухопутные силы Англии для войны в Европе или же для создания нового театра войны от Персидского залива на Таврис к Тифлису, в связи с турецкими и персидскими силами, о чем уже с Крымской войны мечтают английские военные люди» [Скобелев 1883, 547]. Он призывает в случае быстро назревавшей русско-турецкой войны, ограничившись обороной на Дунае и в Азиатской Турции, предложить афганскому эмиру антианглийский союз и в случае отказа эмира разжечь в Афганистане гражданскую войну с вовлечением Персии. Предполагалось перебросить 30-тысячный российский конный корпус из Самарканда к Кабулу и оттуда «организовать массы азиатской кавалерии, которую во имя крови и грабежа направить в пределы Индии, возобновив времена Тимура!» [там же, 548]. Похоже, Скобелев вообще не планировал движение русской конницы далее Кабула, видя смысл операции в том, чтобы, провоцируя в Индии анти-английское «восстание», одновременно «всю Азию... поднять на Индию», превратив «сокровище британской империи» в сплошной ад. Скобелев был убежден, что Восточный вопрос (о проливах) неразрешим прямыми действиями на Балканах и Кавказе. В XX в. сказали бы, что наступление на Индию, притом не русскими, но спровоцированными Россией азиатскими силами, рационализировалось в формах «стратегии непрямых действий».

Реальный подступ к подобному сценарию наметился в 1878 г., в первой половине, на протяжении которой в имперских кругах мушкетировалась неизбежность войны с Англией (в перспективе подготовки к этой войне Александр II дал согласие на Берлинский конгресс) [Милютин III, 27; 32; 42; 68]. В это время

¹ Приводимая в рукописи цитата («решение в нашу пользу трудного восточного вопроса, другими словами, завоевать Царьград, своевременною, политически и стратегически верно направленною, демонстрациею») – не из текста Скобелева 1871 г. (как у Цымбурского в его тексте), а из письма Скобелева от 9 августа 1876 г. То есть разница во времени между двумя текстами Скобелева не 6 лет, а всего 5,5 месяца. Автор по ошибке взял дату (1871 г.) из последующего документа в этой публикации «Исторического вестника» («Записка о занятии Хивы»). *Примеч. ред.*

туркестанский генерал-губернатор К.П. Кауфман, один из самых активных «атаманов» центрально-азиатского наступления, планирует русский протекторат над Афганистаном. Посланный в Кабул эмиссар Кауфмана, полковник Столетов заключил с эмиром Шир-Али договор, обязывавший Россию помочь Афганистану в войне против Англии [Терентьев 1906, 451–452].

Но к осени того же года, когда двора, наконец, достигла просьба Шир-Али о русском покровительстве, Берлинский договор был уже заключен. Реакцией на эту просьбу стал страх Горчакова и Милютинина – как бы такая сделка не дала повода англичанам к занятию Кабула. Петербург предал новоиспеченного союзника, бежавшего к Кауфману и вскоре умершего, а Кабул был-таки занят англичанами, что дало России моральное право окончательно демонтировать буфер, вторгнувшись в Туркмению. Похоже, контроль над Афганистаном был тем максимумом, дальше которого в глазах российских военных не могло простираться тотальное поле Империи. Другое дело, что выход на этот максимум увязывался с дестабилизацией Индии, которая, однако, могла мыслиться без прямого вовлечения России.

Итак, гео-идеологический импульс к формированию особого пространства России вне коренной Европы толкал русских к конфронтации с основной силой, представлявшей Западную цивилизацию за пределами ее опорного ареала? Иными словами, к формированию из России и Англии новой конфликтной системы – евроазиатской, генезис которой был рационализирован ставкой на «непрямые» решения Восточного вопроса и которая в конце концов протянулась по югу Евро-Азии от Балкан до Тихоокеанского приморья гигантской дугой «холодной войны» (знавшей, как всякая холодная война, периоды обострения и разрядки). Логика этой борьбы подчиняла себе, иногда парадоксальным образом, политику, проводившуюся на тех или иных частных направлениях, в том числе, как я уже говорил, и решение о продаже Аляски. Обычное объяснение этого шага трудностями удержания Русской Америки под американско-английским натиском не учитывает комплекса мотивов, диктуемых логикой складывающейся евразийской конфликтной системы. Замечательная работа Н.Н. Болховитинова [Болховитинов 1990] позволяет восстановить эту логику.

Еще весной 1853 г., когда оставались надежды привлечь Англию к разделу Турции, Муравьев-Амурский писал Николаю : «Северо-Американские Штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши. Нельзя было, однако ж, при этом соображении не иметь в виду и другого: что весьма натурально и России, если не владеть всей восточной Азией, то господствовать на всем азиатском побережье Восточного океана. По обстоятельствам мы допустили вторгнуться в эту часть Азии англичанам ... Но дело это еще может поправиться тесной связью нашей с Северо-Американскими Штатами» [там же, 92]. За САСШ признавалась роль гегемона Америки и Карибского бассейна: на этом пути им предназначалось – выбить из Нового Света Англию. В 1850–1860-х гг. Соединенные Штаты, казалось, шли навстречу этим российским расчетам. В январе 1854 г., когда противостояние России с Англией стало очевидным, Вашингтон через акт фиктивной покупки взял под защиту Русскую Америку. Президент Ф. Пирс прямо склонялся к мысли о вступлении Штатов в войну на стороне России [там же, 96]. В 1859 г., когда началось обсуждение плана реальной продажи колоний, посол России в США Э.А. Стекло утверждал: «Если Соединенные Штаты станут обладателями наших владений, британский Орегон окажется стиснутым американцами с севера и юга и едва ли ускользнет от их нападений» [там же, 114]. 1860-е и 1870-е становятся пиком русско-американского сближения. Столь разные авторы, как Герцен, Фадеев, Венюков, Терентьев, твердят о союзе этих держав: американский визит россий-

ской эскадры в 1863 г. одновременно защищал воюющий Север от вмешательства Англии на стороне южан и грозил Англии возмездием за демарш в пользу мятежных поляков. Роль Англии в развитии двух мятежей сближала Петербург с Вашингтоном. В глазах американской общественности убийство Линкольна и покушение на Александра II объединялись общей схемой «террор против лидеров-освободителей». Визит морского замминистра Фокса к Александру с приветствиями по поводу «спасения от каракозовского выстрела» становится звеном в формировании союза; следующим оказывается продажа Аляски. Как предполагал в те годы К. Маркс [Маркс XXXII, 542], «янки благодаря этому отрежут с одной стороны Англию от моря и ускорят присоединение всей британской Северной Америки к Соединенным Штатам. Вот где собака зарыта!»

Отказ России в 1810-х гг. от присоединения Гавай сделал беспочвенными попытки конституировать север Тихого океана в качестве закрытого «русского моря». После этого отказ от Форта Росс был неизбежен и ограничил русское присутствие на Тихоокеанском западе. С присоединением междуречья Амура и Уссури Империя обретала на этом океане другую, значительно более южную базу, прямо связанную в отличие от Русской Америки с массивом евроазиатских южных земель. Через полвека Г.В. Вернадский будет скорбеть о том, что выход русских в Тихий океан через устье Амура не был использован для подпитки Русской Америки притоком переселенцев [Вернадский Г. 1914]. Напротив, для политиков 1860-х он снизил ее стратегическую ценность. Возможность превратить часть Тихого океана в закольцованное морскими базами «русское море» была утрачена поколением раньше; оставалось попытаться превратить запад океана в союзное России пространство, тем самым предотвратить эксцессы вроде английского нападения в 1854 г. на Петропавловск-Камчатский и обеспечить себе на этом направлении прикрытие для активных действий Империи по дуге русско-английского евразийского противостояния. Права С.В. Лурье в том, что Россия выращивала Соединенные Штаты, как и Иран, на роль региональных агрессоров, подрывающих британские позиции и тем самым призванных облегчить русским нажим на Индию и оттягивание английского внимания от черноморских проливов. Аляска продавалась неформальному союзнику в видах упрочения союза. Другое дело – при этом не были учтены масштабы собственно американской активности на Тихом океане, обозначившейся уже с 1850-х плаванием эскадры адмирала М. Перри в Японию и принуждением последней к Ансэйским договорам. Россия поддерживала САСШ как панамериканскую и карибскую, но не как пантихоокеанскую и не восточноазиатскую силу. В общем, это был просчет, очень сходный с тем, какой позднее потерпели германские геополитики, отводя Соединенным Штатам роль строителей Панамерики, не вмешивающейся в судьбы восточно-азиатской «Высшей зоны процветания», создаваемой Японией. Тихоокеанский консенсус дал трещину уже в 1877–1878 гг., когда САСШ в перспективе русско-английской войны резервировали нейтралитет, воздержавшись от предоставления базы российской эскадре, направляемой для угрозы Британской Канаде. Впрочем, на начало 1890-х Штаты в российских верхах трактовались на правах союзника. В 1893 г. в публикации Министерства финансов, обосновывавшей строительство Транссиба, в числе прочих причин для этого шага указывалось установление контакта со Штатами как державой, которую сближает с Империей «солидарность ... политических интересов», несмотря на их конкуренцию на хлебных рынках [Сибирь 1893, 308]. Через всю нашу первую евразийскую фазу от Герцена до Витте прошло представление о Вашингтоне как силе, содействующей созиданию «русского дома» на пространствах внеевропейского Старого Света, – представление, подорванное по-настоящему лишь американской ролью в русско-японской войне.



В рамках евразийской бинарной системы классический Восточный вопрос оказался сцеплен с судьбами таких стран и территорий, к которым прежде он не мог иметь никакого касательства. Движение в Среднюю Азию заставило Россию в конце концов под лозунгом защиты Китая вмешаться в его отношения с мятежными мусульманами Восточного Туркестана. В 1869 г. она отказывается признать Кашгар нейтральной зоной и фактически заполняет его северную часть своими товарами. Английская реакция не замедлила. Терентьев [Терентьев 1876, 182 сл.] отмечает: «Англичане теперь зачастили в Кашгар; и мы не без удовольствия видим, что есть и еще один путь (к Индии. – В.Ц.): чрез перерыв Каракорумского хребта от истоков р. Каракама к Ладаку». Любые территории, ведущие к «ахиллесовой пяте» Англии, становятся предметом внимания русских. Если Венюков радуется возможности часть тюрок и монголов спихнуть на Китай как империю слабую и якобы не опасную для России, то для Терентьева мусульманские восстания по западной кайме Китая – хороший повод для России выдвинуться прямо на стык Китая, Индии и Среднего Востока. По случаю мусульманских волнений в Урумчинском округе он находит «весьма вероятным, что нам придется и здесь выступить навстречу китайской власти и покорить для нее Урумци, как это сделано уже с Кульджею» [там же, 79]. Он готов даже говорить, что в Китайском Туркестане «готов разыграть самый интересный эпизод нашего, исторически необходимого, исторически неуклонного движения на Восток» [там же, 62]. В 1870-х Потанин предпринимает свои экспедиции в Монголию и Тибет. В 1881 г. после кризиса в отношениях с Китаем по поводу участи «умиротворенной» русскими Кульджи Мартенс публикует осуждение европейских и особенно английских бесчинств в Китае, якобы по недоразумению навлекающих китайский гнев и на русских. Миссией России объявлено – быть защитницей Китая.

Прочитывается внутренняя континентальная кайма всех приморских цивилизационных платформ Евро-Азии: миру предстает Россия, вобравшая почти все земли между нею и коренным Китаем, Индией, иранским Средним Востоком.

В лучшей работе Терентьева «Россия и Англия в борьбе за рынки» [Терентьев 1876] намечается политическая программа, которая по-настоящему станет на повестку дня после Берлинского конгресса. Терентьев формулирует задачи большой игры двух неазиатских сил в Азии: перекрыть ввоз товаров из Индии; в дополнение к этому отменить закавказский облегченный транзит, открывающий Англии путь в Среднюю Азию через Кавказ; ввиду того, что Бухара и Хива «сделались передовыми складными пунктами для произведений соперничающей с нами нации», – либо перейти к силовому, «непосредственному подчинению среднеазиатских рынков», либо, в крайнем случае, насадить здесь собственную промышленность, способную подавить индийский привоз. Терентьев, кажется, с наибольшей отчетливостью обозначил положение Средней Азии как «прекрасного этапа, станции, где мы можем отдохнуть и собираться с силами», готовясь к войне с Англией [там же, 183]. Намного отчетливее, чем И.В. Вернадский, он понял, что борьба России с «владычицей морей» может вестись под лозунгами «защиты континента», но также, что эта война не обязана вестись только в близкой англичанам стихии, что Россия в ней может опереться на континент как источник своей силы. «Все игроки, опиравшиеся на море, на флот, побеждены “владычицей морей”. Мы опираемся на сушу, на пехоту – нам трудно пробиваться вперед, но зато трудно и возвращаться, а потому резоннее всего оставаться там, куда привела нас судьба, и постараться стать там твердою ногою. Игра наша далеко еще не началась».

Для Терентьева, Англия – постоянный враг, «относительно Англии мы, по крайней мере, гарантированы от неожиданностей, ибо всегда должны ожидать

противодействия своим интересам» [там же, 210]. Задачи развития русского флота на Черном море, помимо всего прочего, определяются и близостью выходов из этого моря к Суэцкому каналу: натиск пехоты с севера на евро-азиатское приморье (опять Индия!) надо поддержать морским присутствием на торговых линиях, ведущих в Индийский океан, особенно мимо Суэца. «Истинные устья Днепра и Дона не в Херсоне и Таганроге, а в Дарданеллах. ... С прорытием Суэцкого канала Черное море приобрело еще и то значение, что Россия стала ближе к Индии, чем Англия – мы, значит, выиграли больше. Рано или поздно нам, вероятно, придется перенести центр тяжести на юг. Киев как столица во многих отношениях лучше Петербурга и Москвы» [там же, 246].

Этот дрейф на юг мыслится всецело вне «коренной» Европы. Более того, трактуя объединенную Пруссией Германию только как балтийскую силу, Терентьев ей готов полностью уступить гегемонию на Балтике. «Конечно, за кусок земли, прилегающий к Мраморному морю, нам, может быть, придется отдать часть балтийского побережья, но тут и колебаться в выборе не следует» [там же]. Терентьев сознает, что при новых условиях Европы, с возвышением ее нового восточного центра в Германии Восточного вопроса не решить без участия Берлина, – и в то же время он полагает, что это участие сведется к балтийской сделке, как если бы речь шла о доимперской Пруссии. Австрия вообще выпадает из его поля зрения. В основном же этот вопрос для него стоит «в прямой зависимости от расстояния между русскими и английскими передовыми постами» [там же]. Натиск на Индию с севера – инструмент овладения проливами, но овладение проливами выведет российский военный и торговый флот к Суэцу, всё в тот же Великий Океан, так что Южная Азия будет зажата между топотом пехоты с севера и торговыми русскими флагами по морской окраине: «вслед за штыком в Азию торжественно вступает и наш шестнадцативершковый аршин» [там же, 254]. Терентьев остро ощущает внутреннюю системность отношений на всех участках огромной евразийской полосы, где идет русско-английская борьба. Но он совершенно не чувствует такой же системности и напряженности в балтийско-черноморской, восточноевропейской полосе, на которой сосредоточен взгляд Р.А. Фадеева. Он считает, что Германии можно спокойно отдать Балтику, и это никак не скажется на ситуации балканской и черноморской. В его глазах, проливы входят в одну полосу с Ираном, Суэцем, Индией, даже с Восточным Туркестаном, – но вовсе не с Балтикой, не с Польшей, не с Богемией, не с Галицией. В свою очередь, Фадеев, страшась расточения России в Туране, практически не воспринимает «английской», то есть евразийской, проблематики. Эти два видения дополняют друг друга: где у одного автора – фокус российских задач, у другого – глухой хинтерланд. Так обозначаются два лика российской геополитики на начальной стадии первой евразийской фазы – именно на той стадии, что пролегла между Парижским конгрессом и Берлинским миром.

Собственно это – та ситуация, где «евроазиатская» линия нашей политики начинает определяться как прогерманская, а линия балто-черноморская как антигерманская, и обе они драматически сталкиваются в определении главного российского противника на Балканах и на Черном море: Британская Империя или Великая Германия, Пан-Европа. Но об этом подробнее – дальше.

V

Данилевский как автор «России и Европы» – фигура, порожденная этим двусмысленным временем. С первых страниц книги очевидно, что ее концепция сложилась под влиянием «крымского шага», пережитого как столкновение чужеродных друг другу сообществ России и Европы. Разбираемое вначале принципиальное различие реакции Европы на российскую экспансию в Подунавье

в 1853 г. и на австро-прусскую агрессию 1864 г. против Дании приводят к выводу: в последнем случае речь идет о конфликте *внутри* Европы, а в первом – о столкновении цивилизаций, различных по своим основаниям. За этот вывод и основанную на нем программу Данилевского иногда называют создателем теории борьбы цивилизаций. Однако ему были несомненно известны построения Духинского – об этом говорит его фраза [Данилевский 1991, 28] насчет русского правительства, «которое, по отзывам поляков, указами создает русский язык и научает ему своих монгольских подданных».

Существенно другое. О столкновении в европейском пространстве двух цивилизаций ярко писал Тютчев, тема России как «христианского Востока» была камнем преткновения между Чаадаевым и славянофилами, в Германии 1840-х о России как наступающем на Европу «особом мире» трактовал Я. Фальмерайер. Что разводит с ними со всеми Данилевского – это восприятие двух цивилизаций не как противостоящих принципов жизни на едином пространстве и его организации, но в качестве двух отдельных, лишь формально соприкасающихся и в силу этого конфликтующих на своих рубежах геокультурных пространств. Собственно, эта новая постановка вопроса видна в самой заглавии «России и Европы» в отличие от тютчевских «России и Запада». Тютчев рассуждает о «двух Европах» – России и Западе – как о *двух мыслимых проектах* единой Европы. Данилевский видит Россию вне Европы и возлагает на нее миссию создания особого неевропейского политического и цивилизационного пространства, способного *потеснить* пространство европейское, но отнюдь не стремящегося поглотить этот чужеродный мир.

Интересно, что по своему интеллектуальному аппарату Данилевский – типичный европеец третьей четверти XIX в., свободный от тех «средневековых» моделей, которые столь явственны у Тютчева и вновь проступят у Вл.С. Соловьева. Призывы к политике либеральной и вместе с тем национальной; восхищение Бисмарком, Кавуром и Гарибальди; пафос национальности как единственной законной основы существования государства, трактуемого организмически; почерпнутое у Г. Рюккерта учение о «культурно-исторических типах», мыслимых опять же в виде суперорганизмов; при декларируемой неприязни к Дарвину четко воспринятое представление о борьбе этих суперорганизмов за жизнь и пространство; налет расхожего гегельянства на глаголении насчет «мелкой текущей дребедени», каковую история предоставляет «текущему производству дипломатии» в отличие от «великих вселенских решений, каковые провозглашает она сама безо всяких посредников, окруженная громами и молниями, как Саваоф с вершины Синая»; наконец, навеянное успехами сравнительного языкознания, также проникнутого в те годы органицистскими метафорами и схемами (А. Шлейхер), отождествление «культурно-исторических типов» с семьями языков. Отчасти из-за этого последнего принципа, а отчасти из-за его нарушений у Данилевского возникает масса натяжек. Первый случай лучше представляют: разделение цивилизации римской и греческой; исключение из «новосемитской» мусульманской цивилизации; сложности, связанные с двухкомпонентностью романо-германской Европы, похоже, склоняющие Данилевского видеть ее движущую силу исключительно в германизме; второй случай можно проиллюстрировать выделением евреев в особый тип, оторванный от «древнесемитского» явно по религиозному признаку. Все это приметы европейской, в основном немецкой, отчасти английской интеллектуальной «почвы» – именно той, на которой позже сложится антропогеография Ратцеля и из которой разовьется германская геополитика. Этот заемный аппарат в условиях «послекризисной» России используется для выработки геостратегии, как бы встроенной в долгосрочные цивилизационные тенденции и их обслуживающей.

Доктрина «культурно-исторических типов» как высших форм человеческой общности, предельно полно выявляющих в разных аспектах и комбинациях потенциалы человеческой природы, позволяет провозгласить принцип лояльности к своему культурно-историческому типу (цивилизации) высшим по сравнению с приверженностью своему государству. Введенная же Данилевским якобы универсальная схема эволюции этих типов (этнографическая фаза, фаза политической самостоятельности, фаза расцвета культуры, ее полного самовыражения) вместе с отождествлением цивилизации и языковой семьи становятся основанием для прямых политических выводов. Каждая языковая семья имеет шанс развиваться в цивилизацию, если все ее члены добьются политической независимости и перейдут к выявлению своих культуротворческих способностей. Поэтому, коль скоро народ, принадлежащий к некоей языковой группе, достигнет независимости и создаст государство, его первое призвание состоит в том, чтобы всеми средствами, включая военные, обеспечить независимость другим народам той же языковой группы и тем самым создать предпосылку для новой цивилизации. Говорить о развитии такой цивилизации к высшим ее формам бесполезно, пока одни из народов данной семьи пребывают под чужим гнетом, а добившийся независимости – вынужден в одиночку противостоять чужеродному миру, борясь за простое выживание. Итак, наличие языковой семьи – абстрактная возможность цивилизации, реальной же возможностью она становится через политическую борьбу. Вопрос о России как носительнице специфической цивилизации оказывается на данном этапе вопросом чисто политическим, другие же его аспекты за несвоевременностью могут быть отодвинуты на второй план.

Отсюда три типа установленных Данилевским исторических ролей для народов. Во-первых, это народы – создатели культурно-исторических типов, прошедшие все ступени их становления. В своей экспансии и самоутверждении эти «организмы» неизбежно вступают между собой в борьбу [там же, 305]: «Народы, которые принадлежат к одному культурно-историческому типу, имеют естественную склонность расширять свою деятельность и свое влияние насколько хватит сил и средств ... Это естественное честолюбие необходимо приводит в столкновение народы одного культурного типа с народами другого, независимо от того, совпадают ли их границы с отчасти произвольно проведенными географическими границами частей света».

Вторая роль – это народы – «Бичи Божьи», разрушители старых цивилизаций (очевидно, что эти народы могут добиться политической самостоятельности, но отнюдь не обязательно они разовьются в цивилизацию). Наконец, в-третьих, «народы – этнографический материал», который ассимилируется со строителями культурно-исторических типов и увеличивает плодотворное разнообразие последних. Народы, не достигшие государственной фазы, не должны проявлять претензии «на политическую самостоятельность, ибо, не имея ее в сознании, они и потребности в ней не чувствуют и даже чувствовать не могут». Их удел – «сливаться постепенно и нечувствительно с тою историческою народностью, среди которой они рассеяны, ассимилироваться ею и служить к увеличению разнообразия ее исторических проявлений» [там же, 26]. Впрочем, во многих случаях Данилевский пользуется «принципом Пестеля», отстаивая адаптацию Россией тех народов, которые, когда-то имея политическую независимость, не смогли ее удержать (например, закавказских христиан). Впрочем, добавлю от себя, почему бы нашему автору не допустить, что народы, неспособные отстоять свою независимость, тем самым обнаруживают свое бессилие удержаться на уровне «государственной фазы», и для них «естествен» откат в «этнографическую фазу», а значит, и превращение в этнографический материал для соседней цивилизации? Кстати, о праве народов «этнографической фазы»



на свою культуру, о праве их не становиться для кого-либо строительным «материалом» Данилевский вообще не задумывается: о каком бы то ни было праве он начинает трактовать с момента обретения народом политической воли и силы – лишнее подтверждение того, что «государственная фаза» является основным интересующим его звеном цивилизационного процесса.

В своих раздумьях Данилевский приходит к идее, несколько предвосхищающей постулат «комплиментарности» Л.Н. Гумилева, говоря о «неизведанных глубинах тех племенных симпатий и антипатий, которые составляют как бы исторический инстинкт народов» [там же, 52]. Он ссылается на то, как «хорошо уживаются вместе и потом мало-помалу сливаются германские племена с романскими, а славянские с финскими... Германские же со славянскими, напротив, друг друга отталкивают, антипатичны одно другому». «Инстинктивное» притяжение и отталкивание им учитывается исключительно как фактор, содействующий или мешающий интеграции народов в утверждающийся чужой культурно-исторический тип, определяющий меру их пригодности к тому, чтобы пойти на этнографический материал, увеличивающий политическую мощь и внутреннюю дифференцированность этого типа.

И так везде: политическая точка зрения преобладает, когда речь заходит об этнической самобытности. Достаточно прочесть его раздумья о том, что этнографическая обособленность оберегает народ от привязки к чужеземной моде и к иностранной промышленности и как в отсутствие самобытного уклада его приходится заменять политикой, отстаивающей экономическую независимость. Или о том, как «европейничанье» русских замедляет политическую интеграцию народов Империи, позволяя им вместо русификации с ее неизбежными политическими следствиями – попросту европеизироваться, сохраняя в своем самосознании дистанцию от русских и постепенно приходя к идее государственной независимости при общеевропейском культурном знаменателе. Этот политико-прагматический подход к культурным и цивилизационным проблемам полностью возобладал у Данилевского, когда он прямо заявил, что вопрос о принадлежности или непринадлежности России к Европе его интересует исключительно как проблема международно-политического расклада.

Суверенность цивилизации для него мыслима лишь как суверенность политическая, как контроль группы народов, говорящих на близких языках, над пространством, гарантированным от вмешательства народов иной цивилизации. Иначе говоря, речь идет о том, что будет названо в Германии суверенным Большим Пространством. Данилевский прямо требует «доктрины Монро» для России; позднее ее предтечей он объявит Пушкина, сказавшего европейцам: «спор славян между собою... / Вопрос, которого не разрешите вы». Русская «доктрина Монро» предполагала бы невмешательство европейцев в курируемые Россией славянские дела, но, вместе с тем, по примеру американского прообраза – готовность России к военному вмешательству в случае конфликта славянского народа с народом другой цивилизации (именно так, как произошло в августе 1914 г.).

Позднее евразийцы с их идеей «месторазвития» цивилизаций ссылались на Данилевского как своего учителя, цитируя его слова об особых географических «поприщах» культурно-исторических типов. Но надо помнить, что к этому тезису Данилевский прибегает в очень специфическом случае, стремясь отсечь европейскую цивилизацию от цивилизаций античных, греческой и римской, ссылаясь на то, что «естественным» пространством для последних была вовсе не Европа, а перипл Средиземноморья, включая его африканское и азиатское побережье. Существеннее всего, что он оказался совершенно не готов применить тот же критерий к России. Подвергнув, как те же евразийцы, резкой критике миф Уральского хребта как «природной» европейско-азиатской

границы, вводящей часть России в Европу, он не смог указать какого бы то ни было другого физико-географического предела Европы. Более того, он вообще отказался рассматривать Европу как естественно-географическое явление (хотя определение Европы как «полуострова» Азии уже бытовало в его время; в частности, оно представлено в «Космосе» А. фон Гумбольдта). Вместо этого он ее определил исключительно как ареал Азии, охваченный романо-германской цивилизацией, то есть как явление геокультурное, не пытаясь как-то укоренить европейскую и российскую цивилизации в их особенной «почве» (собственно, даже применительно к античности он нарушил критерий «поприща», разделив ее по языковому признаку на две цивилизации без ясных границ).

Причины понятны. Данилевский, подобно немцам-индоевропейцам, твердо исповедовал мысль о «культурородной силе леса», опирая славянскую цивилизацию на тот же евроазиатский лесной пояс, в котором сложилась и западная цивилизация. Степь – пристанище кочевников – на его взгляд, есть зона, для цивилизаций вообще неподходящая. Экспансию Империи в Средней Азии он ставит невысоко, иронически оценивая ее как «потчевание европейской цивилизацией пяти или шести миллионов кокандских, бухарских и хивинских оборванцев, да, пожалуй, еще двух-трех миллионов монгольских кочевников»; стратегическое значение тихоокеанского побережья ставит очень невысоко, а колонизация на Амуре, в его глазах, столь же сомнительна, как эпопея с только что проданной Русской Америкой (все это страшно противоречит выдвигаемым им далее притязаниям на долю славянской цивилизации в мировом разделе). Итак, областью его первостепенных интересов оказываются земли Евро-Азии, непосредственно прилегающие к коренной Европе, то есть населенная в основном славянами балто-балкано-черноморская полоса, которую должна была сразу же охватить русская «доктрина Монро». Вопрос о естественных поприщах двух цивилизаций лишился смысла, коль скоро они мыслились прямо сталкивающимися на Европейском полуострове и Средиземноморских акваториях.

Отсюда и понимание Данилевским Восточного вопроса, который в его глазах есть борьба между славянским и романо-германским культурно-историческими типами. Вероятный исход этой борьбы должен доставить «совершенно новое содержание исторической жизни человечества». «Восточный вопрос касается всего славянства, всех народов, населяющих европейский полуостров и не принадлежащих к числу народов германского и германороманского племени, – не принадлежащих следовательно к Европе в культурно-историческом смысле этого слова». «Восточный вопрос», в свою очередь, есть порождение древневосточного вопроса, заключавшегося в борьбе римского начала с греческим [там же, 306, 329]. Противостояние двух цивилизационных полюсов античности находит продолжение в столкновении двух цивилизаций на полуострове Европы. Борясь за независимость славян, Россия бьется за суверенность своей цивилизации, будущее самовыявление и расцвет которой только и смогут оправдать существование России как силы, волей-неволей сдерживающей распространение европейского влияния вглубь материка. Претензии России на европейское культуртрегерство в Азии смешны: не будь ее, Запад с этой задачей справился бы куда лучше. Без борьбы за славянство Россия для Данилевского, как и для Р. Фадеева, была бы каким-то «привидением прошедшего», не имеющим иной цели, кроме выживания, так что «ей действительно ничего бы не оставалось, как сбросить скорей с себя свой славянский облик. Это было бы существование без смысла и значения, следовательно, в сущности, существование невозможное» [там же, 318].

Как и Тютчева, Данилевского мучит страх перед возможностью «недоотягивания» России до своего назначения, впадения ее в ирреальное «абортивное» бытие. Но разница между этими мыслителями велика. Для Тютчева Россия



s'avorterait, если не реализует новый европейский порядок, не выстроит «другую Европу». Порожденный в условиях «европейского максимума» России (фазы С первого стратегического цикла), этот проект был отмечен пафосом «последней битвы», решающей мировые судьбы. Поэтому поэт-политик настойчиво отмечает моменты неблагополучия обществ, дающие шанс для удачного наступления России, которая якобы станет «сама собой», лишь истребив «принцип бытия» Западной Европы. Взгляд Данилевского – иной. Борьба цивилизаций, даже выливающаяся в открытую войну, желательна и для него – но лишь как средство, пробудив славянское самосознание, сформировать Всеславянский союз – гроссраум новой цивилизации. Если Россия и может упустить шанс, то не шанс переустройства Запада, а исключительно шанс своего собственного выхода в фазу цивилизационной зрелости, якобы недостижимую без общеславянской независимости (постановка вопроса, несколько напоминающая позднейшие споры о возможности или невозможности построения социализма и коммунизма в одной стране). Отмечая на Западе кризис, вызванный пролетарской угрозой, – «кимвры и тевтоны у ворот Рима», «новые Мариин», военные диктатуры и т. д., – Данилевский, однако, не думает, как Тютчев, о «взрыве» Европы и ее сдаче перед славянским напором. Он готов даже признать западную культуру вошедшей в стадию максимального плодоношения. Но ссылка на якобы общий принцип «максимального действия энергии после того, как ее источник уже угас», позволяет ему утверждать: «Солнце, взрастившее эти плоды, уже прошло свой пик», – время благоприятно для политического возвышения новой цивилизации. Иначе говоря, он думает не о включении Запада в «Россию будущего», но об условиях непобедимости славянства, если бы оно пожелало образовать суверенный гроссраум.

Пафос лояльности перед своей цивилизацией доходит у Данилевского до разительных высот. По его оценке, истинное богатство цивилизации возможно лишь при относительной независимости ее народов друг от друга. Но раздробленность цивилизации уменьшает для нее возможности отпора внешним угрозам. Поэтому в зависимости от размера внешней опасности жизнеспособная цивилизация может иметь вид либо федерации, либо союза конфедераций, либо устойчивой международной системы. Для Европы, развившейся из средневекового христианского мира в надежно обособленное на своем полуострове сообщество государств, естественная структура – международная система, регулируемая балансом сил. Для славянской цивилизации гарантией безопасности может быть лишь гегемония России. Но парадоксальность этой гегемонии в том, что любое насилие России над меньшими членами союза, любая попытка слишком сильной интеграции может дестабилизировать союз и дать Европе повод вмешаться в его дела. Всеславянский союз и Россия как его гегемон оказываются заложниками поведения малых государств с его западной периферии – с первой линии межцивилизационного фронта. Залогом устойчивости союза может быть только общая опасность и успехи пропаганды, добивающейся поглощения русского, польского или чешского честолюбия – честолюбием общеславянским (преданностью своей цивилизации и ее Большому Пространству) [там же, 388]. Все интересы России должны сосредоточиться на благоустройстве и обороне пространства, охваченного «русской доктриной Монро». Итак, Европе, регулируемой балансом сил, должна противостоять тесная славянская федерация, однако всецело зависящая от поведения ее прифронтовых народов и потому требующая постоянных жертв от русских.

Данилевский не просто обрушивается, подобно Погодину, на политику императоров, тративших силы России на борьбу с европейскими революциями. Не менее жестока его критика в адрес усвоенной Россией с XVIII в. политики поддержания европейского баланса. Он силится доказать (с большими натяж-

ками), что эпохи прочного европейского равновесия были временами бурного европейского наступления западных держав на неевропейские народы. Эта гипотеза очень слаба, поскольку не учитывает, что заморские империи, которые с XIV по XVII вв. создавались в основном государствами, игравшими тогда второстепенную роль во внутреннем балансе Европы (Венецией, Нидерландами, Португалией, Англией), а единственное исключение – колониальная империя Испании – противоречит тезису Данилевского, ибо она возникла в первой половине XVI в. в пору жесточайшей борьбы Габсбургского блока с Францией. В лучшем случае эта модель частично описывает динамику XVIII – первой половины XIX в., когда важнейшим фактором европейского баланса становится Англия с ее колониальными интересами. Однако, очень шаткая применительно к прошлым векам модель позволяет Данилевскому вывести точный прогноз на близкое будущее: наступающее к 1860-м с объединением Италии и Германии (и вполне утвердившееся после предвидимой им франко-прусской войны) относительное равновесие еще не разделенной на союзные блоки Европы больших национальных государств, по этому прогнозу, должно обернуться их экспансией за пределами Европы (что и впрямь проявилось в колониальной дележке мира последней четверти XIX в.).

Большое равновесие на Западе, по Данилевскому, опасно не только для человечества вообще, но и конкретно для России. Лишь явное нарушение баланса, появление в Европе сильного претендента на гегемонию притягивает к России все враждебные ему режимы, так что сам претендент оказывается вынужден ее задабривать. (Ярчайшим примером Данилевский полагает Тильзитский мир, якобы открывавший возможности, коих Россия не смогла использовать.) Напротив, в периоды равновесия, когда энергия Запада выплескивается вовне, России легко стать объектом агрессии (как в Крымскую войну). Отсюда вывод, что в интересах России поддерживать продолжительное, но не слишком устойчивое неравновесие на Западе, используя его для строительства славянского пространства. В условиях 1860-х выбор России был очень ограничен. Она могла бы поддержать западный центр Европы – Францию Наполеона III, но как мы уже помним, российские авторы не без оснований подозревали этого императора в попытках воскресить политику Людовика XV, используя германские государства как стражей против России. Данилевскому периода «России и Европы» казалось соблазнительней поддержать Пруссию в собирании нового германского центра Европы вокруг Берлина и побудить ее к разделу Австрии – необходимому условию славянского гроссраума. Как приманку он готов был уступить пруссакам якобы все равно недостижимую для России балтийскую гегемонию, причем возрастала бы уязвимость Империи со стороны Балтики и Запада. Однако Данилевский возлагал надежды на леса и болота Северо-Западной России, на сезонное оледенение Балтийского моря и обоюдоострый для России и Пруссии польский фактор.

Эта модель изобилует концептуальными ляпсусами. Жертвовать Балтикой было естественно для Терентьева, видящего Восточный вопрос в рамках «вопроса английского», – ситуации, сложившейся по ходу русско-английского противостояния на фронте от Балкан до Кашгара, с продолжением на Тихом океане. Но Данилевский как бы игнорирует этот фронт, концентрируясь на том же пространстве Балто-Черноморья, что и Р. Фадеев, но в отличие от Фадеева игнорирует системное строение Балто-Черноморья, которое должно было ориентировать и впрямь ориентировало новый германский центр на меридиональное развертывание Империи (что отлично ухватил Фадеев). Данилевский совершенно не считает с реальной возможностью того, что поднимающийся лидер Европы способен достичь и такого могущества, когда у него будет велик соблазн разделаться с Россией как сохраняющейся надеждой его европейских



недрузгов. Данилевский не видит, что неустойчивость Тильзитского порядка практически сделала его проводником наполеоновского вторжения в Россию. А не видит потому, что реальная политическая динамика начала XIX в. в его глазах заслонена мифом, инспирированным реальностью иного порядка – реальностью системы «Европа – Россия» как таковой.

Это типичный для евразийской фазы нашего стратегического цикла миф о «необходимости» России потенциальному гегемону Запада («первому Риму») в ее роли «второго Рима», который поддерживал бы эту гегемонию, дружественно для нее контролируя пространства к востоку от «коренной» Европы, каковые она сама якобы не может удержать под своим прямым влиянием. «Второй Рим» – одна из трактовок положения России в евразийской интермедии ее стратегического цикла, когда элементы бинарной метасистемы «Европа – Россия» тяготеют к предельному дистанцированию друг от друга. Но есть и другая трактовка положения России в данной фазе: и ее мы тоже найдем у Данилевского, когда он начинает выводить конкретные задачи для Империи.

Программа-минимум Данилевского проста: государство «достигает полного роста, только когда соединит воедино весь тот народ, который его сложил, поддерживает и живит его (в этот русский народ он включает и западных украинцев-галицийцев. – *В.Ц.*); когда оно сделалось полным хозяином всей земли, населяемой этим народом, то есть держит в руках свои входы и выходы из нее, устья рек, орошающих ее почти на всем протяжении их течения, и устья своих внутренних морей... Не надо еще, говоря о пространстве России, забывать и того, что она находится в менее благоприятных почвенных и климатических условиях, чем все великие государства Европы, Азии и Америки, что, следовательно, она должна собирать элементы своего богатства и своего могущества с большего пространства, нежели они» [там же, 377]. Как уже сказано, под словами об «устьях внутренних морей» Данилевский не может понимать Зунда. Прибалтика для него – труднопроходимый край, слабо связанный с Россией, а вопросы безопасности Петербурга его мало волнуют, поскольку он не видит в этом городе естественной российской столицы. Но он тверд в требовании сделать Черное море внутренним морем России, сузив оборонительную линию до ширины проливов и вместе с тем используя это море как бухту русского флота: отсюда он мог бы свободно вторгаться в Средиземное море, притом, что российское побережье все равно оставалось бы неуязвимым.

В рамках же доктрины Всеславянского союза Данилевский намечает своего рода компенсацию ослаблению Империи на Балтике: такой компенсацией оказывается выдвижение сил Союза на уровень «Чешского бастиона» – горной гряды, с высоты которой этот Союз держал бы под прицелом центрально-европейские германские земли. Он признаёт, что такая программа с европейским равновесием несовместима. Но опыт Крымской войны и пафос «русской доктрины Монро» делают для него одиозной мысль о русской гегемонии в коренной Европе. Выход он находит в призыве к России «войти в свою настоящую, этнографическими и историческими условиями предназначенную роль и служить противовесом не тому или другому европейскому государству, а Европе вообще, в ее целостности и общности» [там же, 401].

Образ России – противовеса всей Европе в ее «целости и общности» – истинное открытие Данилевского, отражающее реальности геополитического бытия России XVIII–XX вв. как цивилизации-спутника западного сообщества, как одного из элементов ритмически пульсирующей системы «Европа – Россия», другим элементом которой оказывается собственно европейский мир с его имманентной глубинной биполярностью. Показательно, что это открытие оказалось возможным в фазе наибольшего отталкивания и отдаления России от «внутренних дел» Запада в евразийской интермедии, когда динамика Запада

протекала как бы без России. Но сам этот ход еще больше запутывает когнитивную структуру текста Данилевского.

Прямым развитием смыслообраза «России-противовеса» становится тезис о необходимости для нее в условиях прогнозируемого всплеска европейского колониального экспансионизма расширить ту же миссию до масштабов Старого Света как целого (Новый Свет остается целиком полем деятельности США). Целью Всеславянского союза должно быть «не всемирное владычество, а равный и справедливый раздел власти и влияния между теми народами или группами народов, которые в настоящем периоде всемирной истории могут считаться активными ее деятелями: Европой, славянством и Америкой... Сообразно их положению и общему направлению, принятому их расселением и распространением их владычества, – власти или влиянию Европы подлежали бы преимущественно Африка, Австралия и южные полуострова Азиатского материка; Американским Штатам – Америка; славянству – западная, средняя и восточная Азия, т. е. весь этот материк за исключением Аравии и обоих Индийских полуостровов» [там же, 425]. Если перевести этот проект в категории Маккиндера, на долю Европы оставались осколки Внешнего и Внутреннего полумесяца, а собственно в Евро-Азии – исконные западно- и центрально-европейские земли плюс Скандинавия, Аравия, Индия и Индо-Китай, то есть ряд окраинных полуостровов, оказывающихся под постоянной угрозой со стороны Империи Всеславянского союза: прибрежные страны Средиземноморья – из Черного моря, ставшего «русской бухтой», Центральная Европа – из-за Чешского Бастиона, Аравия – из Западной Азии, Индия – из Средней. Как бы пренебрежительно ни отзывался Данилевский об амурских и среднеазиатских акциях России, логика образа «России – противовеса Европе» в предвидении колониального бума толкает его к проекту Империи, держащей под властью ядро Старого Материка и под опекой или под стратегическим давлением – его приморье. Как частный случай такого давления видится Данилевскому возможность грозить Англии походом на Индию – походом, на его взгляд 1869 года, вполне осуществимым в видах удара по противнику, но неоправданно обременительным для Империи в качестве реальной завоевательной акции.

Внутри дискурса «России и Европы» властвует напряжение между несколькими трудно сочетающимися мотивами, ставшими после Данилевского неизменным достоянием нашей геополитической мысли. Один мотив трактует Россию как «второй Рим», наряду с «первым Римом» Запада, держащий пространства, неподвластные «первому Риму». При этом «второй Рим» заинтересован в европейском дисбалансе, в выделении на Западе реального или потенциального гегемона, позиции которого зависели бы от благожелательства России (проявляющегося хотя бы в намерении дистанцироваться от европейских дел). Согласно другому мотиву, она являет мировой противовес Европе (Западу) в целом, соизмеряющий свою мощь с мощью не отдельных европейских стран, но всего западного сообщества, и стремится закрепить за собой положение, когда она могла бы стратегически контролировать даже не входящий в российское пространство географический «дом» Западной цивилизации. Данилевский прямо не замечает, что из одной посылки вытекают следствия, когнитивно отрицающие другую посылку. Он хочет использовать для России нарушение европейского баланса, а в то же время планирует такой гроссраум, который по военной мощи немногим уступил бы всей Европе, включая Скандинавию. Ему как бы невдомек, что формирование такого Большого Пространства, да еще выдвинувшегося на Европейский полуостров и нависшего над коренной Европой высотами Чешского Бастиона, – неизбежно подорвет саму основу европейского баланса сил: защищенность Западного сообщества от внешней угрозы. Объективно калькуляции Данилевского



предполагают возникновение, по крайней мере, союзной Пан-Европы, стоящей против Всеславянского союза, – гроссраум против гроссраума. В таких условиях гегемон, нарушающий баланс внутри Европы и тяготящийся зависимостью от России, вынужден перейти в наступление, получив поддержку со стороны едва ли не всего Запада и бряцая той же риторикой «борьбы цивилизаций», правда, скорее, в варианте Духинского. Создание такого Всеславянского союза, о котором говорит Данилевский и на пути к которому он хочет использовать европейский дисбаланс, объективно вело бы к последствиям, лишаящим проблему дисбаланса всякого смысла перед лицом угрозы Европе как цивилизационному целому.

Данилевский пытается «выстроить» для России пространство, отдельное от Европы, но видит его в таких рубежах, с которыми она угрожала бы выживанию самой Европы не менее чем тютчевский замысел «России будущего».

Как и у Тютчева, у Данилевского Турция не актуализирована в качестве противника России. В развиваемом им мировом сюжете оттоманский эпизод – что-то вроде ретардации в истории Восточного вопроса, ретардации в условиях заката Греции–Византии и слабости славянских государств. Мусульманство осложняет большую игру православия с Европой. Последняя то использует мусульманский фактор для рикошетных ударов по православию (четвертый крестовый поход), для шантажа православия и попыток его поглотить (Флорентийская уния), то, отвлекаясь на борьбу с мусульманской угрозой, позволяет славянству самосохраниться, а России выжить и вырасти в Империю. Мусульманство не дало Европе решить Восточный вопрос в свою пользу (ср. у Тютчева о турках – «хранителях» Константинополя). С возвышением России синхронизируются закат Турции как отвлекающего Запад фактора и упадок Австрии, лишаящейся всех своих функций – барьера коренной Европы против Турции (эта функция просто отмирает), восточного германского центра Европы (функция уходит к Пруссии), формы самосохранения южного славянства (эту функцию готова непосредственно принять Россия). В этих рассуждениях прорезается провиденциальный компонент, как бы надстроенный над секулярной по своей сути доктриной Данилевского. Данью тому же провиденциализму звучат суждения о трансцендентных причинах, которые скрываются за разнородными факторами, дающими единый исторический эффект. Трансцендентные, или идеальные, причины – единственный и, в общем, не очень конструктивный элемент доктрины Данилевского, фокусирующей на политическом служении своему культурно-историческому типу ради полного раскрытия многообразия человеческого рода.

Глубокая психологическая секуляризованность¹ позволила Данилевскому по-новому поставить вопрос о черноморских проливах, отделив его от вопроса о Константинополе, и рассмотреть первый во всем его чисто геостратегическом спектре. Закрывать Россию с юга; обречь любого противника с запада либо пятиться перед замерзающей Балтикой, либо растягиваться по огромной западной границе, дробить и рассредоточивать силы по лесам и болотам; предотвратить возможность «второй Крымской войны», чего, в общем, не добился Горчаков; сжать морскую пограничную линию России на юге в точку; заложить основы реальной морской мощи, когда флот мог бы из «русской бухты» выходить в Средиземноморье, грозить английским базам и французскому побережью и даже выходить в Индийский океан (имея позади прочное убежище), – обо

¹ Секуляризм геополитики Данилевского – в его учении о государствах и культурно-исторических типах как чисто земных, посюсторонних организмах, не имеющих оснований надеяться на бессмертие и потому вынужденных всецело сосредоточиться лишь на своем земном процветании и мощи.

всех этих задачах Данилевский пишет с наступательным восторгом. Но лишь на последнем месте стоит моральный и религиозный момент – момент уже сугубо константинопольский, внушающий геополитику сугубую, обостренную осторожность, несмотря на всю захватывающую архаику воскресающей под его пером картины Царьграда как точки, с которой «нет места на земном шаре, могущего сравниться центральностью своего местоположения».

Именно в 1860-х у русских авторов прорезается тревога перед включением в геополитическое поле России в качестве цивилизационного и политического центра – нерусского города, лежащего вне исторического пространства России, хотя и бывшего в веках объектом экстраверсии. Еще в 1867 г. Погодин, ссылаясь на некоего генерала, заговорил насчет скверных последствий для России от Константинополя, который способен оттянуть ее силы, и выдвинул тему проливов как внешнего доступа к России [Погодин 1876, 178]. О том же следом твердит и Данилевский: «Столица, лежащая не только не в центре, но даже вне территории государства, не может не произвести замешательства в отправлениях государственной и народной жизни, не произвести уродства неправильным отклонением жизненных, физических и духовных соков в политическом организме». Константинополь грозит произвести тот же эффект, что и Петербург, но в размерах неизмеримо больших: превратить страну в придаток выдвинутого за ее пределы города, отсасывающего из России «нравственные, умственные и материальные силы». Отсюда вывод, что «Константинополь не должен быть столицей России, не должен сосредоточивать в себе ее народной и государственной жизни – и, следовательно, не должен и входить в непосредственный состав Русского государства». Как центр Всеславянского союза он останется вне России, но войдет в обслуживающее мировые позиции славян политическое пространство. Данилевский осознал опасность управления Россией из центра, вынесенного на крайнюю периферию и грозящего разрушить российскую идентичность (хотя этот взрыв идентичности не смущал ни Тютчева, ни Герцена 1848–1854 гг., приветствовавших поход на Константинополь как шаг, за которым кончается обособленное существование России и Европы, и обе они сливаются в общем, новом состоянии на едином пространстве). Однако, не очевидно, что решение, намеченное Данилевским, принесет тот результат, которого бы ему хотелось, поскольку смыслом существования России оказывается строительство Всеславянского союза с Константинополем, и ядро этого союза все равно будет из российского географического и человеческого материала. Избежать «оттягивания» русских сил в Константинополь все равно едва ли бы удалось, так что на панславистском пространстве возникла бы борьба двух центров – борьба без явных правил в отличие, скажем, от комплементарного, гармонизированного в XIX в. «соперничества» Москвы с Петербургом.

Сравнивая проект Данилевского с проектом Тютчева, можно прийти к интересным заключениям. У обоих отсутствует то чувство российского ядра от Днепра до Тихого океана, отличающее Р. Фадеева; за точку отсчета принимаются наличные границы Империи, для которой намечаются две ступени расширения. У обоих второй ступенью расширения оказывается интеграция в Россию народов Европы, не принадлежащих к ее романо-германскому ядру. Рядом со славянами тут оказываются народы (греки, румыны, венгры), «которых неразрывно, на горе и радость, связала с нами историческая судьба, втиснув их в славянское тело» [Данилевский 1991, 363]. Надо ли это читать – «превратив в этнографический материал славянской цивилизации»? Едва ли. Данилевский, похоже, сознаёт особый статус этих народов, как бы зависших между двумя цивилизациями, и даже готов к ним присоединить цивилизационно мутировавших, вестернизовавшихся славян – поляков. Вместе с венграми поляки для него – враждебный элемент, обреченный присутствовать в Союзе (на его



переднем крае, впритык к Европе!) Греков и румын он готов расценивать как племена, искупающие отсутствие кровного (= лингвистического) родства с Россией – родством религиозным. Однако сам же испытывает жестокую вражду к любым попыткам возродить «греческий проект»: «новая Византия», для него – это потенциально новая Австрия с греко-румынским дуализмом, работающая на «нравственное порабощение славянства» [там же, 324]. И так, во Всеславянский союз попадают народы переходного статуса со специфическими претензиями и, главное, способные при отстаивании этих претензий отталкиваться от России и опереться на «коренной» Запад (правда, в отличие от Погодина, Достоевского и Леонтьева он не видит возможности оборотничества самого славянства, его способности выступить враждебным России элементом, по Духинскому).

И наконец, что особенно показательно, у Тютчева третий пояс расширения России в основном предполагал поглощение Европы и Средиземноморья, то есть интеграция славян оказывалась подготовительной, переходной ступенью к этому финальному акту. У Данилевского таким последним расширением становится контроль «всеславянства» над всем азиатским материком, кроме его великих полуостровов. Иначе говоря, в этом пределе славяне должны войти в один гроссraum с массой азиатов (хотя Данилевский и не допускал присоединения Турции к России, перегрузки страны «магометанским инородным населением»). Панславизм Тютчева и панславизм Данилевского – феномены принципиально различные, ибо, соответствуя разным фазам нашего стратегического цикла, они выступают опорными компонентами радикально различающихся мировых проектов.

* * *

Уточнение и развитие взглядов Данилевского в 1870-х после «России и Европы» достойно пристального комментария. В 1871 г. в своем отклике на предвиденную им франко-прусскую войну он неожиданно быстро отошел от некоторых прежних оценок: вырастая в *крупнейший* центр Европы, Берлин объективно перестает быть потенциальным союзником, но как главный представитель романо-германской цивилизации предстает главным противником России – особенно из-за своей резкой выдвинутости к востоку. Австрия неизбежно окажется в германском фарватере и заключенная в систему Второго рейха обретет вознаграждение на Балканах (это значило бы, что восходящий центр Европы отведет Австрии ту роль, которую ей когда-то ставила ныне слабеющая Франция устами Людовика XV и Талейрана, Полиньяка и Наполеона, – роль прикрытия против России, отвлекающего ее силы). Отсюда пересмотр отношения к Франции. Данилевский уверен, что, организуя барьеры против России, как гегемон своей цивилизации, Франция не имела во вражде к России интереса жизненно-национального в отличие от глядящей на славянский восток Германии (как сказать, если учесть, что до середины XIX в. Россия усиленно поддерживала дряхлевший австрийский центр и стремилась минимизировать французское превосходство). Теперь, в новом раскладе Англия должна поддержать Германию против России, а ослабленная Франция станет российским союзником, что позволит Петербургу использовать в своих видах «французскую партию» славянских и балканских либералов.

Данилевский замолкает в следующие годы, когда российское правительство пытается подключиться к обустройству обновленной Европы через «Союз трех императоров» – иначе говоря, через поддержку Россией обновленного и грозно окрепшего восточного центра европейской системы. Он возвращается в политическую публицистику во время русско-турецкой войны, чтобы повторить прежнюю программу «русской доктрины Монро» с добавлением нового пунк-

та – о желательности обращения Турции в вассальное владение России. Помня уроки Ункяр-Искелесийского договора, он считает, что речь должна идти не об аморфном дипломатическом «влиянии», но о совокупности жестких военных и финансовых обязательств, которые, будучи наложены на Турцию, связали бы ее безоговорочно: «политическое влияние только тогда прочно, когда нет сил ему противиться». Отвергая как «нейтрализацию» проливов (запирающую России выход в мир), так и их «свободу» (подпускающую любого желающего противника к российским южным берегам), он разрабатывает уникальную геостратегическую типологию проливов, беря за критерий возможности обойти их и их преградить.

Его взгляд на Константинополь уже не только полностью свободен от религиозно-исторических мотиваций, но сами эти мотивации им отвергаются даже с какой-то ожесточенностью. «В настоящем виде своем Константинополь не имеет даже значения великого памятника христианской святости, подобно Иерусалиму, или даже подобно Афону, нашему Киеву, Троицкой Лавре. Он не привлекает к себе толпы поклонников». Отрицая в нынешнем Стамбуле «даже присутствие элемента религиозного», Данилевский допускает его возрождение лишь в рамках панславистского проекта. Он не мыслим ни как военный город (опора международных интриг против России), ни как город греческий (что сделало бы Грецию враждебным России проевропейским сторожем проливов). Но еще настойчивее выступает Данилевский против включения Царьграда в «государственное тело» России, где он фатально «перевернет центр тяжести». Россия должна быть «ограждена от обаятельной и притягательной силы, присущей этому величию», несущему с собою возмущение российской цивилизации и всей жизни. В идеале Константинополь – вольный город под исключительным протекторатом России. Пока же следует «оставить Константинополь и проливы под властью» Турции, притом, что сама «Турция будет поставлена в ... полную зависимость от России». Речь идет о притяжении Турции к панславянскому проекту в числе иных неславянских конструктивных элементов. В отличие от Австрии к Турции он не питает никакой вражды, и это вопреки несчетным в те годы газетным сообщениям о турецких зверствах, чинимых над славянами. «Мы под личиной войны с Турцией вели войну с Европой». Поэтому, когда после войны «от Турции останется одна тень», турок можно использовать для прикрытия российского хозяйничанья в проливах: «тень эта должна еще до поры до времени оттенять берега Босфора и Дарданелл» [Данилевский 1890, 84].

В месяцы Берлинского конгресса намечается крупнейший перелом в дискурсе Данилевского, панславизм отходит куда-то вдаль. Оказывается [там же, 136; 137], что «истинный и непримиримый, всегда и во всем, и в мире и в войне стремящийся вредить России враг есть – Англия» (не Австрия, и не Германия, теснящие славянство). Теперь Данилевский – не с Фадеевым, а с Терентьевым: отвернувшись от Балто-Черноморья, он видит Восточный вопрос в системе отношений двух сверхдержав, выстроенной по евроазиатскому югу. Черноморские проливы как фактор российской уязвимости уравновешиваются ведущими в Индию горными проходами. Данилевский еще пытается осмыслить «англо-азиатскую» тему как развитие темы борьбы России и Европы, как противодействие *державе, главным образом утверждающей европейское владычество в мире*. Но эта, новая тема все более развивается в автономный компонент, и Данилевский смыкается с И.В. Вернадским, твердя о миссии России – сокрушить «то исполинское хищение, ту громадную неправду, то угнетение, распространяющееся на все народы Земли (значит, и на европейцев? – В.Ц.), которые именуются английским всемирным морским владычеством» [там же, 205]. Или когда он умиленно пишет о наполеоновской «континентальной системе – мере, неочтенной современниками, но кото-

рая, тем не менее, могущественнейшим образом содействовала развитию промышленности на материке» [там же, 164]. Восточный вопрос выступает теперь для него, как и для массы его современников, «английским вопросом». Под маской «духа пространств», «духа непримиримого противостояния континента и моря» действует дух времени – именно, той фазы стратегического цикла, когда Россия, по пророчеству Талейрана, будучи отброшена из Европы «в азиатские степи», составила новую конфликтную систему с Англией. Два географических маргинала континентальной Европы, в XVIII в. служившие европейскими балансирами, с уходом России из европейской игры были обречены на эту борьбу за европейскими пределами. Панславизм с попыткой создать особое пространство России от Балтики до Балкан – «неевропейское» пространство на Европейском полуострове – лишь затушевывал и усложнял логику нового расклада. Берлинский конгресс стал для Данилевского моментом той истины, которую наш автор выразил с четкостью, достойной Терентьева или Скобелева: «России ничего другого не остается, как постараться, чтобы проливы потеряли для нее (Англии. – В.Ц.) всякую ценность, чтобы свободное сообщение с Индией утратило для нее всякое значение. Князю Паскевичу приписывают слова, что путь в Константинополь идет через Вену. Видимо, и путь к Босфору и Дарданеллам идет через Дели и Калькутту» [там же, 138]. Столкновение этих двух афоризмов раскрывает логику двух контрастных фаз стратегического цикла, изменчивую функцию т. н. Восточного вопроса, мотивировавшего в одном случае – превращение России в протектора Германии, а в другом – крепнущую южно-азиатскую фокусировку.

Сообразно с логикой новой фазы Данилевский провозглашает неизбежность окольного азиатского пути не только к проливам, но и к объединению славянства [там же, 178; 219], решительно поменяв местами намеченные в «России и Европе» фазы расширения Империи. Чтобы затем, очистив совесть панслависта, обратиться к характеристикам России как державы азиатской, «державшей в своих руках судьбы Востока, обаяние которой ... должно было утвердиться не только на берегах Босфора, но и на берегах Инда, Ганга и Ирравади» [там же, 149], которая одна «имеет возможность угрожать Индии, в случае нужды подать помощь Китаю, защитить Персию» и, в случае «ослабления Турции, с одной стороны овладеть проливами», «с другой же, по соседству, сделаться наследницей богатейших стран Азиатской Турции» [там же, 177]. В свою очередь, «владение Эрзрумом позволило бы нейтрализовать английские дороги от Босфора к Персидскому заливу» [там же, 146].

Написанная по следам Берлинского конгресса статья «Горе победителям!» выразила новое мировидение Данилевского с предельной чеканностью. Статья констатирует полное крушение попыток России решать Восточный вопрос в свою пользу, опираясь на европейский баланс. Круто разведя вопросы о культурно-цивилизационной и политической принадлежности России к Европе, он заявляет, что его интересует только последний аспект. «Я готов даже согласиться (конечно, не иначе, как в виде риторической фигуры уступления), на эту нашу культурную принадлежность к Европе. ... Но именно сопредельность России с Европой причиной тому, что интересы России не только иные, чем интересы Европы, но что они взаимно противоположны, что в политическом плане Россия не только не Европа, но Анти-Европа. ... Всякий организм – будь то индивидуальный, как человек, или сложный, как государство, или коллективный, как система государств, получает сознание о своем отдельном бытии только при пробуждении сознания своей противоположности чему-либо. ...» «Анти-Европа» и есть Россия и представляемый ею Славянский союз [там же, 172; 173–174; 180]. Отвлекаясь от каких-либо позитивных характеристик России как цивилизации («культурно-исторического типа»), Данилевский ограничивается сугубо функциональным международно-

политическим отношением России к системе Европы и в этом ракурсе определяет Россию как «Анти-Европу», как член бинарной системы, другим членом которой выступает Западное сообщество в целом с его внутренним балансом. Россия для позднего Данилевского – не просто самобытная цивилизация, но функциональное «иное» Западного сообщества. Тем самым он вплотную подошел к выводу не просто о некоей миссии России быть противовесом европейскому сообществу как целому, но о реальном существовании такого международного образования как метасистема «Европа – Россия». Я полагаю, что именно эта модель находит свой культурологический эквивалент в предложенной Б. Гройсом трактовке ряда явлений русской мысли как представления Запада о «своем ином, своем «анти-». Тем самым понятие «Анти-Европы», введенное Данилевским применительно к функционированию международных политических структур, может получить и культурологическое измерение.

Однако, после этого вывода следует курьезное утверждение, что для России перестать отождествлять свои интересы с европейскими, начать руководствоваться сугубо собственным эгоизмом – это и значит начать жить по-европейски, как живут между собою отдельные страны. Как будто осознать себя «Анти-Европой» значит перестать соотносить себя с Европой как целым. Как будто дистанцирование от европейского концерта и переориентация интереса в Азию, взгляд на Восточный вопрос в азиатском контексте мог привести к иным результатам, кроме возникновения сверхсистемы «Европа – Россия», также и второй биполярной системы «Англия – Россия». Апелляции Данилевского к Екатерининскому веку как эпохе истинно-национальной политики имели характер столь же мифотворческий, как и попытки Чаадаева увидеть в той эпохе пример бескорыстного служения России Западу. Факты, говорящие о том, что идеология фазы А, участия России в игре разъединенной Европы в качестве балансира, единственной фазы, когда Россия вправе видеть перед собой не Европу в целом, а отдельные государства, оставалась совершенно непрозрачна для мыслителей, погруженных в ситуацию как наших «европейских максимумов», так и «евразийских интермедий».

Как реалист-геостратег Данилевский кончил жизнь типичным «протоевразийским мыслителем», рвущимся на Босфор через Колхиду и Калькутту и склоняющимся к мысли, что собирание славянства как-то проистечет из парализующего Англию контроля нашей Империи над платформами Азии.

VI

А между тем, 1870-е вносят сугубое осложнение в график российско-го стратегического цикла. Объективная ситуация в Средней Азии (конфликт с Хивой, восстание 1875–1876 гг. в Коканде, столкновения с туркменами), как и говорил Венюков, не давали России остановиться на каком-либо азиатском рубеже. А вместе с тем, в Европе обозначилась конъюнктура, которая, казалось бы, позволяла Империи возвратиться в европейский расклад и уже с опорой на него сфокусироваться на балканском направлении, на проливах, сохранявших первое место в национальном перечне стратегических приоритетов. В главе I я уже очертил геостратегическую механику этого времени. «Уход» России из Европы во второй половине 1850-х стал возмездием Австрии: изгнанная из Италии Кавуром и Наполеоном III, а из Германского союза – Бисмарком, к концу 60-х реформированная на началах австро-венгерского дуализма, она перестает быть восточным силовым центром Европы, самое большее, цепляясь за роль балансира в новой франко-прусской игре. Разгром Франции определил восхождение бисмарковской Германии в роли потенциального европейского гегемона, но гегемона, сохраняющего уязвимость с востока.



С начала 1870-х проявляется двойственное отношение новой Германии к России: формальное сотрудничество при попытке подстраховаться против русских, втянув Австрию в германскую сферу влияния, соединив балтийский и карпатский узлы Балто-Черноморья. Будет ли Россия опорным глубоким тылом нового германского восточного центра, или она представит вызов этому центру, нейтрализуемый австрийским авангардом? – такой вопрос вставал перед Германией. С устранением Австрии из биполярного расклада Европы, в глазах Бисмарка и его преемников, она обретала роль, которая ранее ей отводилась в планах стремившихся к европейской гегемонии французских руководств – в планах Людовика XV, Талейрана, Полиньяка, Наполеона III. Сама же Россия оказывалась в положении, когда, соотнося себя с европейским раскладом, она должна была выбирать между ролью германского тыла и попыткой бросить Германии вызов в качестве ее соперницы, потенциального восточного центра Европы, претендентки на австрийское наследство. Кто будет основным тылом Германии, обеспечивающим ей перевес над Францией, – Австрия или Россия? Ответ на этот вопрос во многом определял выживание Австрии и Франции. Все эти выборы оказывались связаны зависимостью. Россия, не позволяющая немцам подмять и подавить Францию, становилась тылом ненадежным, на роль главного тыла выдвигалась Австрия, а Петербург становился центром, конкурирующим с Берлином. Последний оказывался прямо заинтересован в развороте России лицом к Азии, и Россия, которая позволила бы подавить до конца Францию, становилась бы привилегированным германским тылом: но при этом перед Берлином вставал призрак грозной восточной силы, контролирующей балто-черноморский «вход» Европы и ликвидирующей суверенную Австрию. Все эти связи можно представить в таблице:

	Германская гегемония в Европе	Выживание Франции	Прочность Австрии	Австрия – тыл Германии
Россия – тыл Германии	+ / ?	–	–	–
Россия – конкурент Германии	–	+	+	+

В мемуарах Бисмарка сквозит постоянный страх, что Австрия в целом окажется притянута к России как таковой или в рамках новой франко-русско-австрийской «коалиции Семилетней войны» [Бисмарк II, 212 сл.; 227 сл.]. Точно так же страшился он грез русских панславистов о дезинтеграции Австрии и включении ее немецких земель в Великую Германию: его пугала как дестабилизация пространств от Тироля до Буковины, так и появление *внутри* Германии нового ядра – Вены, которой в силу ее традиций «нельзя было бы управлять из Берлина как придатком» [там же, 42] и которая, утратив роль объединителя негерманской Центральной Европы, вновь стала бы «контрцентром», разрывающим Германию. Тяготее к «органическому» германо-австрийскому союзу, гарантирующему Австрию против России, Бисмарк опасался сделать Германию жертвой антирусского авантюризма: не воевать с Россией он хотел, а удержать ее вне Европы и для этого постоянно связывать ее Австрией [там же, 225]¹.

¹ Россия как германский тыл могла означать подавление Франции, но за это потребовать или осуществить де-факто ликвидацию Австрии, что превратило бы европейскую биполярность в противостояние Европы и России (аналог Ялтинской системы). Россия, поддерживающая выживание Франции, толкала Германию к союзу с Австрией и рано или поздно должна была определиться в качестве конкурирующего с Берлином и союзного Франции претендента на австрийское наследство в Европе.

Вся эта логика нового расклада выявлялась в 1870–1880-х постепенно в результате неудачных попыток России вернуться в Европу – опираясь на этот расклад, открыть новую фазу А в новом стратегическом цикле. Я говорил уже о реальном основании этой неудачи: вхождении повышательной сверхдлинной волны европейского милитаризма в срединную интермедию, когда уже определились стиль и тип «народных войн» на полное уничтожение противника, но не созрел проект, который бы оправдывал подобную войну в общеевропейском масштабе, да и конфигурация сил оставалась неопределенной, и поводы к войне сомнительны. Русские политические мыслители сумели констатировать это положение. Данилевский отмечал, что после объединения Германии и Италии в Европе консолидированных национальных государств наступит затишье – ибо будет очевидно, что надлом любого из них в новой войне повлечет ощетиивание остальной Европы против победителя: наступает эра баланса и колониальных переделов внешнего мира. Достоевский отмечал трудность создания в эту пору в Европе коалиций из-за разнородности потенциальных интересов, из которых не собирались конфигурации, способные консолидировать державы.

В этих условиях опора Германии на Россию как тыл ради большого германского наступления в Европе оказывалась вариантом более рискованным, чем поддержка Австрии как стража против России при сохраняющемся перевесе германского центра над Францией. Еще оптимальнее Бисмарку казался вариант, который позволил бы сочетать «органический союз» Германии с Австрией и удержание России в качестве лояльного тыла. Этот вариант, на который Бисмарк пошел бы особенно охотно, предполагал бы передачу проливов, а может, и Константинополя России с разделом Балкан на русскую (Румыния, Болгария) и австрийскую (Босния, Сербия) зоны. Россия, владеющая Константинополем и находящаяся в открытом антагонизме с Англией, попадала бы в полную зависимость от Австрии и Германии и была бы отстранена от какого-либо серьезного вмешательства в дела Европы [Бисмарк II, 239 сл.]. Россия получала бы южный участок старой балтийско-черноморской системы (без ее расширения на запад), после чего всецело сосредоточивалась бы на борьбе с Англией вдоль евроазиатской дуги от Балкан до Тихого океана. Австрия нависла бы над юго-западным флангом России как германский аванпост, Германия главенствовала на Балтике и выходила в европейские лидеры. В общем, Бисмарк был существенно щедрее Вильгельма II и Гитлера, а блестяще предвиденная им логика германского движения к Черному морю и на Ближний Восток была достаточно чужда «железному канцлеру».

Помимо других моментов, осложнявших реализацию этого плана (распространяющееся в России панславистское видение в стиле Фадеева-Данилевского и т. п.), следует назвать и позицию Горчакова. Едва ли можно согласиться с акад. С.Д. Сказкиным, писавшем о Горчакове, что «дипломатические победы его были весьма сомнительны, и вся его деятельность едва ли может быть названа успешной» [Сказкин 1964, 414]. Успехи были – вроде отражения европейских демаршей по польскому вопросу, улаживания среднеазиатских осложнений с Англией, – но если исключить «возмездие» Австрии руками Наполеона III, эти успехи были в основном оборонительного характера. Исповедуя принцип сосредоточения на внутренних делах и «свободы рук», Горчаков не имел ясной стратегии возвращения России в Европу, но не стремился и к балканской ангажированности, а расширение в Средней Азии, видимо, искренне трактовал как вынужденную политику, которую стремился ограничить созданием там буфера. При этом к германской гегемонии в Европе он испытывал сильнейшую неприязнь, стремясь предотвратить надлом Франции [ИВПР 1997а, 80]. Россия при Горчакове отказывалась определяться как германский тыл, а потому ей трудно было рассчитывать на германскую поддержку в балканском наступлении, – но



Горчаков к этому наступлению, в общем, и не стремился. Придя к руководству российским МИДом в фазе D и выразив дух этой фазы в формуле «сосредоточение» или «собираение с мыслями», Горчаков был втянут в евразийскую игру и в ее рамках пытался делать то, что ему казалось наилучшим, но он не был готов к каким-либо крупным акциям на европейском направлении.

Вся политика 1870-х выглядит рядом накладок и противоречий. Уже в 1870–1873 гг. с возвышением Второго рейха военное министерство (Милютин) разрабатывает план создания по Висле и Неману системы укреплений для обороны против Австрии и Германии и перехода против них в наступление [ИВПР 1997а, 38]. В то же время конвенция Александра II и Вильгельма I от 1873 г. утверждала включение России в расклад Европы в качестве союзницы Берлина. Но Бисмарк фактически блокировал конвенцию, сделав ее условием присоединение к ней Австрии, а тем самым исключив возможность использовать конвенцию в панславистских раскладах. Созданный взамен «Союз трех императоров» страховал Германию с Востока, а России развязывал руки в Центральной Азии, любые же балканские акции Петербурга ставил под берлинский и венский контроль. Итак, активность России направлялась против Англии и распределялась вдоль «евроазиатской дуги», так что действия на Балканах – околоевропейском участке дуги – оказывались затруднительны. Настаивая на радикальной локализации русско-турецкой войны, Горчаков, по словам современников, сознательно создавал условия для «полувойны», которая «могла привести только к полумиру» [Бисмарк II, 193 сл. Сказкин 1964, 415]. Принимая такую ситуацию как должную, Горчаков ее усугубил демаршами середины 1870-х в пользу Франции, убеждая лишний раз Бисмарка в значении Австрии как аванпоста против России. Чем прочнее становилось германо-австрийское пространство, тем более сужался выбор России, сводясь к двум вариантам: либо игра вдоль евразийской дуги в отдалении вне Европы, либо возвращение в Европу в качестве противницы Германии и союзницы западного центра (но для этого и самому западному центру предстояло быть существенно укрепленным и реорганизованным, и должны были быть полностью пересмотрены отношения России к Англии).

В этом тупике прорезались единичные случаи, когда перед Россией намечался третий вариант решения Восточного вопроса и влиятельное возвращение в Европу на основе сделки с Германией в качестве ее тыла. Первый случай – это конвенция 1873 г. в изначальном варианте, без участия Австрии, перечеркнутая Бисмарком. Случай второй – запрос Александра II в 1876 г. в начале войны на Балканах насчет возможности германского нейтралитета в случае наступления России против Австрии. Бисмарк конфиденциально объявил таким условием согласие России на «совершенный разгром Франции» – и сделка была заблокирована Горчаковым [ИД II, 37–41. ИВПР 1997а, 188]. В последний раз подобные шансы обозначились в 1886–1887 гг., когда представители Александра III в Берлине Петр и Павел Шуваловы предложили Бисмарку русско-германский договор без участия Австрии, предполагающий нейтралитет России в войне Германии против Франции при любых условиях – вплоть до того, что первая «посадит прусского генерала в качестве парижского губернатора». Суля России проливы и Болгарию, Бисмарк опять-таки оговорил целостность Австрии и ее влияние в Сербии, и в результате договор был дезавуирован Александром III [ИД II, 248–251. ИВПР 1997а, 265]. Камнем преткновения постоянно оказывались славянские земли Австрии и прилегающие к ней участки Балкан: эти земли, с точки зрения Бисмарка, принадлежавшие к германской Центральной Европе, а с русской точки видевшиеся то ли естественной частью русского Балто-Черноморья (Фадеев), то ли западной оконечностью евроазиатской дуги, представляли участок, относительно которого сталкивающиеся «национальные геополитические коды» двух сторон не допускали согласования.

В результате России пришлось вести войну 1877–1878 гг. на жестких английских и австрийских условиях, а выход за рамки этих условий в Сан-Стефанском прелиминарном договоре был пресечен совместным германо-австро-английским нажимом на Берлинском конгрессе. На этот нажим она могла ответить лишь действиями в Афганистане, повлекшими его оккупацию Англией – заставившую русских в их черед наступать в Туркмении. Россия оказалась вынуждена идти на новые сделки с Германией и Австро-Венгрией, заключившими против нее в 1879 г. меридиональный комплот. Восстановленный «Союз трех императоров» гарантировал России нейтрализацию проливов, а значит, защиту ее черноморского побережья от Англии (зато Австрия развернула экспансию на Балканах от Бухареста до Белграда). Партнеры последовательно переориентировали Россию на отдаленные от Европы участки евроазиатской дуги. Впрочем, расходясь с австрийцами, Бисмарк постоянно оставлял в запасе вариант с уступкой русским Болгарии и проливов в обмен на европейскую гегемонию Берлина – при последующем сдерживании России австрийскими и английскими силами. Горчаков сопротивлялся «Союзу трех императоров», но никакой альтернативы не предлагал и вообще все больше отходил от реальной политики. Берлинский конгресс и позиция, занятая на нем Германией, определили крушение преждевременного русского «возврата в Европу»: наметившаяся новая фаза А оказалась abortивной. «Союз трех императоров», по крайней мере, давал возможность возобновить евразийскую интермедию, достраивая русское пространство на юге, призывы же Горчакова к «свободе рук» оказывались совершенно неконструктивными. Существенно другое: на константинопольском направлении она была нейтрализована Австрией, за которой стоял Второй рейх, усиливающийся на Балтике и начавший с 1880-х инвестировать в перевооружение турецкой армии и насыщение ее германскими инструкторами. Официально трактовавшееся до сих пор как вспомогательное, поддерживающее босфорские и константинопольские замыслы, среднеазиатско-индийское направление становится единственным, на котором Россия могла действовать до тех пор, пока не соглашалась на полную германизацию Европы (включая и Балтику, и значительную часть балкано-славянского пространства).

Оформляя новую ситуацию, в 1880 г. возникает проект Д.А. Милютина, изложенный в записке «Мысль о возможном решении Восточного вопроса в случае окончательного распада Оттоманской империи»: странная идея Балканской федерации с включением в нее же и Константинополя с Адрианопольским вилайетом, и управляемых Австрией Боснии и Герцеговины. Все это скопище территорий виделось Милютину управляемым комиссией, образуемой представителями великих держав и хлопочущей о нейтрализации проливов Мраморного моря. Этот замысел – вырожденный итог целой серии русских проектов, включающей «Греческие царства» Екатерины II и Пестеля, «Дунайский союз» Погодина и т.д., то продолжающих Россию на юго-запад, то, наоборот, прикрывающих ее с этого направления, которое Милютин, чтобы защититься от Англии, готов был полностью отдать под контроль «мирового сообщества». При этом политик-практик и организатор реформируемой армии даже не задается вопросом, который встает в те же годы перед разбирающимися сходные планы Данилевским и Достоевским: во что же способно обратиться подобное, нейтрализуемое «мировым сообществом» пространство в случае возникновения в Европе большой войны, которой бы это сообщество раскололось на враждующие блоки. Весь проект Милютина рассчитан на долгий европейский мир и действия России по преимуществу вне Европы. Евразийская фаза продолжалась, толкая ко все более глубокой переоценке ценностей и перестройке картины мира российских политиков и стратегов.



VII

Достоевский как публицист с обостренным интересом и вкусом к международной политике воплотил с особой силой веяния этого десятилетия с его зависанием между проскоком в новый цикл и продолжением евразийской фазы. Сравнивая его с Данилевским, видишь: с одной стороны, он больше, чем тот, живет спором с идеями европейского максимума (1840–1850-х), он более чуток к ускользнувшим в 1870-х шансам начать новый цикл; с другой стороны, он не ангажирован панславистски и потому глубже и богаче видит тему «русского пространства в Азии». Вообще, «Дневник писателя» и наброски к нему перенасыщены гео- и хронополитическими наблюдениями, заставляющими вспомнить о военном образовании автора. То он вспоминает выкладки Мальтуса насчет способности территории «поднять ту численность населения, которая сообразна с ее средствами и границами», – и заключает: «Таким образом, многоземельные государства будут самые огромные и сильные. Это очень интересно для русских» [Достоевский XXIV, 89]. То мимоходом заметит о войнах как «нормальном состоянии» с периодом в 25 лет [Достоевский XXV, 103. XXIV, 276], то рассуждает о случаях появления нового оружия задолго до того, как специфическое стечение обстоятельств обнаружит его подлинный потенциал [Достоевский XXIV, 269]. И много такого в «Дневнике» – от прогнозов насчет деградации России в перспективе нарастающего «безлесья» до пронзительной экологической эсхатологии высказываний о том, что «человечество обновится в Саду и Садом выправится» [Достоевский XXIII, 96 сл.].

Связь с идеологией до-севастопольских лет сквозит в монологе Князя из набросков к «Бесам», – в то же время передразнивающим фразеологию («этнографический материал») «России и Европы» Данилевского: «никогда еще мир, земной шар, земля не видали такой громадной идеи, которая идет теперь от нас с Востока на смену европейских масс, чтобы возродить мир. Европа и войдет своим живым ручьем в нашу струю, а мертвую часть свою, обреченную на смерть, послужит нашим этнографическим материалом» [Достоевский XI, 167]. Вся «мертвая часть» Европы назначается на ту роль «материала» для российской цивилизации, которую Данилевский отводил финским племенам. Но это – из речи героя, а в собственных черновиках Достоевский не устает отрекаться от «устарелого панъевропеизма». «Может ли кто верить в такую дряхлую мечту (что русские покорят Европу)». «Нет человека теперь в Европе, чуть-чуть мыслящего и образованного, который бы верил теперь тому, что Россия хочет, может и в силах истребить цивилизацию. ... Невероятно, чтобы не знали они, что Европа вдвое сильнее России, если б даже та и Константинополь держала в руках своих» [Достоевский XXIII, 185; 62].

Власть над Европой – идея «дряхлая», идея ушедшей эпохи. Но Достоевский лукавит: он сам постоянно возвращается к этой «дряхлой» идее, однако смещает ее в то неопределенное будущее, где Европа национальных государств будет расшатана социализмом (при этом крушение папских притязаний на светскую власть вызывает мысль о будущем переплетении «подрывной» работы католицизма с социалистическими движениями). Он, как и Тютчев, верит, что эти силы приведут к тому разложению, которое позволит России, до поры самоотстранившейся от западных дел, вернуться в Европу судьей, который, держа судьбу этого сообщества в своих руках, с православных позиций войдет в диалог с европейским социализмом. В этой временной дали «будущность Европы принадлежит России. Но вопрос: что будет тогда делать Россия в Европе?.. Россия решит вовсе не в пользу одной стороны; ни одна сторона не останется довольна решением» [Достоевский XXII, 122. XXIV, 147]. Однако, к тому столетию русские уже будут вполне самостоятельны и дистанцированы от европейских забот, обретая новую мощь, – и Достоевский не случайно в этой

связи выписывает слова «Восточные окраины и Сибирь» [Достоевский XXIV, 147]. Откат русских к востоку – ретардация сюжета, отсрочивающая и в то же время подготавливающая паневропеистский финал «русского суда». Восприятие европейского социализма как фактора, который в своей разрушительности работает в конечном счете на Россию, выливается у Достоевского в раздумья о русских «левых западниках», которые обнаруживали свою русскую сущность именно тем, что в Европе примыкали к революционным силам, то есть к потрясателям западной цивилизации. Достоевский их приветствует за это, правда, подчеркивая, что для полной стратегической последовательности им бы следовало сочетать революционность в Европе с консерватизмом применительно к России [Достоевский XXIII, 38–42. XXIV, 205].

Свое время Достоевский определяет как конец «эпохи прорубленного в Европу окошка», как время утраты столицами с их прикосновенностью к Европе особой просветительски-цивилизационной роли. Именно поэтому он связывает с этой фазой всплеск областничества [Достоевский XXIII, 6–7]. Но сама по себе эта фаза – лишь звено истории Восточного вопроса. По Достоевскому, Восточный вопрос родился «вместе с царством Московским» [Достоевский XXVI, 30]. Он формулирует его в различных местах по-разному, но неизменно этот вопрос выходит у него за пределы вопроса славянского. Разрешение Восточного вопроса России предстоит «после разрешения славянского вопроса». Точнее у России «есть кроме славянского и другой вопрос ... а именно Восточный вопрос», который разрешится лишь в Константинополе [там же, 81; 84]. «Восточный вопрос, то есть вопрос об объединении православия (и более ничего)» [Достоевский XXIV, 174]. «Весь православный Восток должен принадлежать православному царю, и мы не должны делить его (в дальнейшем на славян и греков)» [там же, 313]. Восточный вопрос – ключевой вопрос самосознания русских, как и у Тютчева [там же, 294; 302]. В конечном счете, этот вопрос был поднят в истории как альтернатива миродержавию католической церкви с ее претензией «вести человечество мечом». Восточный вопрос включает в себе потенцию панправославного мирового проекта, и славянский вопрос – лишь частная предварительная стадия на подступах к этому проекту. Понятно, что при таком видении Восточного вопроса он на самом деле и в Константинополе разрешен не будет: константинопольский вопрос в его исторической конкретике – такая же частность, как и вопрос о судьбе и назначении славянства; всё это подсюжеты, встроенные в сюжет пути к мировому панправославному единению для становления России миром и мира – Россией. В долгосрочной истории этой мировой трансмутации Достоевский предполагает четыре фазы. Фаза первая соответствует Московскому царству. «Древняя Россия была деятельна политически ... но она в замкнутости своей готовилась быть неправая». Она сочетала православный идеал с «деловитостью»: при «тощих средствах, малой густоте населения, отчужденности от мира других народов», она умела «блюсти и соблюсти государство, единство, торговлю, колонизацию». Этап второй: «через реформу Петра мы сами собою сознали всемирное значение наше» [там же, 183 сл.]. Однако самодовлеющий пафос «служения Европе» вылился в ложные зигзаги вроде «служения Меттерниху» [Достоевский XXVI, 171]. С Крымской войной эта вторая фаза кончилась. Намечается третья эпоха – возвращения России к себе, обретения ею вне Европы нового самосознания и новой мощи (тема русского Востока). Но эта эпоха подготавливает четвертую фазу финального русского возвращения в Европу, суда над нею и «собираения племен, тот акт, которым наш русский Восточный вопрос разрешится в мировой и вселенский» через крушение западного псевдохристианства (ср.: «Восточный вопрос есть в сущности своей разрешение судеб православия» [там же, 85; 199], «утверждение всемирности России»). От деятельной самозамкнутости

Московского царства через осознание всемирного положения России после Петра I – и далее через новое понимание своего назначения на неевропейских путях – к финальному вливанию Европы и всего христианского человечества в Россию, покоряющую к тому времени под свою руку мусульманский восток. Такова четырехфазовая хронополитическая историософия Достоевского, где современность предстает третьей фазой созидания восточного царства, предшествующей четвертому времени – хилястическому итогу мировых судеб (ср. [Достоевский XXIII, 46 сл.]). В этот долгосрочный сюжет встроен мотив второй, послепетровской эпохи как великого недоразумения, когда Россия отчаянно пыталась доказать себе и Западу свой европеизм; европейцам же эти попытки внушают страх видением чужеродной силы, пытающейся слиться с Западом, поглотив его [Достоевский XXV, 20–22]. Этот мотив, восходящий к опыту Священного союза, к истории с «Завещанием Петра Великого», у Достоевского исполняет двойную миссию: с одной стороны, он оправдывает «исход» России с Запада, размежевание двух человечеств. С другой же стороны, европейский страх перед русскими оказывается правдивым предчувствием того последнего решения Восточного вопроса, когда Россия станет над Европой миродержавным судьей. Идеология фазы С нашего первого стратегического цикла, осуществление надежд, видевшееся Тютчеву и Герцену столь близким, относится Достоевским в будущий век; в результате же время, предшествовавшее Крымской войне, по смыслу своему оказывается недоразумением, но недоразумением пророческим.

Любопытно, однако, что разрешение славянского вопроса и овладение Константинополем Достоевский вовсе не относит к эсхатологической, долгосрочной перспективе становления мира – Россией; славянская и константинопольская проблематика образуют у него особый среднесрочный сюжет, который таким образом входит в сюжет долгосрочный (четырёхфазный), что все эти проблемы, над которыми десятилетиями билась русская мысль, оказывается необходимым решить еще в фазе отстояния и отделения русских от Европы. Таким образом, в политической эссеистике Достоевского взаимодействуют два хронополитически разномасштабных сценария, которые объединяет тема кризиса католицизма как европейской сакральной вертикали и созидания вокруг России Восточного царства.

Среднесрочный сценарий организуется сюжетом заката Австрии и превращения Берлина в новый восточный центр Европы, чем резко изменяется непосредственный, ближайший смысл Восточного вопроса для России. «Восточный вопрос переносит центр тяжести; он не в Париже, не в Entente cordiale и даже не в Англии. Семя его перелетело вихрем обстоятельств на немецкую почву и что же в том, что он глубоко еще закопан в землю; природа возьмет свое и зерно даст рост. Восточный вопрос теперь в Берлине, да и всё теперь таится и гнездится в Берлине» [Достоевский XXIV, 163; ср. 171 сл.]. К Германии переходит былая австрийская роль в кризисной Европе, Австрия получает германскую поддержку для действий на европейском «корневом» юго-востоке. «Австрия, по-видимому, оставлена хозяйкой этого движения. Надобно же ее вознаградить за немецкие земли» [там же, 171]. Австрия возьмет «турецких славян. Одним словом, уж конечно, Берлин теперь – владыка Восточного вопроса, а не кто другой, а Россия пусть занимается Средней Азией и Берлин ее в том поощряет». «Таким образом ... совершенно уничтожается Восточный вопрос и становится берлинским вопросом... Австрия в Константинополе» [там же, 187]. Сталкивание России и мери<дионального германо-австрийского блока>.....

<Обрыв текста. Фрагмент рукописи утрачен. Примеч. ред.>

<Почти лишним элементом выстраиваемого Россией пространства оказываются славяне, слишком озабоченные> своей все не получающейся кооптацией в «коренную» Европу и готовые (в лице своей интеллигенции и политиков) добиваться этого, враждебно отталкиваясь от России. Если для Погодина 1840-х гг. антироссийский славянский фронт, создаваемый с западной подачи, выглядел катастрофой Империи, то Достоевский спокойно размышляет о вероятности славянского союза под эгидой оседлавшей проливы Англии [Достоевский XXIII, 113 сл.], о распространенной среди славян «затаенной недоверчивости к целям России, а потому даже враждебности к России и русским», о греческом и славянском элементах Юго-Восточной Европы «с огромными, совсем несоизмеримыми и фальшивыми мечтаниями» и готовностью в осуществлении этих мечтаний строить «союз и оплот против северного колосса» и т. д. [там же, 115–116]. Он готов признать вражду между «русскими» и «славянами» (именно так, а не между русскими и *другими* славянами) за «семейные ссоры», и вместе с тем для него славяне – «источник будущих несчастий России», вносящий к нам «начало раздора и разъединения» [Достоевский XXIV, 131; 288]. Он убежден, что в условиях сосуществования России и германо-австрийского блока славяне «первым делом будут подлизываться к Австрии и бранить и обвинять Россию», страшиться присоединения к ней [там же, 189; 137].

Отсюда его программа отношения России к славянам. Во-первых, «мы не можем раствориться в славянстве, мы выше» [там же, 131]. Во-вторых, Россия не должна присоединять к своему пространству ни клочка славянских земель, но исключительно наблюдать за их «свободой, согласиём и самостоятельностью», проводя здесь долгосрочную воспитательную работу – «делая им добро и проходя мимо», принимая как неизбежность всплески здесь вражды против нее [Достоевский XXIV, 131; 137. XXV, 100. XXVI, 81]. «Дело славянское есть дело русское и должно быть решено окончательно лишь одной Россией и по идее русской» [Достоевский XXIII, 151]. Это значит, что, вопреки Данилевскому, смысл существования России вовсе не состоит в утверждении славянства, но сами судьбы славянства имеют подчиненный смысл относительно русской Пан-Идеи, а во-вторых, славянам отводится роль политического лимитрофа с достойной свободой по отношению к России. Лишь в пору увлечения дележом Европейского полуострова между Россией и Германией он увлекается «все-славянской философией». По сути же славяне в его глазах образуют общинное окраинное соседство, окаймляющее Россию в пору ее отмежевания и отделения от Европы; цивилизационный же статус России не сводится к лингвистическому славянизму.

Поэтому понятно, что для него немислимо соучастие России во владении Константинополем с другими славянами, по Данилевскому, «если Россия им неравна во всех отношениях – и каждому народцу порознь и всем им вместе взятым» [Достоевский XXVI, 83]. «Долго еще не поймут теперешние славяне, что такое Восточный вопрос» [там же, 81]. Царьград должен достаться России не как столица всеславянства, а необходим ей помимо стратегического значения, как охранительнице православия. Но и в этом качестве он не мыслим как русская столица без того, чтобы не спровоцировать в ней жестокий кризис. «Царьград не Россия и не может стать Россией» [Достоевский XXIII, 49]. Там императоры русские перестали бы быть русскими, а стали бы императорами всего православия; эта идея была близка допетровскому Царству и не чужда даже Петру. Слова о том, что новая империя должна была бы выйти из России, «как из желудя выходит дуб» [там же, 199], заставляют вспомнить эмбриологическую метафору Тютчева. Но в этом случае инстинкт самосохранения грозил бы разделением и взрывом такой православной империи, ее географическим расколом. «Мощный великорус остался бы в отдалении на своем мрачном снежном

севере, служа не более как материалом для обновления Царьграда, и, может быть, под конец, совсем не признал бы нужным идти за ним. Юг же России весь бы подпал захвату греков. Даже, может быть (воспроизведя в более грандиозных формах русский раскол XVII в. – *В.Ц.*), совершилось бы распадение самого православия на два мира: на обновленный царьградский и старый русский» [там же, 48 сл.].

С ужасом обращается Достоевский к картине опустевшего, переставшего служить столицей Петербурга – к той картине, что когда-то радовала воображение Погодина: «множество домов без поддержки, без штукатурки, дыря в окнах – а посреди – памятник Петра» [там же, 199]. Не исключено, что мотив Петербурга как города-призрака, готового исчезнуть, оставив сторожащего болота и пустоши Медного Всадника (в «Подростке»), изначально связан с идеей геополитического переворота, влекущего за собой перенос столицы (предвосхищение картины покинутого правительством Петрограда в дни Гражданской войны). Наконец, Достоевский договаривается и до того, что «завоевание Константинополя теперь (сентябрь¹ 1876 г. – *В.Ц.*) было бы более губительно, чем полезно. ... Великорус может согласиться лишь на первенство, но греки как теперь немцы. ... И тогда ... уже не великорус будет первенствовать и вести, а дело православия, ибо славян, греков и великорусов (поразительный ряд, где великорусы противопоставляются одновременно грекам и славянам. – *В.Ц.*) могла бы связать в целом лишь весьма сильная идея, а только православие нет. И великорус, может быть, обособился бы, отъединился» [там же, 199]. Иначе говоря, Константинополь как столица породил бы кризис в отношениях между панправославной имперской идеей и геокультурной идентичностью русских и Россией, кризис, который бы разрушил православие и «всемирное» самосознание русских, отвратил бы их от их «призвания» и толкнул к самоизоляции от южных центров православия. Единственным возможным решением, по Достоевскому, может быть Константинополь – нейтральный город под исключительным покровительством России – метрополии православия, обретший статус ее окраинного владения. Такой ход прочно закрепил бы перефокусировку православия на север и вглубь материка, закрепив за Константинополем и южными православными землями, как и за славянскими областями, положение опекаемых окраинных зон цивилизации северного православия².

Берлинский конгресс и последовавшее за ним возрождение на новых началах «Союза трех императоров» совпали с двухлетним перерывом в издании «Дневника писателя». У Достоевского было время пережить крах надежд на русско-германское соглашение, которое бы позволило включить в «русское пространство» Константинополь, выход в Средиземное море и славянский (балто-балканский) порог Европы. Перед смертью поворот в геополитической мысли Достоевского становится очевиден; причем, поворот не прямо геостратегический, как у Данилевского («в Константинополь через Калькутту»), но более фундаментальный, охватывавший сам стиль геополитической имажинации. На то были и давние предпосылки. Еще в набросках от ноября 1875 г. (до начала своего «германского эпизода») Достоевский связывает судьбы южной линии Сибирской железной дороги с будущим Китая. Задолго до того, как тема «желтой опасности» заполонит русскую прессу, он предсказывает, что Китаю «достаточно только некоторого расширения кругозора и мысли или толчка от

¹ Цитируется «другая редакция» текста ДП за июнь (!) 1876 г. *Примеч. ред.*

² Собственно, лишь один раз Достоевский поколебался в этой установке – опять же, в пору своего наивысшего увлечения идеей германо-русской сделки, когда, увлеченный мыслью о якобы готовящейся перекройке Европы, он желал России «на некоторое время забыть хоть немножко Петербург и побывать на Востоке, ввиду изменения судеб ее и всей Европы, изменения близкого, стоящего “при дверях”» [Достоевский XXVI, 84].

реформ, несомненно имеющего последовать даже от самых первоначальных военных реформ (при которых не может не прийти сознание силы, сплоченности и единства), чтоб не догадаться, что кругом пустые и богатые земли, Сибирь не Средняя Азия, а их, китайцев, бесконечно много, чтоб не помыслить захватить эти земли. С первой военной идеей ... чтоб не догадаться, до какой степени эти земли слабы и незащищенны и даже в дальнейшем защищены быть не могут». Предрекая наступление модернизированного Китая на русский Восток «не сейчас, но, конечно, лет через 50», Достоевский делает на полях заметку «О Японии» [Достоевский XXIV, 83–84]. Тема опасности с Востока начинает переплетаться с размышлениями о восточных окраинах и границах в контексте обсуждения новых задач – задач эпохи российского пребывания вне Европы.

Другим стимулом интереса Достоевского к Азии стала его крутая полемика с заметкой либерала Л.А. Полонского в «Вестнике Европы» за 1876 г. В этой заметке автор предупреждал насчет вероятных волнений российских мусульман в случае войны с Турцией: «Беспокойство, обнаружившееся в некоторых местностях Кавказа, должно напомнить нам, что православный великорус живет в семье, что он не единственный, хотя и старший сын России». Эта заметка в западническом журнале вызвала у Достоевского яростный ответ насчет того, что политика России не может быть ориентирована на предпочтения инородческих групп. «Русская земля принадлежат русским, одним русским ... и ни клочка в ней нет татарской земли» [Достоевский XXIII, 127]. Однако, тогда же в набросках к «Дневнику» он записывает, что «пока существовала Казань, нельзя было предсказать, кому будет принадлежать европейская Россия: русским или татарам», а в самом «Дневнике» проскальзывают слова: «Я столько же русский, сколько и татарин» [Достоевский XXIV, 258. XXIII, 189]. Так намечается тема становления России из Азии, отступающей перед русскими и преобразуемой ими, России, крепнущей наступлением на Азию и господством над нею, при этом являющей новое качество по сравнению с азиатским строительным материалом.

В последнем подготовленном номере «Дневника писателя» Достоевский помещает статью, посвященную развернувшемуся под прикрытием «Союза трех императоров» наступлению России в Туркмении и занятию Геок-Тепе экспедицией Скобелева. Овладение Константинополем и проливами сдвигается в неопределенное будущее (не в то ли, где видится суд России над Европой?) Подготовкой же эсхатологического будущего должно стать низведение широты азиатских пространств и массы исламских народов под руку Белого Царя, распространение его власти на мусульманский мир, подготавливающее самих турок к занятию русскими Константинополя как неизбежному итогу этого шествия Империи в Азии. Вся эта статья – своего рода гео-идеологическое завещание Достоевского с ее декларациями о «мире-океане земли Русской, море необъятном и глубоком», о «понимании и смирении перед великой землей Русской, перед морем-океаном» (эта статья может рассматриваться как один из источников топики «континента-океана» у евразийца П.Н. Савицкого). С заметками 1876 г. ее объединяет один мотив – ожесточенное сопротивление тем энтропийным тенденциям, которые видятся Достоевскому в русском западничестве. Если в том году он спорил с призывами соотносить политику Империи с построениями и чувствами «инородцев», азиатского, неадаптированного человеческого материала, то в 1880–1881 гг. так же резко спорит с запугиваниями вроде «в Азию пойдем – сами азиатами сделаемся». В заметках того времени жестоки его нападки на западников-«редукционистов», чью логику он глумливо пародирует словами: «Окраины всё это вздор, всё это мелочи и с другого боку, всё мелочи, Россия до Урала, а дальше мы ничего и знать не хотим. Сибирь мы отдадим китайцам и американцам. Среднеазиатские владения подарим Англии. А там какую-нибудь киргизскую землю это просто забудем. Россия-де в



Европе, и мы европейцы и преследуем цели веселости. А более никогда и ничего, вот и всё» [Достоевский XXVII, 73]. Любое из этих решений – и в «России масса инородцев, а потому политика не может не учитывать их международных ориентаций и пестроты», и «в Азию пойдем, если азиатами сделаемся... Окраины – это вздор, всё это мелочи и с другого боку, всё мелочи» – бескомпромиссно отвергается Достоевским в пользу резко контр-энтропийного образа Империи Белого Царя, простирающейся по материку и охватывающей миллионы азиатов, придавая этим массам новую форму бытия. Становление России из Азии вопреки «азиатчине», в преодолении и переоформлении ее – в этом образе колониционно-цивилизаторский пафос вполне в духе наступившей колонизаторской интермедии европейского милитаризма слился с древней идеей Православного Царства, каковое, беря под свою руку массы неверных, подготавливает окончательное решение мировых судеб – в эсхатологической, четвертой фазе русской истории, по Достоевскому, куда после Берлинского конгресса сдвигается и решение константинопольской проблемы.

Осмысление Восточного вопроса в последней статье Достоевского и в его подготовительных заметках, несомненно, должно рассматриваться как одно из вершинных гео-идеологических самовыражений нашей первой евразийской эпохи.

VIII

Итак, каковы особенности геополитической мысли этого времени, когда Россия входит в свою первую евразийскую фазу, еще не предвидя ее подлинной продолжительности, а в 1870-х пытается вновь вернуться в Европу, но терпит поражение, чтобы вернуться к более глубокой проработке евразийской сюжетики?

Некоторые черты этой мысли прорезались уже на исходе Крымской войны, в «откатной» фазе D первого стратегического цикла. Таковы жесткая констатация П.А. Вяземского «Россия и Европа уже не одно, а два существа», два общества на отдельных пространствах, и его же мысль о том, что в новую эпоху Россия будет присутствовать в жизни Европы «своим отсутствием»; это тезис Погодина о необходимости для поворота России к Азии надежных буферов, которые бы прикрыли ее от Балтики до Дарданелл»; это замечания Вяземского и И.В. Вернадского о превращении «восточного вопроса» в «английский вопрос». Позднее А.Е. Снесарев, развивая эту мысль, заявит, что в этой фазе Англия фактически навязала России свое понимание Восточного вопроса; он становится вопросом англо-русского баланса сил и влияния вдоль евроазиатского приморья от Дарданелл до Китая, причем фокусом спора становится с английской подачи зона Центральной Азии, нависшая над Индией. Восточный вопрос, казалось бы, получал формулировку, при которой он перестал соприкасаться с вопросами европейского баланса, определяя кристаллизацию за пределами «коренной» Европы – новой евразийской конфликтной системы, потенциально осмысляемой как противостояние вне коренной Европы ее морского и континентального маргиналов.

Нельзя сказать, чтобы это видение в России стало общепринятым. Официально борьба все так же идет за черноморские проливы – настоящее «устье Днепра и Дона» (М.А. Терентьев). Угроза Индии мыслится огромным вспомогательным маневром, как, отчасти, и «сброс Аляски», но сама масштабность этого маневра ведет к тому, что тема Константинополя переосмыляется кардинально. С.В. Лурье отмечает очень точно: геополитическая игра России, обретя стратегическую виртуозность, утрачивает однозначную цель. Дело не только в том, что стремление к Константинополю в принципе перестает увязываться

с задачами реконструкции коренной Европы, с перестройкой ее по русскому проекту. Дискредитированной оказывается сама идея выноса российского центра на освобожденный от мусульманства порог Ближнего Востока, в преддверие Средиземноморья.

Лурье связывает это явление с «константинопольским комплексом» России, со страхом перед возрождением Второго Рима, обесмысливающим Третий Рим (вспомним нежелание Бисмарка интегрировать Вену – центр Первого Рейха – непосредственно в пространство Второго Рейха, собираемое вокруг Берлина). Лурье считает этот комплекс константой нашей Империи, полагая, что он проявлялся уже в политике Николая I. Однако, мы уже видели, гео-идеологии времен нашего первого европейского максимума этот комплекс чужд – идет ли речь о Тютчеве, Герцене или Погодине начала 1850-х: все эти авторы не страшатся шага, за которым им видится переход России, Европы и мира в целом в новое качество, исчерпывающее как эпоху европейского буржуазного модерна, так и существование Петербургской монархии. В новую эпоху «константинопольская опасность» становится предметом гео-идеологического дискурса, толкая к разработке сценариев, которые позволили бы встроить Царьград в российское или околороссийское пространство, не нарушая идентичности последнего, не порождая в нем цивилизационных и политических потрясений.

Данилевский оспаривал сакральность Константинополя и, стремясь избежать оттягивания этим городом сил России, не находит лучшего выхода, чем сделать его центром конструируемого Россией славянского Большого Пространства. Но поскольку, по логике его историософии, лояльность к этому пространству должна быть для самих русских выше лояльности к России, он в конце концов склоняется к тому, чтобы оставить Константинополь за турками, включив последних в российскую зону при разделе Евро-Азии. Тот же константинопольский страх сквозит и у Достоевского (связываясь с мотивом обращения Петербурга в город-призрак), и даже у позднего Погодина. Отстаивая панправославную трактовку Восточного вопроса, Достоевский приходит к заключению, что гармонично спаять русских, греков и славян в единое пространство могла бы лишь идея более мощная, чем православие в его исторической данности. В 1878 г. в записке Александру II Б.Н. Чичерин напишет о том, что «ни один здравомыслящий русский не думает о завоевании Турции и о присоединении себе Константинополя». Далее идут уже привычные аргументы насчет опасности ухода центра Империи на юг, утраты русскими своей мировой особенности и отодвигании их на второе место в Империи и т. д. с характерным заключением: «Если Россия должна оставаться Россией, она не может сойти со своего места и стать у Средиземного моря», – вызывающим у Александра II реплику «Совершенно справедливо» [Сказкин 1964, 418 сл.]. Как и Данилевский, Чичерин выступает против «преждевременного» изгнания турок с Балкан, влекущего за собою экспансию в этом регионе европейских великих держав, что опять же получит полное одобрение Александра II. Вопреки Данилевскому Милютин даже готов в 1880 г. нейтрализовать проливы общеевропейской опекой, чтобы тем самым прикрыть этот фланг евроазиатского англо-русского фронта (как на востоке тихоокеанский фланг укрепляла продажа Аляски). Второй Рим теряет свою эсхатологическую притягательность («близко есть, при дверях»).

Эпоха отмечена прощупыванием потенциальных евроазиатских пределов российского пространства, «русского дома», причем Царьград ощущается как участок этого пространства, где Россия уже определенно переходит в «не-Россию». В этом смысле другие направления меньше внушают тревогу, во всяком случае, авторы, испытывающие такую тревогу (перед «туранизацией» России), редко бывают способны ее строго аргументировать. Формулировка Р. Фадеева «Славянство или Туран» неубедительна ни для Данилевского, для



которого «Туран» относится к естественным владениям славянства в Евро-Азии, ни для Достоевского, который настороженно трактует мусульманские народы Империи как маргиналов Европы и потенциальных недругов России, одновременно рисуя величественную картину покорения и преображения православной Россией (на пути к Константинополю и к финальному суду над Европой) всей покоряющейся Белому Царю тюрко-мусульманской Азии. И в этом смысле очень интересен развернувшийся в первой половине 1880-х на страницах славянофильской «Руси» спор между Е.А. Марковым и И.С. Аксаковым по поводу взятия Мерва. Марков панически уверяет, что с момента русского выхода в XVI в. за Урал (Камень) «шаг за шагом, незаметно, каким-то роковым, будто невольным образом, оттянуло нас от себя самих, от Европы и европейского и утопило сперва по колени, потом по горло и теперь уже выше макушки ... в азиатчине, в дичи всякого рода. Да поможет же нам наш русский Бог избавиться с этой поры от всяких подобных приобретений!.. Пора, наконец, знать, где кончаются стены нашего дома и где начинается чужбина!» Ответ Аксакова сводится к тому, что на деле границы русского дома еще вовсе не определены, Россия «все еще не сложилась, все еще пребывает в периоде формации – формации даже внешней географической». Волга, которую Марков полагает «исконно русской» рекой – изначально река татарская, азиатская. «Русская» Волга с ее русской торговлей немислимы без серьезного российского контроля над Каспием и его азиатскими берегами. Точно так же Черное море есть продолжение русских рек, и его безопасность невозможна без замирения Кавказа. Контроль же над Кавказом и Каспием требует соглашения с Персией, если не сюзеренитета над нею. Как и для Достоевского, для И. Аксакова, Россия строится на землях, отвоевываемых, изымаемых у Азии, обретающих новый образ по мере того, как русским приходится «догонять лютую азиатчину до самых ее источников и тем ослабить, обезвредить ее навеки». Но точно так же и прямых контактов с Европой Россия не могла добиться иначе, как встав в непосредственные отношения к более просвещенному Западу помимо его ретивых аванпостов, то есть сокрушая буфера по его окраинам (польские, шведские, восточно-германские и иные). Черноморские проливы, юг Каспия, горная гряда по югу Средней Азии становятся, как и в модели Данилевского, единственно надежными пределами русского дома, на западе такой предел обозначает Галиция, позволяющая прочно опереться на Карпаты. Земли для «русского дома» должны быть отвоеваны у Азии и у окраинной Европы, надежна лишь та Россия, которая прочно обоснует себя и укрепит за счет не-России и недо-России.

Аксакова при всей яркости его пера оригинальным мыслителем считать трудно; скорее, он ярко озвучивает ряд тем, возникающих у авторов этого времени. Эта тема азиатской границы России, намеченная Венюковым, фактически ставящим русских перед выбором: либо держаться границы «ядровой» России по рубежам леса и степи, либо опереться на прочную южную гряду гор с охватом русской границей массы тюрк-среднеазиатов; либо ограничиться бассейнами рек, текущих к Ледовитому океану и омывающих русские леса, либо полностью охватить бассейны закрытых центрально-азиатских водоемов, приходящихся на степи и пустыни. Любое промежуточное, половинчатое решение может быть временным, давая подвижную полуоткрытую границу типа фронта. Работы Венюкова продемонстрировали крупнейший парадокс России, отличающий ее от европейских государств, где прочные территориальные разграничения тяготели к рубежам, разделяющим европейские нации. С эпохи выдвижения России в степи стремление утвердить на неевропейских направлениях твердые границы европейского типа, придать России на юге облик территориального государства неизбежно вело к перенасыщению ее инородческими элементами, к имперской полиэтничности. Если считать чертой национального

государства прочную очерченность границ, а атрибутами империи одновременно полиэтничность и мирообъемлющую «открытость», потенциальную готовность к охвату ойкумены, то применительно к России эти типологические приметы входили в явное противоречие между собою; она могла утвердиться как прочная территориальная держава, только дойдя до рубежей, при которых охваченная ею масса народов исключила бы возможность осмыслить Россию в качестве национального государства (но тогда не могло быть никакой гарантии, что эти рубежи станут окончательными; возникала опасность распада России в поликультурных и полицивилизационных протяженностях континента). Или стоило бы в конце концов вспомнить слова Венюкова о том, что <обрыв: небольшой фрагмент рукописи утрачен. *Примеч. ред.*> более органичной границы, чем на начало XVIII в., границы, идущей за районом евроазиатских сибирских лесов, Россия никогда не имела. Венюков очертил, с одной стороны, границу «России-Евразии», вобравшей в себя все земли, лежащие за пределами арабо-иранского Среднего Востока – географической цитадели мусульманской цивилизации. С другой стороны, контрэвразийскую границу «ядровой России», границу, имеющую характер фронта, мотивированного экологически и гидрологически окаймляющего ядро российской цивилизации – и тем самым отличающегося по сути от произвольных, конъюнктурных фронтов, которые, прочерчиваясь в XVIII – первой половине XIX в. в степях и пустынях Средней Азии, приближались к типу зыбких размежеваний между кочевническими империями (в ряде моих работ я трактую эти две границы, выделенные Венюковым, как границу России, вобравшей в себя междивилизационную Евразию, и, соответственно, границу противопоставленного этой Евразии коренного «острова России», притом, что сам доимперский «остров Россия» XVI–XVII вв. трактуется в соответствии с моделями Достоевского и Аксакова как восставший из окраинных, тюрко-монгольских, азиатских пространств, взорвавший их и поставивший на них новую цивилизацию).

Ясно, что в таких условиях именно с конца 1850-х по 1870-е гг. закладываются основы евразийского видения русской истории, причем в этом отношении не приходится недооценивать значение отечественной реакции на построения Ф. Духинского в духе «борьбы цивилизаций». В частности, Погодин в этом споре предельно внятно сформулировал вывод Духинского о том, что «великороссы, или москвитяне, есть вновь образовавшееся племя из смеси разных уральских племен – финнов, татар, турок, под влиянием немногих русских колонистов, уже после нашествия татар» [Погодин 1876, 415]. Педалируемая Духинским идея автономного пространства специфической «московитской» цивилизации, противостоящей цивилизации европейской (включающей и славянскую окраину), отвечала духу нашей евразийской интермедии. Двинско-днепровский барьер этой «московитской» цивилизации, по Духинскому, был принят и Горчаковым, и Р. Фадеевым за границу «ядровой России» (от сих и до Тихого океана). Причем, если Герцен принял эту делимитацию безоговорочно, вместе с оценкой русских как «плохих славян», которых именно тюрко-финская примесь спасает от европейского «загнивания», то Фадеев в страхе перед «туранизацией» России сделал в судьбах ее упор на балто-черноморскую полосу между ядровой Россией и ядровым Западом, объявив о судьбоносности для России этого цивилизационного «междумирья» (на деле функционально аналогичного «интервалу Венюкова» между зоной северных евроазиатских лесов – исконной нишей России – и окаймленным горными хребтами иранским Средним Востоком). Впрочем, либералы 1870–1880-х гг. колеблются между страхом перед «погрязанием в Азию» и призывами учитывать в политике настроение российских мусульман как «меньших братьев» в имперской семье. Достоевский, с отчужденной настроенностью относясь к славянам, поставил решение «константинопольского



вопроса» в связь с православным господством над тюрко-исламским миром вообще, а П.А. Вяземский еще в 1850-х додумался до «восточного» цивилизационного сродства славян (включая русских) и турок.

Так выстраиваются в эти десятилетия образы России с различением глубинного ядра (на западе очерченного Герценом и Фадеевым, на юге – Венюковым) через различные расширения и укрепления «русского дома» вплоть до различных версий «российской доктрины Монро», исключаящей романо-германский Запад, от которого эта доктрина требовала «не лезть в сферу нашей деятельности и оставить нас в покое» (И. Аксаков), вплоть до российского покровительства, по Данилевскому, всей континентальной Азии против Западного натиска с допуском отвлекающих дестабилизирующих ударов по Британской Индии, каковую, кажется, ни один их идеологов этой поры не включал в пределы русского мира даже в крайне расширенном его понимании. Очевидно, во всех этих смыслах потенциальное «пространство России» конструируется как обособление от «пространства Запада», противопоставленное ему и каким-то образом его уравнивающее, хотя физико-географические основания такого разделения прочерчиваются достаточно условно. Именно упор на геокультурном контрасте миров делает возможным, как у Достоевского, недоверие к славянам (даже к украинцам), трактуемым, прежде всего, в качестве «параевропейцев», и увлечение Азией как миром, который Россия должна переустроить, на его покорении и преобразении основав конечную свою судьбу: так resultируют драматичнейшие колебания Достоевского между пафосом подавления и уничтожения Азии («ни метра земли татарской», «халаты и мыло») и пафосом сродства с ней («я столько же русский, сколько и татарин») – resultируют мотивом перерождения Азии в русское «всечеловечество», тогда как отличием русских от славян, которые долго еще будут не способны понять смысл Восточного вопроса, намечается на западе различие между цивилизационным ядром и интервалами-лимитрофами.

Если горчаковская политика пытается следовать старому принципу российской заинтересованности в европейском балансе, то в трудах прото-евразийских гео-идеологов этот принцип претерпевает решительный пересмотр. Данилевский связывает строительство «славянского пространства» в континентальной Евро-Азии как Анти-Европы, противовеса Европе в рамках бинарной системы цивилизаций. При этом он формулирует причины заинтересованности России в поддержании Запада в состоянии неустойчивого контролируемого дисбаланса – и вместе с тем отмечает неизбежную зависимость устойчивости славянского пространства от политики прифронтовых государств, соседствующих по российскую сторону с ядровой Европой. Достоевский идет еще дальше, допуская прямую кооперацию России с восходящим Вторым Рейхом, вплоть до русского согласия на полную политическую германизацию Европы при условии уступки русским контроля над «Востоком» (причем, славянство оказывается независимым буфером). В конце концов он доходит до идеи возрожденного союза России с восходящим германским центром Европы против западного центра, присоединяющего к себе Англию: вариант, в общем, несколько раз намечавшийся в 1870-х и 1880-х, но сорвавшийся отчасти из-за горчаковского страха перед германской гегемонией, главным же образом, из-за резкого расхождения трактовки положения Балкан и Восточной Европы в рамках российской и германской картин мира. Лучше всего оценил это расхождение Р. Фадеев, предсказав устремление германского блока к Черному морю и его ставку на полную «туранизацию» России (впрочем, и Достоевский в черновиках допускал такое развитие). Таким образом, Восточный вопрос становится вопросом преимущественно «берлинским» или «английским» в зависимости от того, рассматривается ли он по преимуществу в

рамках балто-германского (resp. балто-балканского) пространства или в рамках евро-азиатского англо-русского противостояния, – собственно, в зависимости от того, рассматривается ли Юго-Восточная и Центрально-Восточная Европа как часть русского пространства.

Наиболее всесторонние итоги первого периода нашей первой евразийской фазы попытался подвести Венюков в его эмигрантском памфлете «Исторические очерки России со времени Крымской войны до заключения Берлинского договора». Он констатировал 1) резкое умаление русского влияния в Европе («стоит ныне ниже, чем пятьдесят лет назад»); 2) содействуя выращиванию единой Германии, Россия, оказывается, охвачена германским давлением на Западе и английским на Востоке (Тихий океан); 3) германское сообщество все полнее берет под контроль и Черноморские проливы, и Балтику; 4) Россия достигает на азиатском материке своих вероятных окончательных пределов, получая возможность устроить на совершенно дружеских началах свои отношения ко всем азиатским силам, кроме Турции и Англии; 5) однако, по Венюкову, у России якобы все еще нет настоящей азиатской политики из-за «неведения правительством его азиатских интересов и ... предпочтения им европейских, часто притом ложно разумеемых»; 6) один из таких ляпсусов – попытки ублагоустроить Англию: между тем, «войну с Англией можно отсрочить, но избежать ее нельзя, и обязанностью русского правительства отныне становится готовить ... ее успех» заключением прочных союзов с естественными врагами Великобритании (Соединенные Штаты, передачу коим Аляски Венюков одобряет), изучением ее положения в Индии и в колониях, созданием сильного наступательного флота и т.д. [Венюков 1878а, 382–387]. Итак, предлагается сосредоточение на евроазиатской борьбе с Англией при уступке балто-черноморского преобладания германскому блоку, несмотря на всю угрозу с его стороны.

Поразительно заключение Венюкова о том, что Россия после Крымской войны не может считаться мировой державой, поскольку ее деятельность не сказалась в Африке, Австралии и большей части Америки. Как если бы в пору нашего европейского максимума Россия оказывала влияние на эти части света (за исключением стратегически совершенно непонятной и неиспользованной Русской Америки). По сути, именно после Крымской войны роль России впервые начинает поверяться ее отношением к материковой и приморской Азии, что и побуждает ее гео-идеологов всерьез задуматься о внешнем поясе территорий, колонизируемых европейцами, в особенности Англией (это уже подступ к моделям окруженного водами Срединного Мира или Мирового Острова, по Ламанскому и Маккинтеру, переходящим в парадигмальную геополитику XX в.). Тем самым конституируется мировая роль России вне Европы, не только определяющая российское присутствие в Европе через отсутствие в ней (по Вяземскому), но и привлекающая к России интерес представителей неевропейских цивилизационных сообществ.

Если наш европейский максимум отзывался на Западе то пугающими, то соблазнительными видениями российско-европейской универсальной монархии, то теперь английские авторы, намного опережая и как бы провоцируя русских, муссируют идею российского вторжения в Индию. Одновременно отец пантюркизма Исмаил-бей Гаспринский намечает контуры проекта, который он позднее назовет «русско-мусульманским соглашением». По Гаспринскому, «разрозненные ветви тюрко-татарского племени, в свое время единого и могущественного, постепенно переходят под власть России и делаются ее нераздельной составной частью. ... Рано или поздно границы Руси заключат в себе все тюрко-татарские племена и в силу вещей ... должны дойти туда, где кончается населенность тюрко-татар в Азии» [Гаспринский 1993, 17]. В свое время татарское господство «охранило Русь от более сильных чужеземных влияний



и своеобразным характером своим способствовало выработке идеи единства Руси» [там же, 25]. При этом, отмечает Гаспринский, русские как государственные строители минимально способны к ассимиляторству, скорее, они ассимилируются сами, «поддаваясь влиянию окружающих инородцев, перенимая их язык, без оставления, конечно, своего, также как и некоторые обычаи, поверья и одежду» [там же, 38]. «России суждено будет сделаться одним из значительных мусульманских государств, что, я думаю, нисколько не умалит ее значения как великой христианской державы. ... Рано или поздно русское мусульманство, воспитанное Россией, станет во главе умственного развития и цивилизации остального мусульманства» [там же, 18; 45]. Наша евразийская фаза обобщается в воображении российского пантюриста идеей России – «великой мусульманской державы», общей отчизны тюрков, когда-то у них почерпнувшей свою государственную идею и поднимающей их до роли авангарда мирового мусульманства.

Со стороны русских попытки религиозно осмыслить такое строительство, как у Достоевского, намечаются с определенным запозданием. Лурье склоняется к мысли о том, что в эту пору «константинопольский комплекс», вырывающийся на поверхность гео-идеологии, и все более усваиваемые «английские видения» Восточного вопроса в принципе дискредитируют принцип нашей Империи как универсального православного государства, стремящегося к умножению и политическому самоутверждению православного народа, к освобождению древних православных областей и внедрению православия в области, ранее им не охваченные. По Лурье, эта программа терпит крушение из-за попыток приспособить ее к строительству российского государства. Константинополь внушает страх превращением России в периферию воскресшего Второго Рима; в старых христианских областях (Грузии, Армении) к власти приходят национальные элиты, энергично противящиеся их русификации. Принцип утверждения русского центра берет, по Лурье, верх над служением православной идее, универсализм Империи подрывается отстаиванием самоидентичности (постоянное напряжение между «русскостью» и «всемирностью» у Достоевского, ведущее к отождествлению «всемирности» с «русскостью» в потенции, с предвидением Пан-Идеи, которая смогла бы сплотить православный мир, став «больше» православия, и определила бы российский «суд» над Европой). Еще курьезнее, что, распространяя свою власть на казахские степи и Среднюю Азию, Россия фактически отказывается от насаждения здесь православия, все более сохраняя за ним статус узко-национальной религии, применительно же к владениям подменяя его, с одной стороны, расплывчатым принципом «христианской цивилизации» (отождествляемой западниками с расплывчатым «европеизмом для Азии»), а с другой стороны, попечительством о традиционных религиях всех подданных Империи. Как отмечает Лурье, такая стратегия объективно ведет к исламизации народов, до тех пор не охваченных влиянием этой религии, широкому использованию ислама как средства дистанцирования от России наряду с подчеркиваемым в «России и Европе» Данилевского пафосом вхождения в Европу помимо России и в обход ее. Страх туранизации, которому контревразийская реакция, собственно, не могла ничего противопоставить, кроме попыток, «преследуя цели веселости», вернуться в «Европу до Урала» (Е. Марков) или попытаться переопределить российскую идентичность через упор на славянские пространства между Германией и Днепро-Двинским барьером, сродство которых с Россией выглядит все более сомнительным. Позднее евразийцы, принимая за идеал России империю в тех границах, <Здесь текст обрывается, вариант: прямо сделают ставку на «туранизацию» России как неизбежное следствие выхода Империи за пределы своей ниши и одновременно ее отрыва от славянских пространств на Западе. Примеч. ред. >.

Литература

- Бисмарк II – *Бисмарк О.* Мысли и воспоминания. Т. 2. М., 1940.
- Венюков 1873 – *Венюков М.И.* Опыт военного обозрения русских границ в Азии. [Вып. 1]. СПб., 1873.
- Венюков 1875 – *Венюков М.И.* Краткий очерк английских владений в Азии. СПб., 1875.
- Венюков 1877 – *Венюков М.И.* Поступательное движение России в Средней Азии. СПб., 1877.
- Венюков 1878 – *Венюков М.И.* Очерк политической этнографии стран, лежащих между Россией и Индией. СПб., 1878.
- Венюков 1878а – *Венюков М.И.* Исторические очерки России со времени Крымской войны до заключения Берлинского договора: 1855–1878. Т. 1. Лейпциг, 1878.
- Вернадский Г. 1914 – *Вернадский Г.В.* Против солнца: Распространение русского государства к востоку // Русская мысль. 1914. Кн. 1.
- Гаспринский 1993 – *Гаспринский И.* Россия и Восток. Казань, 1993.
- Герцен XIII – *Герцен А.И.* Собрание сочинений в 30 т. Т. 13. М., 1958.
- Герцен XIV – *Герцен А.И.* Собрание сочинений в 30 т. Т. 14. М., 1958.
- Гильфердинг 1868 – *Гильфердинг А.Ф.* Собрание сочинений. Т. II. СПб., 1868.
- Григорьев 1867 – *Григорьев В.В.* Кабулистан и Кафиристан // *Риттер К.* Землеведение Азии: География стран Азии, находящихся в непосредственных сношениях с Россией. Кабулистан и Кафиристан. СПб., 1867.
- Данилевский 1890 – *Данилевский Н.Я.* Сборник политических и экономических статей. СПб., 1890.
- Данилевский 1991 – *Данилевский Н.Я.* Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. М., 1991.
- Долинский 1865 – *Долинский В.Л.* Об отношениях России к Средне-Азиатским владениям и об устройстве киргизской степи. СПб., 1865.
- Достоевский XI – *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 11. Л., 1974.
- Достоевский XXII – *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 22. Л., 1981.
- Достоевский XXIII – *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 23. Л., 1981.
- Достоевский XXIV – *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 24. Л., 1982.
- Достоевский XXV – *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 25. Л., 1983.
- Достоевский XXVI – *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 26. Л., 1984.
- Достоевский XXVII – *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 27. Л., 1984.
- Замятин 1998 – *Замятин Д.Н.* Моделирование геополитических ситуаций. (На примере Центральной Азии во второй половине XIX века) // Полис. 1998. №№ 2 и 3.
- ИВПР 1997а – История внешней политики России: Вторая половина XIX века. (От Парижского мира 1856 г. до русско-французского союза). М., 1997.
- ИД II – История дипломатии. Изд. 2-е. Т. 2. М., 1963.
- Маркс XXXII – *Маркс К., Энгельс Ф.* Полное собрание сочинений в 50 томах. Т. 32. М., 1964.
- Мартенс 1880 – *Мартенс Ф.Ф.* Россия и Англия в Средней Азии. СПб., 1880.
- Мельгунов 1974 – *Мельгунов Н.А.* Мысли вслух об истекшем тридцатилетии России // Голоса из России: Сборники А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Выпуск первый (книжки I–III). Факсимильное издание. Кн. I. М., 1974.



- Мельгунов 1976 – *Мельгунов Н.А.* Россия в войне и в мире // *Голоса из России: Сборники А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Выпуск второй (книжки IV–VI). Факсимильное издание. Кн. IV. М., 1976.*
- Милютин III – *Милютин Д.А.* Дневник: 1878–1880. Т. 3. М., 1950.
- Нессельроде 1872 – *Нессельроде К.В.* О политических соотношениях России // *Русский архив. 1872. № 2. Стлб. 337–344.*
- Погодин 1874 – *Погодин М.П.* Историко-политические письма и записки в продолжении Крымской войны: 1853–1856. М., 1874.
- Погодин 1876 – *Погодин М.П.* Статьи политические и польский вопрос (1856–1867). М., 1876.
- Потанин 1907 – *Потанин Г.Н.* Областническая тенденция в Сибири. Томск, 1907.
- Потанин 1987 – *Потанин Г.Н.* Письма ... Т. 1. Иркутск, 1987.
- Сборник 1881 – Сборник, изданный в память двадцатипятилетия управления министерством иностранных дел государственного канцлера светлейшего князя А.М. Горчакова: 1856–1881. СПб., 1881.
- Сибирь 1893 – Сибирь и Великая Сибирская железная дорога. СПб., 1893.
- Сказкин 1964 – *Сказкин С.Д.* Дипломатия А.М. Горчакова в последние годы его канцлерства // *Международные отношения. Политика. Дипломатия. XVI–XX века: Сборник статей к 80-летию академика И.М. Майского. М., 1964.*
- Скобелев 1882 – Посмертные бумаги М.Д. Скобелева: I. Письма с кашгарской границы (1876) [Письмо к К.П. фон-Кауфману от 9 августа 1876 г.] // *Исторический вестник. 1882. № 10.*
- Скобелев 1883 – Проект М.Д. Скобелева о походе в Индию [Письмо кн. Черкасскому от 27 января 1877 г. из Коканда] // *Исторический вестник. 1883. № 12.*
- Снесарев 1906 – *Снесарев А.Е.* Индия как главный фактор в средне-азиатском вопросе: Взгляд туземцев Индии на англичан и их управление. СПб., 1906.
- Терентьев 1875 – *Терентьев М.А.* Россия и Англия в Средней Азии. СПб., 1875.
- Терентьев 1876 – *Терентьев М.А.* Россия и Англия в борьбе за рынки. СПб., 1876.
- Терентьев 1906 – *Терентьев М.А.* История завоевания Средней Азии. Т. 2. СПб., 1906.
- Тэйлор 1958 – *Тэйлор А.Дж.П.* Борьба за господство в Европе: 1848–1918. М., 1958.
- Фадеев 1889–1890 – *Фадеев Р.А.* Собрание сочинений в 3 т. Т. 2. Ч. 2: Наш военный вопрос. Восточный вопрос. СПб., 1889–1890.
- Чичерин 1906 – *Чичерин Б.Н.* Восточный вопрос с русской точки зрения // *Трубецкой С.П.* Записки. СПб., 1906. Приложение.
- Prêt 1892 – Prêt C.A.* La lutte des civilisations et l'accord des peuples d'après les travaux ethnographiques de F.-H. Duchinski (de Kief) ... Paris, 1892.

Аннотация. Диссертацию под названием «Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XIX вв.» на соискание степени доктора философских наук Вадим Цымбурский писал примерно в 1997–2003 гг. Ученому не удалось завершить свой труд, но его фрагменты сохранились в рукописи. В пятой главе диссертации «Первая евразийская эпоха России: от Севастополя до Порт-Артура» ученый провел анализ геополитической мысли той периодически повторяющейся эпохи имперской политики России, которая характеризуется временным откатом после натиска на Европу и сосредоточением внимания на восточных рубежах России. В главе подробно рассказывается о геополитических воззрениях таких знаменитых авторов этого времени, как Федор Достоевский, Николай Данилевский, Александр Герцен, Ростислав Фадеев и др.

Ключевые слова: евразийская интермедия, Балто-Черноморье, европейская bipolarность, балканский вопрос.

Vadim Tsymbursky (1957 – 2009)

Morphology of Russian Geopolitics. An excerpt from the book. Chapter Five. First Eurasian Epoch of Russia: from Sebastopol to Port-Arthur

Abstract. Vadim Tsymbursky made his PhD thesis «The Morphology of Russian Geopolitics and the Dynamic of International Systems of XVIII–XX centuries» in about 1997–2003. He could not complete his work but he left some fragments of it in manuscript. In the fifth chapter of thesis entitled «The first Eurasian interlude: from Sebastopol to Port-Arthur» the scholar made the analysis of the geopolitical thought of this period of time which was periodically repeated in the Russian history. This period is characterized by temporary backwash after the Russian onslaught on Europe and concentration on the eastern borders of Empire. The chapter describes in detail geopolitical views of prominent authors such as Fyodor Dostoevsky, Nikolai Danilevsky, Alexander Herten, Rostislav Fadeev etc.

Keywords: Eurasian interlude, Baltic-Black Sea region, European bipolarity, Balkan question.



*Г.О. Павловский
Маргиналии о геополитике
(При чтении диссертации В.Л. Цымбурского
«Морфология российской геополитики и динамика международных
систем XVIII–XX вв.»)*

*А.А. Тесля
Мелочные заметки*

Маргиналии о геополитике

(При чтении диссертации В.Л. Цымбурского
«Морфология российской геополитики и динамика
международных систем XVIII–XX вв.»)

У меня есть задолженность перед покойным Вадимом Леонидовичем, о которой, кажется, я так ему и не сказал. В 1994 году он заочно помог мне связать воедино разрозненные и оттого несносные для ума впечатления от событий в России. Перед тем была мучительно долгая пауза 1991–1993 годов, когда я не готов был встретиться с реальностью напрямую. Октябрь 1993 года опустошил словарь, оставив злые, только публицистически выразимые чувства. Но публицистика к этому времени уже была бесполезна – худшее произошло, и неожиданно для себя я попал в рабство *данному*. Нас поработил ход вещей, который мы не могли изменить, хотя отказывались принять. Больше интеллектуальной отчужденности и вражды к политическому статус-кво, чем в 1993–1994 годах, я, наверное, не испытывал ни разу в жизни. Но это был бесплодный рессентимент, да и мстить, собственно говоря, было некому. Онемение не поддавалось дискурсивной атаке – спорить стало не о чем и не с кем. Страну будто населяло несколько разных народов, отказавшихся говорить друг с другом.

Меня, все еще известного публициста, часто упрашивали «что-нибудь написать» – но я не мог. Начиная, захлебывался собственной желчью и бросал недописанным. В один из таких моментов – шел конец лета 1994 года – я еще раз попытался заставить себя писать. Чтобы от чего-нибудь оттолкнуться, взял номер журнала «Полис» и вышел на балкон. Читая эссе В.Л. Цымбурского «Остров Россия», я поглядывал вниз, во двор в одном из солнцевских микрорайонов.

И неожиданно для себя увлекся этой довольно большой и ученой статьей с солидным справочным аппаратом. Впечатления от чтения странным образом смешивались со звуками, доносившимися снизу со двора, но не нарушали хода мысли – ни моего, ни статьи Цымбурского. Вид с балкона, устрашающий, как и положено московской разрухе 1994 года, вдруг предстал ландшафтом «беловежской» России, одновременно устрашающей – и нормальной, живой. Теоретически зная, что новая норма часто приходит жуткой, прежде я, видимо, не соглашался с этим. Цымбурский писал о России, не отводя взгляда, но как бы чуть искоса, не придавая значения публицистически явным уродствам. И не я, а мой мозг ощутил призыв взглянуть на вещи прямо, не горбясь от груза русских катастроф. Преступления совершены и уже развернулись в ландшафт; этот ландшафт теперь лег перед нами как новое место жизни, предмет мышления и заботы. «Там была свобода, и жили другие люди, совсем не похожие на прежних, там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стада его».

Это был интеллектуально освобождающий для меня момент. Меня не привлекла собственно геополитическая рамка статьи Вадима Леонидовича, но вдохновил холодный энтузиазм его мысли, непринужденно переходящий в

Павловский Глеб Олегович, политолог и журналист.

текст. Его постоянные **«давайте приглядимся к этому поближе»** диктовали курс любой будущей речи о России, открывая ее возможность. Непосредственным результатом стало то, что я «заговорил»! Прямо с этого дня я стал писать свое эссе «О беловежских людях», вошедшее (вместе со статьей самого Цымбурского) в сборник «Иное» под редакцией Сергея Чернышева.

Здесь сработала интуиция еще одного скрытого мотива статьи Цымбурского. Мотива, в котором я тогда, по всей видимости, нуждался, как в витамине, – мысль о **праве вмешаться** в процесс, идущий помимо тебя и, по твоему пониманию, незаконно. Собственно, мотив выражен открыто странной фразой в конце статьи «Остров Россия»: «Для России сейчас очень хорошее время, дело только за политиками, которые это поймут». Тут я вернулся в обычное для себя состояние ума – когда любую отвратительную ситуацию разглядываешь с интересом, как при рекогносцировке. Отсюда уже совсем недалеко до философии «эффективной политики», которой я вскоре увлекся.

Но тогда, в 1994 году, собственно *геополитическое* содержание этого великолепного эссе ничуть меня не увлекло. Не увлекает оно меня и сегодня. Читая неоконченный труд В.Л. Цымбурского, я пытался уяснить, что именно не нравится мне в геополитике. Эти заметки-маргиналии на полях незавершенной научной работы – мое жалкое приношение покойному другу.

1

Что является исходным пунктом нашего политического мышления об актуально происходящем? То, что мы не способны его мыслить, располагая будто бы всеми прежними средствами и инструментами мышления. Мы описываем свое отношение к текущему, обозначая его как «ситуацию», «современное положение». Но всё это ведь ничуть и нисколько не ситуация. Однако события как-то развиваются, и нам надо взглянуть на них в упор.

Цымбурский хотел уйти от проклятой приблизительности и метафоричности бесчисленных «взглядов на Россию» – но так, чтобы не попасть самому в объятия так называемой научности, которая фактически выступала в РФ как импорт терминологических лексиконов. Он хотел помочь русским действовать в интересах России, вразумительным образом действовать государственно. Для этого нужно было найти опору этим будущим решениям. Первым ходом многих, столь разных в 1990-х, как, например, я и Цымбурский, был: строить «теорию, дающую советы власти». Отсюда геополитика Цымбурского, отсюда же и то, что я называл в 1990-х то «прикладной политологией», то «исторической технологией».

В сущности, Цымбурский ведет поиск критической теории о России. То есть теории, которая не будет разнесением проблем России по отраслям – с дроблением, теряющим целое, открывая путь для манипуляций. Где каждый может выбрать более удобную ему теорию, а выгода маскируется под выбор концептуальной школы: таковы «институционализм», «монетаризм» и т. п.

Ядро геополитики по Цымбурскому – это «искусство наложения еще не вполне проясненных для общества кратко- и среднесрочных требований на тысячелетние ... ландшафты». Не исключено. Но именно здесь требуются разъяснения, поддающиеся верификации.

2

Жестокий Цымбурский не удержался от того, чтобы в пику тезису геополитика Спайкмена о географии как самом постоянном факторе политики напомнить реплику Людовика XIV при восхождении Бурбона на испанский престол: *«Нет больше Пиренеев!»*. Собственно говоря, вот – кратчайший ответ политики на геополитику.



*

Страны-кубики. У В.Л. Цымбурского ссылка на Паркера, который рассматривает мир из отдельных «государств-кубиков». Геополитика же – «учение об узорах и структурах, которые могут быть из них сложены». Здесь мы опять встречаемся с идеей приравнивания реальной политической – то есть внутренней – жизни нации и полисов к константе, к гомогенному наполнителю структуры «вечных интересов».

Цымбурский говорит о парадоксе Российской империи, которая на подъеме выстраивает свое мировое место в мире, уже выстраиваемом *другой* – европейской цивилизацией, носительницей «другого» христианства. Отчасти верно, но «другое» здесь действует как значок уравнивания в заданной наперед конфронтации. Работает геополитическое спрямление – фиксации миров в их раз и навсегда заданном значении: Запад есть Запад – Восток есть Восток, католичество не есть православие и т.п.

Трудно отделаться от впечатления, что геополитическое мышление представляет собой радикальный разрыв с христианским мышлением о государстве. Геополитика – антиуниверсальна, и выстраиваемые ею схемы под «центрами» обычно понимают автономные миры. Эти миры не самодостаточны лишь в силовых схемах относительно друг друга, представляясь самодостаточными внутренне.

Пространство выступает внешним по отношению к истории этих миров, как бы заранее им предначертанное, а не проблематизирующее. Смысл борьбы за это стерильное пространство разъясняется через такие же самозамкнутые стерильные понятия «выхода к морям», «незамерзающих портов», «буферных пространств».

*

Геополитика и застывшие мысли. Геополитик вечно рассуждает об «обеспечении положения» и «закреплении преимуществ». При этом, как правило, речь идет о неразложимых ментальных атомах, ибо на деле никакие положения, предместья, коридоры и тем более безопасности – не бывают ни вечными, ни даже долговременными. В этом смысле геополитика – одно из худших хобби для серьезного политика и дипломата. Но это наводит на мысль, что бесконечные «пространства», которые конструирует и деконструирует геополитик, подобно ребенку, увлекающемуся лего-трансформерами, – *скрыто технологично* и близко к идее устойчивой конфигурации техник, операций и представлений о ресурсах. Отчасти то, что Фуко вкладывает в термин «диспозитив».

Сюда же относятся и термины, которыми буквально измучивают мозг читателя геополитические тексты: «естественные границы», «естественные союзники» и «естественные пределы». Всё это – транквилизаторы, убалтывающие аналитический мозг, будто бы он приобрел немислимую возможность прямо созерцать реальность as is.

*

Мотивы действий внутри геополитической игры спрямляются – чего никогда не позволяет себе добрый историк. Если политик совершает геополитически значимый ход, это почти никогда не объясняют внутренними обстоятельствами (которыми чаще всего это и объясняется), а игрой на глобусе – созданием угрозы другим «мирам», в рамках той или иной Большой игры. Но почему это вообще геополитика, а не история дипломатии?

*

Геополитика и Weltpolitik. Интересно обращение геополитики с понятием «мирового», отмеченное Цымбурским в связи с Маккиндером. Неотъемлемой от

геополитики он считает доктрину «евроазиатского хартленда как ключа к мировому господству». Можно предположить в геополитике убежище для неудачливой *Weltpolitik*. Геополитика скрывает мировое измерение политик, которыми хочет манипулировать, по возможности не упоминая про «управление миром».

Отсюда такой признак вторичности, как **«вчитывание»** образов-корректировок в изменения текущей политики. Такова идея мирового «осевого ареала» Маккиндера, высказанная в 1943 году, в год явного уже перелома в ходе Второй мировой войны. А перед тем – вчитывание Хаусхофером концепции раздела мира по «меридиональным гегемониям» (пан-Европа, пан-Азия, пан-Россия и пан-Америка) – в 1934-м, когда вся Европа была одержима модой гегемонии и господств.

Вообще идея «господ и господств» абсолютно интимна для геополитики. Опять-таки сошлюсь на Цымбурского с идеей «приморья-римленда как инкубатора держав – мировых господ», выдвинутой в 1916 году Семеновым-Тянь-Шанским и также отнесенной Цымбурским к числу ключевых для геополитики. Всякий раз мы находим почти мгновенную проекцию моды на глобус.

*

Центры и «лагеря» в геополитике. Сквозное у Цымбурского, но отнюдь не только у него – рассуждение о сближениях и вражде разных мировых «лагерей». Но этот архаизм из военного лексикона стал осмысленным политическим термином только после Ялты, в эпоху холодной войны XX века. Коалиции прежних времен были текучи и подвижны, они не были зафиксированными на глобусе лагерями, зорко отслеживающими любое проникновение в свою зону. Внутри геополитики понятие «центра влияния» и «лагеря» постоянно является фактической модернизацией, навязывающей современные страсти другим эпохам – а точнее, вчитывающей их туда.

*

Геополитика и этатизм. Цымбурский верно отмечает неприятное свойство, о котором геополитики не любят говорить прямо, – ее махровый *этатизм*.

Проблема геополитического этатизма – даже не в ставке на государство как ценность, а в нерелевантно-женственном очаровании государством – при отказе твердо указать, какие именно задачи ему должно решать. Этатизм подставляет государство как **разрешение** задач стратегической повестки дня – на место самой *agenda*. Но тогда государство лишается разработанного курса политики, переходя на самообслуживание власти – в которое с радостью включается невостребованный геополитик. Это не приводит к росту необходимых компетенций.

И я еще раз склоняюсь перед критической пронизательностью Вадима Цымбурского, который констатирует: «Геополитик обычно выбирает в качестве главного определенное политическое отношение – господство, соревнование или кооперацию, на которые делает основную ставку в своих конструктах». **Господство** (его мы при проектировании новой власти с Александром Ослоном во второй половине 1990-х годов именовали обычно **«доминированием»**) в личности не нуждается. Личность в поле конструирования геополитики отсутствует – в отличие даже от полицейского или правового этатизма. Со временем это скажется на выветривании последних представлений о суверенитете личности внутри суверенной России. А также – на выветривании традиции, кровно связанной с идеей свободной, критически мыслящей личности – то есть русской политической республиканской традиции.

Здесь справедлив приговор Цымбурского такой геополитике как деятельности, которая «имитирует процесс принятия политических решений, а



иногда прямо включается в этот процесс». Добавлю, что включение в процесс происходит на третьестепенных ролях.

Есть ли вообще в геополитике что-либо кроме этого?

3

Цымбурский конструирует российскую геополитику «в ранге второй парадигмальной геополитики» наряду с западной – классической школой геополитики XX века. Россия превращается в родину восточных геополитических слонов. В этом не было бы ничего невозможного, если бы западная геополитика давала связное представление политики Запада и его дипломатии. Проблема, однако, в том, что такое толкование явно проще и разумнее искать у Макиавелли, Токвиля и Киссинджера, чем у Маккиндера, Хаусхофера или Данилевского.

Политика и история Европы – вот ее истинный ландшафт.

*

Геополитика России занята проектированием «большого пространства России», притом что российское пространство уже сложилось, фактически без всякой геополитики.

Цымбурский постулирует единый импульс к конструированию «своего особого российского пространства из земель, которые обретались бы за пределами коренной Европы, не входя в ее расклад, – или могли бы быть изъяты из этого расклада». Справедливое и глубокомысленное суждение. Но ведь всё это происходит уже внутри большого пространства Московской Руси – России, создавшегося вне какого бы то ни было конструирования тектоническим импульсом XVI–XVIII веков.

Пространство России отождествляется с географическим пространством ее (в виде ли империи, СССР и т.п.), нивелируя центральность метаполитической задачи *держания пространства*, – инструментом которого и стал «социум власти» по Гефтеру. Его «конструирование» велось средствами колонизации властью своего же населения внутри российской Гипербореи, рухнувшей на Москву вслед нашествию Степи.

*

Российские циклы. В.Л. Цымбурский очень дорожил выявленными ими циклами «сжатия и расширения» и вообще геополитического ритма системы Европа – Россия. Действительно, мало кто вообще из рассуждавших о России в последние сто – двести лет не замечает странной повторяемости. Она часто вынуждает говорящего к уточнению – например, что «шестидесятиничество» XIX века – это не «шестидесятиничество» XX века, а Крымская война – не конфликт с Украиной в 2014 году. Разумеется, этот возвратный ритм России, череда обратимостей важны и должны быть разъяснены. Но разъяснит ли его **портретная модель** – то есть упорядочение задним числом реально протекавших по разным причинам событий и политик, движимых разными мотивами, с привязкой текущего момента к тому или иному месту в цикле? Что это подсказывает нам и нашему действию сегодня? А ведь Цымбурский мечтал подсказывать. Стремление столь понятное для многих из нас после 1991 года, но, как выяснилось, коварное.

*

Методическая суть геополитики – толкать и приучать мозг ко всё более наблюдательному поиску бесполезных аналогий. Отдал этому дань и Цымбурский. Ссылаясь на страхи генерала Фадеева насчет германской гегемо-

нии на Черном море, он замечает, что тот «опережает историческую динамику на 40 лет». Но есть ли хоть какой-нибудь смысл сравнивать русоцентристскую политику Бисмарка со вторжением в Россию Гитлера – европейского утописта?

Геополитика против времени. Похоже, что геополитический и исторический подход несовместимы в принципе. И об этом меня заставляют думать как раз наблюдательные и остроумные заметки Вадима, справедливо усматривающего связь между отправкой российской эскадры в США в 1863 году, активизацией России в Иране и английским демаршем по поводу польского восстания. Любопытно, как часто забывают об этих синхронизациях, а в геополитике – забывают всегда. Потому что каждое из этих действий объясняется, исходя из особых «стремлений к теплым морям», «логикой Каспийского коридора» и т.п. чепухой.

*

Наблюдения Цымбурского почти всегда интересны. Например, то, что «с начала петербургского периода сама культурная тема России в сознании ее образованного класса изменяет свой смысл». Речь о зарождении новейшего русского универсализма, отличного от староимперского и раскрывшегося в русской культуре XIX века, а затем ленинским и советским зигзагом русской истории. Но почему и к чему здесь «геополитический опыт империи»?

Что бы сказал (воображаемый) «консервативный геополитик» Москвы конца XVII века об ошеломляющем европейском развороте Петра I? С чудовищной ломкой институтов русской государственной, культурной, социальной и даже церковной традиции? Петр, по поводу которого сегодня так комфортно рассуждать, – сущий геополитический монстр, «черный лебедь» России.

Революция Петра I при всей ее радикальности была не только насильственной и раскольничьей, но еще и культурно ущербной. Прямая цель и задача Петра – войти в европейский клуб. Но то был клуб господ истории – выработавших свою культурную универсальность стран, а не только военных хозяев положения. Дополнить свою имперскую амбицию адекватной ей культурной программой Петр не мог; не смог и весь XVIII век. Это осталось в работу XIX веку.

*

Это и есть авторская собственность Петра Чаадаева в русской мысли: дефект вхождения в клуб без разделения общих цивилизационных судеб, с вытекающими отсюда необозримыми надрывами. Отменна формула Цымбурского – «в судьбу европейского ареала мощно вклинился народ иного происхождения, не разделявший с западноевропейцами их цивилизационных судеб ни в Средние века, ни на заре Нового времени». Но догма «геополитического взгляда» мешает признать этот пункт за его автором, Чаадаевым. Потому что геополитика – это политика дворов и правительств, ей нечего делать с «басманным отшельником». И так во всем.

*

Тонко наблюдение Цымбурского о курьезе того, что до 1917 года термины «Восток» и «восточный вопрос» применялись к землям, находившимся относительно России вовсе даже на юго-западе – к Проливам, Малой Азии, Балканам. Цымбурский замечает, что и сегодня в нашем словаре «Ближний Восток» остается рудиментом взгляда на мировую карту не из Москвы, а «из Европы». Но ведь это и есть цена того самого петровского универсализма, извлечь который из политики империи XVIII–XIX веков невозможно, как центральный штифтик из «кубика Рубика», – не развалив ее всю.



*

Наблюдения Цымбурского насчет экспансии России в XIX веке в Центральной Азии остры и важны. Он не преминул заметить, что экспансия движима не планом, а осмосом повседневности – фиктивностью степных границ и нормой «двоеподданства» кочевых обитателей. Одно это опровергает само понятие «естественной границы».

Весьма интересна (со ссылкой на А.Е. Снесарева) замеченная Цымбурским исключительная роль местных губернаторов в этой экспансии, «действовавших при пассивном одобрении (а иногда даже малоактивном неодобрении) правительства». Крайне уместное напоминание применительно и к современным процессам.

*

Индия. Цымбурский справедливо ищет осевой мотив в спорадических и импульсивных российских рывках в направлении Индии, иные из которых сам именуется комичными. Здесь их связь времен несомненна, хотя скорее всего политическая. Российские размышления конца XIX века о переносе войны в Индостан с целью поднять индусов – абсолютно бессмысленные даже в функции сдерживания Англии – не только функционально однородны замыслам большевистской Москвы начала 1920-х годов «поднять Азию», но и, не исключено, имеют общий корень.

Но это **не геополитический корень**. Ленина интересовало не сдерживание Великобритании – его влекла идея цепной реакции разрушения мировых империй, того, что позже станет «деколонизацией». Цымбурский здесь, однако, настаивает на (еще один загадочный зверь!) «геоидеологическом импульсе» к формированию особого пространства России, толкающем русских к конфронтации с Британией как «авангардом западной цивилизации». Но зачем умножать сущности? В XIX веке речь шла о неизменном факторе **противодействия Англии** русскому стремлению на Ближний Восток через Проливы, а в XX веке речь шла **о союзах с Англией**, причем в страшных войнах, которые в России мыслились как – обе! – отечественные.

*

Опять-таки тонкие суждения о том, что Россия продвигала и провоцировала то США, то Иран на роль «региональных агрессоров». Но это непреходящая тактика дипломатии страны-лидера. В XX веке мы обнаружим ее в дипломатии Сталина относительно Югославии и Польши, которые также выстраивались Москвой под функцию «региональных агрессоров». И которые – блестящая катастрофа стратегии – стали вечной проблемой СССР до конца его дней.

*

Геополитика: влияние на мышление. Геополитическое сознание **монофакторно**. Как правило, геополитик оперирует каким-то одним фактором в качестве главного. Например, выяснив вдруг, что обыкновенный лоббизм играет немалую роль в санкциях против РФ, геополитик обращает и этот компонент в **субъект**: вот какие низменные интересы стоят за так называемыми принципами! Вообще геополитическое мышление не дружелюбно к реальности. Окидывая взором большое мировое поле, оно подозревает прячущуюся «за всем этим» западную, вражеский камуфляж. Геополитик рвется к «большой шахматной доске», лишь чтобы выискать и вытащить из-под игрового стола спрятанного под ним злого карлика.

Есть восточный психотерапевтический принцип, общий с реалистическими школами мысли: **факты – дружелюбны**. Геополитик смотрит на вещи искоса, не

собираясь с ними дружить, ни даже сосуществовать. Отсюда: страна, понятая как пространство страны (первое упрощение), которой мыслит геополитика, лишена автономной не-геополитической динамики. Она заранее исключена, вычтена из мира, с которым борется или просто отбивается. Мир – в почти полном расхождении с большинством русских учителей и мыслителей XIX века – не есть ни место России, ни ее предмет. Тем самым и XVIII–XIX века России в их установившемся для русской традиции значении этически императивного опыта – выпадают. Русской культуре здесь просто не оказывается места. И приходится конструировать взамен нечто искусственное как замещающее старое свое.

4

Любопытно замечание Цымбурского, что объединение Италии может быть описано как проекция международных интриг на национальное строительство. Оно заставляет вернуться к середине XIX века и выдвинуть догадку, не претендующую, впрочем, на ранг гипотезы.

Действительно, изобретение Италии – общий продукт Наполеона III, революционера после смерти революции, и Гарибальди – вынужденного революционера, а на самом деле – европейца в отсутствие объединенной Европы. Проект продиктовал Европе новое пространство, навсегда потрясши геополитическое воображение. Но и тут геополитика проявляет неудалимый порок **портретной модели**. Да, Италия в XIX веке действительно была спроектирована в очень специфичном моментальном пространстве, созданном европейскими революциями, их палачами-душеприказчиками, вроде Наполеона III, и своекорыстными эксплуататорами этого, вроде Бисмарка. Но этого никак не вывести из структуры пространств – зато легко представить в рамках хорошо написанной европейской истории.

Уж не несет ли геополитика внутри себя импринтинг истории позапрошлого века? С его устойчивыми проблемами, наподобие «восточного вопроса», с его бесчисленными «священными» и «вечными» союзами, нарушение которых обдумывалось сторонами уже в момент их заключения? С его невероятными супер-персонажами, стоящими, по современному курсу, целых сверхдержав. Таков император Николай Павлович – в непрочном, но программном, роковом для русской культуры союзе с Александром Пушкиным. Таковы оба Наполеона – и последний чуть ли не более чем первый. Таков же, разумеется, Бисмарк – любимейшая из кукол геополитиков, затасканная теми до полной потери различимости матрешки – гениального тактика и тончайшего политконсультанта императоров внутри довольно среднего стратега. Не пытавшегося ничего строить на вечные времена.

*

Перевертывание событий в геополитике. Австро-Венгрия в XIX – начале XX века – Мекка геополитиков. Могу предположить, что, не будь Австро-Венгрии, геополитика не возникла бы. Империя-пространство без каких-либо национальных или хотя бы устойчивых границ,двигающаяся по Центральной Европе, подобно гигантскому неповоротливому крабу, то на север, то на юг, то на восток, занимала колоссальное место в переживаниях дворов и дипломатов. Вот уж шедевр геополитического воображения.

Только после исчезновения державы Франца Иосифа, к концу XX века мы осознали, сколь многое возникло внутри нее (как, впрочем, и гитлеризм, и идея политического сдерживания России). Но уже забыто, что к началу XX века этот черновик ЕС на самом деле не считался уже великой державой и, не будь сараевского убийства, продолжал бы сходить на нет, зато к вящему процветанию внутри него наук, литературы и философии. Но венский двор, справедливо уви-



дев в убийстве наследника шанс вернуть позицию великой державы, – развязал войну. И если вернуться в лето 1914 года, всё не только выглядело – оно и было в каком-то смысле действительно так. Война была еще и последним способом для дуалистической монархии удержать интерес Берлина и союз с ним. Всё очень логично, но эта логика привела к концу.

А все разговоры о Проливах, Балканах, естественных границах, славянском единстве и т.п. – малозначимый флер на празднике похорон заживо предпоследнего проекта объединенной Европы (если не засчитывать нацистский за полноценный).

Политика сильнее пространств. Но это же относится и к ошибочной политике тоже. Неверный шаг – и пространство ушло из-под ног.

*

Неудивительно, что такой призрак XIX века, как геополитика, в XX веке был обманут. Геополитика не предвидела сингулярности перехода структуры мира в новое состояние. Но не предвидела она и мощи инерции архаического. Гефтер в принципе отвергал какой-либо теоретический смысл геополитики. Когда он говорит о трагедии мира после 1945 года как мира, не нашедшего себе адекватного языка и пожранного «чудовищем геополитики», он именуется симптом патологии, а не ссылается на науку.

Едва ли создание НАТО можно рассматривать как материализацию Больших Пространств Маккинндера и Хаусхофера. Скорее само НАТО являлось ожившим архаизмом в умственном вакууме конца 1940-х годов – где ничей мозг не успел сформулировать альтернативу открытого мира.

5

Цымбурский признаёт, что сквозной чертой, объединяющей разные школы геополитики, является ее **проектность**. В этом и есть раскрытие тайны геополитики. В основе ее – воля проектировать действия именем «самой реальности», – но не исследовать. Исследование в политике всегда лишь материал для демаркации политик либо коллекция примеров, не подлежащих Попперовым критериям испытания истинности.

Весьма любопытно приведенное Цымбурским со ссылкой на академика Тарле суждение, что геополитика думает «о будущей географии, а не о настоящей». Но ведь будущее не может быть никак проверено, и «реалистические суждения» о нем абсурдны как таковые. Воля, желание здесь, несомненно, – мотив утонченного геополитика. Он позволяет себе желать картины результатов исследования еще до того, как ее найдет. Здесь обнаруживается сходство с марксистским коммунизмом, который также торопился изменить мир, исследуя его лишь по ходу и в необходимой для этого степени (отчего сам классик, не утративший навык интеллектуального любопытства, заявлял: «Сам я не марксист»).

Есть еще один интересный момент, позволяющий предположить, что геополитика появляется в ответ на то, что Гефтер именуется «уходом исторического» из жизненного мира *homo sapiens*. Всплески геополитики – в конце XIX – начале XX века, в 1930-х, затем в 1940–1950-х годах и, наконец, в начале XXI века – совпадают с обнаружением тупиков – пределов *homo historicus* и органичного для него, то есть исторического, политического действия. Определению Цымбурским старта геополитики как «волевого политического акта, отталкивающегося от потенций, усмотренных в конкретном пространстве», – не достает продолжения: «...при дефиците ресурсов исторического действия и его инструментария».

Я, пожалуй, согласен с Цымбурским в том, что геополитик «исследует мир в целях проектирования, а часто также и через его посредство». Это попытка

удержать конструктивизм исторического действия, нараставший внутри мировой истории от XVIII к XX веку, – ценой избавления от исторического опыта, замененного политической картой мира.

*

Кто кого? У Цымбурского в перечне вопросов о существовании геополитики – перечне довольно дискредитирующем – есть такое определение: «множество разнородных знаний, методов и идей, сообща служащих целям политики». Да, но это можно и обратить: не политика ли создала геополитику под себя, в функции отчасти прикладной дисциплины, отчасти – суррогатной идеологии? А вернее, то и другое вместе: гаджет, возведенный в ранг науки.

*

Геополитика как боевое искусство. Тонким надо признать и замечание Цымбурского о «стратегическом блоке геополитики», преобразующем картины мира в цели и задачи конкретного игрока. Здесь скрытым образом вводится та самая личность, что прежде была изгнана геополитическим этатизмом. Вводится в роли политического потенциала – каковым она и является, часто – в решающей степени. Это сразу убивает интерес к геополитическим кубикам из глобуса, нарезанного на гомогенные доли.

Любопытно его представление терроризма как *техники «геополитической акупунктуры* – точечных акций, достигающих изменения имиджа стран, регионов и мира в целом». Здесь он говорит об имажинативном начале в геополитике и даже о «минималистской геополитике, не формулирующей собственных программных геополитических образов и сюжетов ... сводящейся к реагированию на непосредственно воспринимаемые раздражители». Геополитическая акупунктура террора по Цымбурскому – это, конечно, Шамиль Басаев или Бен Ладен. Эти люди стремились не к «организации Больших Пространств», но явно к их разрушению и отчасти (что касается второго) в этом преуспевали. Они не политики в обычном смысле слова и не просто бандиты, – но кто они? Этот вопрос остается нерешенным и даже неинтересным для геополитики во всех известных ее формах. Зато он обслуживает самую популярную и известную каждому **геополитическую конспирологию**. Та завлекает миллионы умов «совершенно очевидными» догадками о том, «кого обслуживают» мастера террористической акупунктуры.

*

Геополитика как оружие обороны. Притом, что российская геополитическая макулатура выглядит комично, нельзя не заметить, насколько вся она проникнута идеей **защиты**. Это акцентированность, сама по себе подозрительная для теории. Даже в теориях войны и военной стратегии оборона занимает не столь премиальное место. Здесь ярко выступает невротический мотив нашей геополитики, делающий чтение ее истинным пиром психоаналитика.

Склонность прагматики русских пространственных теорий к выстраиванию защит и оборон убийственно разрушительна для решения собственно важной рациональной задачи – *защиты пространства*. Недаром «выстраивание защит» – известнейший симптом целого ряда психических расстройств.

6

Геополитика для Цымбурского – это место, которое он оборонял в ожидании появления науки о России. Не страноведения – а наукоучения страны, все теории и школы мысли которой не помогли ее понять и не дают ключа к происходящему с нами. Отсюда интерес к проектным аспектам геополитического – что отмечает и сам Цымбурский, говоря, что геополити-



тические тексты выстраивают картину мира из политизированных образов, «закладывая в нее программу действий для России, обычно олицетворенную ее правительством».

Должен признаться, что, читая рукопись Цымбурского и выдвигая едкие критические догадки в адрес геополитики, я не раз через несколько страниц встречал их уже как критику со стороны самого Цымбурского. Это касается и очевидной «проектности» мотивов геополитика, и склонности геополитиков к «вчитыванию политического в неполитические субстанции» (формула самого Цымбурского). Он ясно видит, что конструкции геополитики не обращены к научному сообществу, но к субъектно организованной, политически действующей части общества – так называемому политическому классу.

В глазах такого историста, как я, геополитика, разумеется, выглядит неправомерным вторжением в сферу действия мировой истории и одержимых ею авангардов. Но после того как все без исключения авангарды свернули себе шею, к чему удивляться, что на арену вышли уцелевшие геополитики? В каком-то смысле ситуация перевернулась – теперь былым «творцам мировой истории» приходится объяснять, что они имели в виду – и что именно собирались сделать с нациями и сообществами, превращенными в инструмент будущего?

Геополитик в сравнении с коммунистом XX века просто шалун, вроде гопника из предместий, который редко-редко позволяет себе выйти в центр для драки. Не геополитики развалили империи XX века, как либеральные, так и тоталитарные. Не геополитики несут ответственность за числа жертв с несчетными нулями. Хотя, разумеется, геополитики очень завидуют истористам и рвутся изо всех сил на их место – порулить. Но мотив их несколько не консервативен!

Цымбурского это настораживало. Он предупреждает против геополитического идеализма, убеждающего «народы и государства жертвовать ... самим своим суверенным существованием ради суверенитета Больших Пространств». Здесь еще раз нужно отметить правоту Цымбурского даже там, где ее не хочется признавать. Визионерство внутри геополитической традиции, безвредный пережиток эпохи арт-деко, помноженный на 3D визуализации XXI века, породило не сон разума, а его умерщвление. Речь уже не об «убеждении суверенитета жертвовать собой», а об инструментализации суверенитета для нужд мелкой текущей политики.

*

За последнее десятилетие, а вернее бы сказать – тридцатилетие, назрела и перезрела **задача понимания России**. Эта задача не покрывается исследованием трудных вопросов русской политики, истории, социальной жизни и онтологии. Скорее надо говорить о загадочной избирательности взгляда последних десятилетий, который замещал не проясненную и даже не поставленную проблему поспешным суждением и императивной оценкой. Классическим случаем здесь являются события, которые, даже при простом их назывании – и это ощутимо для каждого – вызывают внутреннюю эмоциональную и недружественную мобилизацию присутствующих, мотивированных при этом по-разному. Достаточно простого упоминания. Например – «реформы кабинета Гайдара», «1990-е годы», «катастрофа СССР», «ваучерная приватизация», «путинское большинство» и «политика стабильности».

Можно подумать, что это касается исключительно острых тем, раскалывающих общество по сей день, но это не так. Такие темы раскалывают мозг еще до того, как расколют общество. Мышление отказывается принимать к сведению эти предметы и возвращаться к ним как к вопрошаемым. Там целые залежные земли неопознанного, неразличенного и нескрытого. Среди них и совершенно безобидные на слух, как, например, «проблема ларька», «проблема челночников»

и т.п. Некоторые из проблем табуированы лишь временно, а проходит какой-то период – и позволяется не только о них рассуждать, но и изучать их. Я бы предположил, что этот период «передержки» как раз равен времени актуальности самого изучения – после чего предмет если не исчезает, то мумифицируется, антиквизируется и руинируется, становясь политически стерильным для ума.

Вероятно, уже описание самих заглушек и табу позднесоветского-постсоветского мышления представляет собой также запрещенную себе нашим сознанием зону. Этих механизмов много, они разнообразны и генерируют различные категории исключенного российским мышлением – либо генерирующего сами эти табу, что не исключено.

Разумеется, легко стать в позу (и это неоднократно делалось, что легко проверить), сказав: пришел час, когда нам нельзя более терпеть столь бессмысленное прозябание в реальности, которой мы не знаем! Но тут возникает дежа вю. Голос подозрительный по ямбу напоминает нам, что мы впали в цитирование знаменитых слов Юрия Андропова 1983 года о «незнании страны, в которой мы живем», которые в свою очередь были парафразом.

Итак, слишком многое говорит, что нам не удастся и, весьма вероятно, не удастся продвинуться в мышлении о России сколько-то далее места, где мы находимся – и где находится далее невозможно ни ментально, ни морально, ни эстетически. Двигаться придется, и движение в его начальной фазе будет происходить, что неизбежно, – в почти бессмысленной или абсурдной форме.

Никакого периода интеллектуальной подготовки к тому, с чем мы встретимся в скором времени, а именно – к реальности, у нас не будет. Посему программа критической активности, критических разработок или даже исследований, которая бы началась (допустим) прямо завтра, имела бы значение только при обдумывании причин неминуемой катастрофы того грядущего старта, который еще и не начался. Это дало бы шанс на то, что та будущая неудача, которая наступит вскоре вслед за эйфорией начала, попадет в должный интеллектуальный контекст, и дитя на сей раз не будет выплеснуто вместе с грязной водой следующей «великой реформы» или «перестройки».

Но здесь же и большая трудность, заключенная в неопределенности и неочертанности поля неведомого. Блажен, у кого есть уже импортированная концепция или иной карго-дискурс, а если нет? Именно поэтому, быть может, феноменология современных аутозапретов и аутозабуирования русского мышления помогла бы помочь прощупать это тело неясного, неведомого.

Еще до того, как мы признаемся себе, что чего-то не знаем, нам придется признаться в том, **как** именно мы не хотим знать и какие именно увертки ума от знания мы уже накопили.

*

Цымбурский остановился на пороге преодоления геополитики по пути к науке о России. Он отметил возможность того, чтобы в рамках политологии выделилась отрасль, «занимающаяся геополитикой как изучаемым типом политической мысли и политической практики». Он предлагал для этой отрасли название **геополитологии**. Здесь мы возвращаемся к исходной теме – вернее, к исходному вызову наших дней – вакууму понимания России и ее поведения. Но В.Л. Цымбурский здесь оставляет для нас важную, не развернутую им догадку.

Ибо такая наука действительно должна была бы быть *наукой об изучающих Россию субъектах и о применении ими изученного*. Разумеется, она должна была бы изучать в том числе и российскую геополитику, равно как западные опыты с «кремленологией», «советологией» etc. Всё это такая наука рассматривала бы в длинном ряду, от «теорий заговора» до НЛП и «пиара» – то есть прагматиче-

ских проекций интеллекта на русскую политику. Равно и политических запросов на интеллект. В этом случае **политтехнологии** по-российски также оказались бы предметом изучения, причем в контексте их использования и порожденных этим аббераций. Сюда же попали бы и стратегии «медиаполитики», «управляемых медиа», «суверенной демократии» и «подавляющего большинства».

Иными словами, предметом должен оказаться способ мыслящего обращения России с самой собой – с Россией же. Но этим наукоучением едва ли явится геополитика как таковая.

Мелочные заметки

Интеллектуальное наследие В.Л. Цымбурского огромно и крайне разнообразно. Объем же моих знаний весьма ограничен и притом далек от большей части вопросов, которые привлекали его внимание. Посему, заведомо оговаривая не только эскизность данного текста, но и весьма суженный ракурс, в котором мне доступно рассмотрение мысли ученого, сформулирую то, что меня смущает в концепции Цымбурского, отраженной в незавершенной докторской диссертации «Морфология российской геополитики», с отдельными главами которой я имел возможность ознакомиться.

В данном случае неизбежно противопоставление масштабному подходу замечаний частного порядка, не предполагающих иного, соразмерного видения. А это всегда весьма ограниченная критика – поскольку в отсутствие соразмерной альтернативы она не имеет шансов противостоять тому, что критикует: она работает на ином уровне. Ведь даже если она верна, подобная критика не может заменить «имагинацию», а в лучшем случае – побудить к ее корректировке. Да и последнее сомнительно – поскольку «имагинация» проективна, и даже если она спорным или прямо неверным образом интерпретирует прошлое, это не отменяет ее ценности как проекта, способа ориентироваться в будущем, определяя по отношению к нему свои действия. Прошлое же здесь – лишь ресурс «имагинации» и, самое большое, некоторая проверка – не на точность соответствия, но лишь против совсем уж радикальных расхождений с тем, что дают реконструкции, не столь «вброшенные» в перспективу будущего по отношению не к протагонистам, но к автору. Отсюда вытекает цель всего нижесказанного – не возражение Цымбурскому, а критика, направленная к прояснению его мысли, сомнение как способ яснее увидеть ресурсы, содержащиеся в его концептуальных построениях.

Масштабные по замыслу «Метаморфозы российской геополитики» оказываются в высшей степени сложными из-за переплетения сразу многих уровней анализа: российской политики – преимущественно внешней, но также и внутренней, рассмотренной через призму концепции российской цивилизации, где анализ интеллектуальной истории – это одновременно и способ описать ее – «метаморфированное» – существование в XVIII–XX веках, и в то же время ключ к интеллектуальной истории, та концептуальная рамка, которая позволяет осмыслить ходы мысли как части единого целого, в противном случае превращающегося либо в рассыпанные наброски, либо в «отраженный свет» западной мысли (и история в этом случае оборачивается не историей мысли, а историей не- или недо-понимания).

Тесля Андрей Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета, г. Хабаровск.
E-mail: mestr81@gmail.com



Исследование Цымбурского предстает сложнейшим герменевтическим проектом постоянного «возвратного чтения», где обследованное, изученное дает толчок к интерпретации следующего элемента – чтобы вновь быть переосмысленным на его основе. В этом интеллектуальном предприятии есть сопряжение бесконечности перспективы и в то же время изначальной определенности подхода: происходящее в процессе исследования не меняет исходной схемы, а добавляет всё новые и новые акценты или, точнее, ракурсы рассмотрения – зачастую совершенно неожиданные, но это именно «непривычные ракурсы» одного и того же объекта, к которому невозможно подходить с позитивистских позиций – и потому, если принимать позитивистскую перспективу, то здесь нет предмета для критики, а лишь отвержение с порога, поскольку Цымбурский претендует не на детальное архивное исследование, подтверждающее его видение российской геополитической мысли, а на открытие «бессознательного» (по выражению Б.В. Межуева) российской истории – или, как формулирует он сам, на «выявление» и «эксплицитное описание» «русской имплицитной геополитики» – на логику бессознательного, скрытую от сознания не только самих действующих лиц, но и тех, кто осмысляет геополитическое положение Российской империи или Советского Союза, то, что невольно проговаривается – и становится видно лишь при измененной оптике.

Модель подобного подхода сам Цымбурский находил у Шпенглера – автора, которым принято пренебрегать в академических кругах. Если в 1993-м (после переиздания первого тома «Заката Запада») увлечение Шпенглером было всеобщим, то для Цымбурского оно оказалось не модой, а обретением единомышленника – не в заимствовании конкретных подробностей, не говоря уж об эффектных формулировках, но в самом способе видеть историю: через «прафеномен» Шпенглера/Гете. Здесь работает лишь схватывание, узрение прафеномена; прочее – уже конкретизация, но она не может выступать «доказательством», а лишь прояснением. Сам же прафеномен не может быть показан, не говоря уже о доказательстве – на него возможно только указать в многообразии феноменов, различных, зачастую внешне совершенно несхожих, но в которых тот глаз, что успел схватить прафеномен, увидит многообразные превращения единой формы.

Бросающимся в глаза затруднением создаваемого Цымбурским образа русской истории оказывается представление XVIII–XX веков как «псевдоморфозы», тогда как адекватной формой предстают XV–XVII века, образование «Острова России» в расширении как на Восток, так и на Юг и Запад. То есть получается, что едва только «Остров Россия» обретает свои «естественные» пределы, как он тут же выходит за них. Впрочем, самого автора подобное положение вещей вряд ли смущало – учитывая столь близкое ему подчеркивание «победы» и «поражения», трагического в истории, осознание чего делало в его глазах особенно драгоценной античную классику.

В этом состоянии «псевдоморфозы» Цымбурский конструирует пятифазовый стратегический цикл:

А – включение в европейскую политику в качестве вспомогательной силы одной из сторон (коалиций), в результате чего барьер из лимитрофов ликвидируется, и «тотальное поле Империи смыкается с тотальным полем потенциального хозяина Европы»;

В – столкновение с «потенциальным хозяином Европы», вызванное стремлением с его стороны устранить Россию как фактор, мешающий ему из «хозяина потенциального», то есть находящегося в нестабильном состоянии, перейти в стабильное положение «хозяина Европы», зафиксировать свое господство в европейском политикуме;

С – фаза преобладания, когда в результате поражения претендента на европейскую гегемонию Россия активно и в качестве уже самостоятельного, преобладающего игрока включается в европейские дела;

D – кризис и поражение, когда «консолидировавшийся Запад отбрасывает Россию в холодной либо горячей войне к балтийско-черноморскому порогу Европы – или даже, если получится, то и за него»;

E – «евразийская интермедия», когда отброшенная в результате поражения Империя начинает прилагать основные усилия вне Европы, накапливая силы и одновременно дожидаясь момента, когда изменившиеся условия позволят ей вновь вступить в европейскую политику, будучи привлеченной какой-либо из действующих в ней сил в качестве союзника.

Прежде всего необходимо отметить, что третья фаза («фаза C», по терминологии Цымбурского) фактически оказывается в описании тождественной уже европейскому преобладанию России – или ее представляющимися вполне реальными притязаниями на таковое, исполнение роли «хозяина» или одного из (как правило, на пару с какой-то другой державой) «хозяев». Перед нами любопытная подмена понятий – полноценное участие в европейских делах представляется здесь тождественным наличию «своего проекта для Европы», европейской гегемонии или близости к ней. В дальнейшем мы увидим, почему подобная подмена оказывается важна для Цымбурского, позволяя ему наложить свою схему на исторический процесс XVIII–XX веков. Применительно к историческому материалу Цымбурский выделяет три стратегических цикла, выражая сомнения относительно (не)завершенности третьего: 1) с 1726 по 1906 год, 2) с 1907 по 1939 год и 3) с 1939 года по наши дни.

Остановимся кратко на первом цикле: прологом к нему выступает Северная война, после которой Империя постепенно всё прочнее втягивается в европейскую систему, принимая участие в образующихся там коалициях, преимущественно в союзе с Австрией. Первая фаза заканчивается в 1809–1812 годах, когда конфликт Российской империи с Наполеоновской быстро продвигается к прямому военному столкновению, в котором Россия уже выступает не в качестве союзника Австрии или Пруссии, а основным противником Наполеона, нуждающегося в том, чтобы сокрушить ее, поскольку вариант превратить Россию в прочного союзника оказался нежизнеспособным. Вторая фаза оказывается стремительной, укладываясь в военную компанию 1812 года, и далее, с заграничного похода русской армии, начинается третья фаза – преобладания, конец которой будет положен Крымской войной (четвертая фаза). Парижский мир начинается пятую фазу – со знаковой для ее начала фразой князя Горчакова «Россия сосредоточивается». Новый же цикл начнется с достижения русско-британского соглашения в 1907 году и включения в европейскую политику в рамках Антанты.

Выделение последней, долгой фазы («евразийской интермедии») дает нам объяснение, для чего Цымбурскому было необходимо проинтерпретировать включение в европейскую политику исключительно в форме «гегемона» (эпоха Священного Союза), поскольку в противном случае – при рассмотрении участия Российской империи в европейской политике в качестве одной из великих держав – не получилось бы выделить столь интересовавшую его «евразийскую» фазу. Ведь возвращение России в европейскую политику в качестве одного из полноценных партнеров происходит почти сразу же после Парижского мира – еще в рамках мирных переговоров намечаются контуры франко-русского соглашения, которое, впрочем, окажется достаточно непрочным и будет окончательно разрушено позицией Франции в ситуации польского восстания 1863 года, однако приведет на сей раз к результатам, весьма далеким от исключения России из «европейского концерта», а скорее – к прямо противоположным, поскольку провал тройственного дипломатического давления (Великобритания, Франция и Австрия) на Россию обусловит поддержку Россией Пруссии, столь необходимую правительству последней, недавно возглавленному О. фон Бисмарком, для реализации планов «Малой Германии». Фактиче-

ски Цымбурский интерпретирует как «интермедию» (для России представляющую «азиатским поворотом») отсутствие в Европе на протяжении этого времени масштабных столкновений, эпоху «большого мира» с 1815 по 1914 год, в особенности после объединения Италии и Германии, когда европейское соперничество будет вынесено вовне, в усилия по построению колониальных империй и обретению новых сфер влияния.

Однако куда больше вопросов вызывает соотнесение первого цикла с двумя последующими – в особенности с выделением второго, самого короткого цикла, большая часть которого приходится на «евразийскую интермедию» (с начала 1920-х годов до 1939-го). Ведь при желании аналогичным образом можно было бы умозрительно расчленить и первый цикл, раз во втором фазой «гегемонии» оказывается «поход на Варшаву» и революционные вспышки в послевоенной Европе (вроде Венгерской советской республики). Но в данном случае, как нам представляется, вполне отчетливо читается проективная задача Цымбурского – не только укрепить общую схему (за счет повторяемости, а не простого декларирования геополитической преемственности СССР по отношению к Российской империи), но и сместить водораздел с символического 1917 года на предшествующий этап, тем самым задавая фундаментальное единство российской истории поверх сменяющихся политических режимов и социальных строев.

Цымбурский в первой, наиболее теоретически насыщенной главе своей незавершенной докторской диссертации утверждает, что если «науке присуща “воля к истине”», то «геополитике как роду деятельности – “воля к творчеству”». Сам он претендовал на то, чтобы одновременно играть на двух полях – политологии, научного знания о политике (в том числе и знания о геополитике, когда последняя оказывается объектом изучения), и геополитики, соответствующей критериям не знания, но «правдоподобия», «убедительности», – критериям эстетическим, рода искусства или, сниженно (но оставаясь в пределах того же греческого корня), навыка, умения. Два поля были тесно связаны в его работах, и зачастую нелегко бывает определить, говорит ли он здесь как исследователь или же использует исследовательскую позицию для придания убедительности своим образам, которые в идеале должны сами изменить реальность (и тем самым обрести истинность *post factum*).

Однако вместо того чтобы обращать это в банальный по своей предсказуемости упрек, продуктивнее увидеть здесь ресурс – тем более что сам ученый сочувственно цитирует Якова Голосовкера, опираясь на его понимание философии в качестве искусства «построения мира и мировой истории из внутренних образов, которые... суть смыслообразы, т.е. создают здание смыслов».

Смыслы – и в том числе смыслы, имеющие геополитическую проекцию наделять пространство политической (потенциальной или актуальной) значимостью, – не являются данностью, а способны ею стать. И поэтому Цымбурский стремился разработать актуальный инструментарий российской политической мысли – смысловой каркас, допускающий самые разнообразные применения: от «имперства» (либерального или евразийского) до «изоляциизма» и попытки обживания в «естественных границах» XVII века перехода к «государству» от «империи», от постоянно проблематичной границы – к прочной рамке (*cadre*), задающей основные параметры действия.

*М.В. Ильин
Диалог об островах и проливах, междуморьях и междумирьях*

*Е.С. Холмогоров
В поисках утраченного Царьграда: Цымбурский и Данилевский*

*С.В. Хатунцев
Вадим Цымбурский, русский геополитик*

Диалог об островах и проливах, междуморьях и междумирьях

Этот диалог мы с Вадимом Цымбурским начали еще в самом начале 1990-х годов. Он продолжается до сих пор, хотя уже несколько лет, как Вадима нет рядом. Импульсы творчества продолжают свое действие. Идеи не исчезают, а удивительным образом живут и возвращаются в новом облики. Диалог продолжается¹.

Начался он с того, что я пересказывал Вадиму свое письмо английскому приятелю Полю Чилтону, в котором пытался расшифровать предание о выборе вер Владимиром Святым. Еще только возникающая Русь оказалась островом между окружившими ее языками и четырьмя верами, – начал я. «Да, островом, – ответил Вадим, – я написал об этом». И полез в свой портфель. И достал большой глянцеваый журнал «Россия» – последний номер за 1991 год, только что вышедший. Там был первый набросок идеи «острова на материке» [10]. Я тут же залез в текст и, почти не глядя, предложил Вадиму сделать большую статью для «Полиса». Так «Остров Россия» Вадима Цымбурского стал и остается важнейшей темой нашего с ним диалога.

Другая важнейшая тема, которая возникла с самого же начала, касалась характера геополитики и геополитического анализа. Мы сходились в своем интересе к этому увлекательному занятию, однако его границы и содержание каждый трактовал по-своему. С этой темы и начнем.

Что такое геополитика

Вадим Цымбурский настаивал, что «геополитика – это особая интеллектуальная парадигма, охватывающая сразу и определенный вид отношения к миру, и вместе с тем род занятий». Этот род занятий связан, по его мнению, с «пространственно-политическим проектированием» [7, с. 9–10]. Против такого расширительного понимания и сдвига смыслового ядра с познания на проектирование трудно было возразить. Тем более что Вадим отнюдь не отбрасывал научно-исследовательскую сторону, но подчинял ее прикладным

¹ Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проекты № 13-03-00310а «Эволюционная морфология имперской организации политического пространства», № 13-03-00399а «Между патримониальным и современным политическим порядком: Качество управления в странах постсоветского пространства», а также Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 13-06-00789 «Разработка интеграционных методов и методик социально-гуманитарных исследований».

Ильин Михаил Васильевич, доктор политических наук, руководитель аспирантской школы по политическим наукам НИУ ВШЭ, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО (У) МИД России, руководитель Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН. E-mail: mikhaililyin48@gmail.com

аспектам. Да и такая трактовка откликнулась на доминировавшее тогда восприятие геополитики. Это меня как раз и беспокоило. С 90-х годов прошлого столетия в России появилась своеобразная мода на геополитику, под которой понимаются прежде всего вольные фантазии, своего рода дилетантское философствование на темы политики, пространства и истории. Я бы назвал подобные упражнения *геополитическими мечтаниями*. Их смысл и польза малы, а то и вовсе ничтожны. Порой эти мечтания начинают навязывать другим, придавая им наукообразный вид, настаивая на их истинности. Возникает *геополитическая мистика*.

Цымбурский был, разумеется, чужд геомистике, а тем более дилетантизму. Да и к геостратегическим построениям относился по большей части скептически, хотя вокруг него всегда крутились геостратеги, а то и геополитические дилетанты. А если и не крутились в буквальном смысле (до середины или даже конца 1990-х, когда его стали приглашать на разные «геополитические» тусовки, Вадим мало с кем мог обсудить свои идеи), то охотно цитировали его, безбожно, как правило, перевирая и подстраивая под свои немудреные идеологизированные схемки.

В наших спорах о природе и особенностях геополитики мы, конечно, исходили из практики, рассматривая те сочинения, которые либо сами были идентифицированы как геополитические, либо были отнесены к геополитическому дискурсу преемниками, продолжателями и эпигонами. Иными словами, мы исходили из фактически сложившегося дискурса, точнее, дискурсов геополитики. Это было вполне естественно, так как мы оба в те времена занимались еще и анализом дискурсов. Однако отношение каждого из нас к фактическим дискурсам существенно различалось. Вадим считал, что сложившийся дискурс во всех своих качествах и особенностях и есть стопроцентная – настоящая и состоявшаяся – геополитика. Я подчеркивал, что дискурсы явились свидетельствами родовых мук только рождающейся научной дисциплины. И даже рисковал заявлять, что роды еще не завершены, что рождение геополитики еще впереди и что нам выступать в роли повитух. При таком подходе из дискурсов надлежало извлечь те особенности, которые могут характеризовать настоящую, но еще не состоявшуюся, а только будущую геополитику. Разумеется, одновременно следовало отбросить всю шелуху и вынести за скобки «строительные леса» новой, только возникающей науки. Отсюда мой критический пафос в отношении шелухи дилетантизма и геомистики, а также строительных лесов геостратегии.

При всем своем научном ригоризме я соглашался вместе с Вадимом считать весь корпус рассматриваемых нами дискурсов геополитикой в широком смысле. Однако настаивал на необходимости различать под маркой геополитики: во-первых, геополитические мечтания – «дилетантское философствование на темы политики, пространства и истории», способное стать для политиков «руководством к действию» и обрести свойства «геополитической мистики»; во-вторых, геостратегические штудии – «ресурсные, обычно силовые, а изредка функциональные модели государств-Левиафанов и отношений между ними»; и, наконец, лишь в-третьих, – «геополитику в строгом смысле», подлинную науку. Такая строгая наука создает знание «об организации политий в качественно определенном пространстве». Сам же научный проект состоит «в выяснении взаимодействия природных и, шире, географических факторов... с различными системами и способами политической организации». Основная проблематика научной геополитики состоит во «внутреннем устройстве (конфигурации сочленения географических возможностей и принципов политической организации) отдельных политий» [2а].

Вадим Цымбурский был склонен выносить большую часть научного изучения пространственных аспектов политики в сферу крайне расширенной поли-



тической географии. И вот здесь мы с ним принципиально расходились. Мне представлялось и представляется важным различать два подхода и две совершенно разные науки. Один подход заключается в изучении пространства Земли и того, как это пространство используется в политике и определяет ее. Это политическая география. Но можно изучать и собственно политику, и то, как политика приспособливает пространство и сама приспособливается к нему. Это уже будет геополитика. Такое разграничение предлагал, собственно, создатель самого термина «геополитика» и один из основателей соответствующей дисциплины Рудольф Челлен: «Как и политическая наука, геополитика держит в поле своего зрения целостность государства, способствуя тем самым пониманию его сущности. Политическая же география изучает земную поверхность в качестве места жительства человеческого общества в его отношении к прочим свойствам земли» [12, с. 94].

Мы оба принимали формулы Челлена, но их трактовки расходились. Вадим воспринимал основной труд Челлена как «учение о государстве» в буквальном смысле слова. Я же настаивал, что термин *statsvêtenskap* не только в нынешнем шведском, но в языке самого Челлена и его коллег начала прошлого века недвусмысленно означал «политическая наука». Более того, сама знаменитая характеристика – *livsform*, форма жизни – означала отнюдь не организм, как это неверно трактуется из учебника в учебник, а биоморфу, экологически специфическое варьирование типов организма со всем его симбиозом. Именно такой смысл вкладывал в термин его создатель, великий датский зоолог Эугениус Варминг, с чьим творчеством Челлен был, несомненно, знаком и чей термин вполне сознательно использовал.

Вадим Цымбурский соглашался, что неверно полагать, будто геополитика-наука только изучает, а геополитика-проектирование только планирует. Геополитическое проектирование тоже исследует особенности пространственного осуществления политики, например, распределения власти. Однако она исследует его в целях формирования политических проектов и программ. При этом мост между нашими подходами Вадим видел в анализе дискурсов, в изучении и испытании интеллектуальных проектов.

Хронополитика

Свои споры о геополитике мы дополняли рассуждениями о хронополитике. В конечном счете пространство само по себе – сильная абстракция. Фактически существует пространство-время. Мы использовали созданное буквально за несколько лет до этого понятие «хронополитика». Соответствующее английское слово *chronopolitics* было введено в оборот крупнейшим американским политологом Джорджем Модельски в конце 1980-х годов [13].

Мы трактовали хронополитику как дополнение геополитики. Теми же словами мы именовали и предметы соответствующих областей знания. Хронополитика рассматривалась как временной аспект, темпоральность политики по аналогии-контрасту с геополитикой как пространственным ее аспектом, спатальностью. В этом контексте В.Л. Цымбурский выдвинул тезис о переходе от геополитики к хронополитике как естественной и даже необходимой фазе самореализации России. Он заявил, что в нынешних условиях следует «сделать упор не на пространство, как часто было в российской историософии, а на время... не на «связывание хранины континента», не на «евразийский диалог культур», а на самоосуществление России во времени, на благоустройство и упорочение российского «Китежа» в сменяющихся годах и десятилетиях...» [8, с. 38].

Впоследствии В.Л. Цымбурский уточнил свою позицию: «Термин «хронополитика» возник по аналогии с «геополитикой», но отношения между их дено-

татами асимметричны: в отличие от геополитики хронополитика пока что существует как область академических исследований, а не как вид политического проектирования, так что сейчас она ближе по профилю не к геополитике, а к политической географии. Перефразируя определение “геополитики в строгом смысле”, данное Ильиным и относящееся, на мой взгляд, к политической географии, я назвал бы хронополитику “знанием (учением) о существовании политий в качественно определенном времени” [7, с. 26].

Дисциплинарно более строгая концепция хронополитики как эволюционной морфологии политики была разработана мною в докторской диссертации. Для этого я выделил три основных диапазона темпоральности и хронополитики в широком смысле: повседневность, историю и эволюцию, или хронополитику в узком смысле. Соответственно я выделил три пласта, или зона, эволюции и две переходные эпохи. Образовывалась эволюционная последовательность только закрытых форм, переходных приоткрывающихся, например, полисных форм, открытых форм империй и цивилизаций с вкраплениями приоткрывающихся и закрытых форм, приоткрывающихся форм феодализованных теократий (хризалид) с вкраплениями всех предыдущих форм и, наконец, форм второго порядка открытости, то есть способности регулировать параметры своей открытости/закрытости с вкраплением, разумеется, всех предыдущих форм [1, 2].

Мы с Вадимом много обсуждали хронополитические сюжеты, но они в основном остались за кадром. Времени и сил опубликовать различия наших подходов (это самое интересное и творческое) не было ни у одного из нас. Удалось лишь сделать ряд совместных публикаций [11, 3, 4] по концептному анализу понятия «открытое общество». В этих публикациях – немало ценных идей, которыми можно гордиться, в том числе и сама формула «открытость второго порядка», которую предложил Цымбурский, за что я ему очень благодарен.

Остров Россия, лимитрофы и Балто-Черноморье

Вернемся, однако, к теме Острова России. Одной из первых реакций на предложенный «Полису» или даже еще обсуждавшийся текст была идея проливов вокруг острова, полуостровов, отмелей, островков, то соединяющихся отливом, то отделяющихся приливом, как Сен-Мишель; наконец, архипелагов. Помню в «Вестнике МГУ. Серия “Социально-политические исследования”» мы даже провели круглый стол на эту тему, который частично был опубликован в журнале в 1994 году (№ 6–7).

Внешняя (газетно-журнальная, а потом и тусовочная) реакция на статью в «Полисе» как-то сразу ушла в сторону. Изоляционизм и противоборство с Западом стали ее приметными словами (catch words), уведя далеко в сторону от коренных идей В.Л. Цымбурского. Главный вывод полисовской статьи – для России наступают хорошие времена, нужно только суметь это понять – был не воспринят ни руководителями страны (Вадим втайне лелеял такую надежду), ни интеллигентской массой, ни даже коллегами из академических институтов. В своем кругу мы попытались расширить проблематику. От островов перейти к архипелагам. Наметить формы и форматы отношений России и Европы. В ответ на это Вадим выдвинул свои концепции двойной цивилизации и циклов похищения Европы. Попытался выявить зоны и способы интерфейса. Так появилась концепция лимитрофов, отчасти подсказанная историком Станиславом Хатунцевым [6; обновленная версия: 5].

Каждое из этих начинаний значимо само по себе. Каждое имеет свое развитие и свою судьбу. Остановлюсь подробнее на одном – идее Балто-Черноморья как особого геополитического мира. В ходе наших бесед и споров выявились две альтернативные трактовки политической организации Балто-Черноморья,



Балто-Черноморской или Балтийско-Черноморской – в терминологии Цымбурского – системы (БЧС). Цымбурский акцентировал преимущественно военно-стратегические аспекты БЧС и всё то, что в методологической литературе того времени принято было связывать с волевой деятельностью участников политических процессов (агенсу). Этому подходу я противопоставлял прямо противоположный – структурный, исходящий из устойчивых и до известной меры «непреодоляющих» географических характеристик пространства.

В чем различия агентного и структурного подходов? Структурные факторы связаны с выделением месторазвитий различного масштаба (глобальных, территориальных и локальных) и структур их опосредования, или интерфейсов: например, вскрытого С. Рокканом построения территориальной организации Западной Европы. БЧС является интерфейсом двух глобальных месторазвитий – Западной Европы и Северной Евразии. Данный интерфейс пронизывает пространства их стыка, а точнее взаимоналожения, а также различные территориальные и локальные месторазвития этой зоны, создавая логику пространственного взаимодействия.

В трактовке В.Л. Цымбурского БЧС является конфликтной системой. Подобные системы связаны с силовым раскладом и существуют лишь на поверхностном уровне международной организации¹. На другом, глубинном, уровне, как признает сам В.Л. Цымбурский, «мы имеем опорные геополитические роли, характерные для пространства данной системы, и напряжение между ними» [9, с. 251–252]. Данное различие вполне логично заставляет В.Л. Цымбурского поставить принципиальный вопрос: «Не следует ли считать, что глубинный и поверхностный уровни международной системы образуются разными видами сущностей и разными типами отношений между ними, при том что единицы и отношения одного уровня могут всегда преобразовываться в единицы и отношения другого?» [9, с. 251].

На этот вопрос следует дать утвердительный ответ. При этом нужно, однако, уточнить, что дело не просто в наличии двух уровней, а в разных системных и темпоральных масштабах. Дифференциал между масштабами создает хронополитическую перспективу. Возникает эволюционный потенциал, из которого вытекают прагматические возможности повседневных действий, в том числе связанных с силовым противоборством политических протагонистов, но далеко не исчерпывающийся их соперничеством.

Разумеется, наши с В.Л. Цымбурским подходы к пониманию Балто-Черноморья во многом совпадали и по мере наших обсуждений существенно сблизились. Так, в ходе обсуждения первых вариантов статьи В.Л. Цымбурского мне удалось убедить его, что БЧС не вполне умерла ко времени Венского конгресса, как он считал первоначально. Конец системы был им передвинут ко временам Версаля. Кроме того, Вадим внес изменения в концовку своей статьи и добавил постскрипtum о территориях-ориентирах в 40-х годах XX века. Со своей стороны, я принял концепцию территорий-ориентиров, придав ей, однако, не конфликтное, агентивное понимание каналов взаимодействия мощных держав, а структурную трактовку в качестве мест (loci) государственного строительства (state-building) и, шире, месторазвитий.

При анализе процессов, разворачивающихся на Балто-Понтийском перешейке, важно учитывать взаимодействующие цивилизации целиком, в совокупности и внутри единого контекста. Вот один лишь пример. Очень часто историческую роль Киевской Руси, а с ней и всего Балто-Черноморья видят лишь в защите от монгольского завоевания Европы. Москва оказывается до време-

¹ «Я трактую международную систему на поверхностном ее уровне как систему конфликтную» [9, с. 252].

ни лишь мелким осколком былой державы. Это, конечно, верно. Но не менее верно и другое. На осколках разбитой державы Рюриковичей в течение 1250–1350 годов формируется своего рода преемник миросистемы (World System). В XIII столетии кочевая империя Чингисхана «замкнула» цепочку цивилизаций от Центральной до Дальневосточной и превратила основной массив Старого Света в единое суперцивилизационное пространство. Тем самым начался процесс, который в конечном счете вылился в глобализацию [14]. Произошло свертывание различных плоскостных «лоскутов» цивилизаций в целостное сферическое метацивилизационное пространство. Конечно, решающим моментом в этом процессе стали Великие географические открытия и модернизационная экспансия Европы вдоль маккиндеровских Полумесяцев. Однако отмеченное тем же Хэлфордом Маккиндером сходство функций моряков Васко да Гамы и казаков Ермака подсказывает, что модернизирующее замыкание нашей планетной сферы шло не только через океаны, но и сквозь континенты – в первую очередь сквозь просторы Старого Света и Сердцевину Земли. Цивилизация коренной Евразии, то есть Россия, сыграла и продолжает играть ключевую роль, структурно сопоставимую с ролью Европы.

Подобный ход рассуждений неизбежно заставляет вспомнить концепцию двойной цивилизации Россия – Европа. С моей точки зрения, в этой концепции В.Л. Цымбурского проявляется контрапункт двух цивилизационных крыльев бабочки вокруг ее тельца в виде лимитрофной двойной периферии. Соответствующий контрапункт лег в основу концептуальной карты Стейна Роккана. Он же использован В.Л. Цымбурским в более узком смысле, в духе конфликтных систем. Рассуждая о внутренних программах европейской «куколки-хризалиды», наш коллега отмечает, что «важнейшая из таких программ в собственно геополитическом аспекте была связана с генетической биполярностью континентальной коренной Европы – биполярностью, восходящей к обособлению и конкуренции двух больших провинций раннесредневекового Франкского королевства: разделенных Рейном Нейстрии и Австразии¹». На их основе «вырастают две крупнейшие западно-христианские державы – королевство Франция и Священная Римская империя германской нации» [9, с. 107–108], контрапункт которых структурирует силовой расклад в Европе вплоть до наполеоновских войн.

Рассмотрение биполярности в терминах конфликтных систем, без всякого сомнения, весьма продуктивно. Об этом свидетельствует обширнейшая литература о биполярности мира и соперничестве сверхдержав в XX веке. Не менее, а, с нашей точки зрения, даже более продуктивно рассмотрение биполярных структур в расширенной перспективе, с учетом не только поверхностных, силовых, но и глубинных, собственно цивилизационных изменений.

В плане взаимодействия цивилизаций В.Л. Цымбурский рассматривает «два случая, когда цивилизации образуют бинарные системы, причем один из элементов системы играет роль “цивилизации-хозяина”, а другой, более молодой, выступает как “цивилизация-спутник”». Это Европа и Россия, а также Китай и Япония. В последнем случае – «это дальневосточная (так называемая конфуцианско-буддистская) цивилизационная система, внутри которой выделяются в последние полтора тысячелетия “цивилизация-хозяин” – Китай с его континентальными приделами (Кореей, Юго-Восточной Азией, приалтайскими областями) и “цивилизация-спутник” Япония» [9, с. 120].

Вместе с тем на примере России и Японии он обнаруживает «различие в типах геополитических отношений, способных устанавливаться внутри систе-

¹ Нейстрия (*Neustria*), или иногда Нейстразия (*Neustrasia*), – «новая» земля, нынешняя Северная Франция, заселенная пришедшими с Рейна франками. Австразия (*Austrasia*), именовавшаяся иногда также Австер (*Auster*), – «восточная» земля.

мы цивилизаций между цивилизацией-хозяином и цивилизацией-спутником» [9, с. 121]. В чем же это различие? В случае Китая и Японии силовой, геостратегический аспект сводится к минимуму, а в случае с Россией он, по мнению В.Л. Цымбурского, максимально усилен.

В целом соотношение между двумя двойными системами определено, вероятно, довольно точно. Однако очевидный в логике конфликтных систем контраст между двумя цивилизационными комплексами выглядит далеко не столь однозначным при учете также и глубинных геохронополитических аспектов. Попытаемся проследить вслед за В.Л. Цымбурским силовую бинарную логику конфликтной системы в пространстве Европы и России.

В полном соответствии со своей логикой силовых противоборств В.Л. Цымбурский объясняет «ускоренное послепетровское втягивание новообразованной Империи в военную политику мира за балтийско-черноморско-адриатической полосой» – структурной необходимостью для Европы «наращивания своего слабого восточного центра силами России». В результате «цивилизация-спутник прямо включается в силовой баланс цивилизации-хозяина» [9, с. 121–122].

Инициатива в создании двойной конфликтной системы принадлежала Европе, которая в череде войн создала ореол имперских оболочек, переходящих в не-Европу. На эту роль геополитическая логика предназначила коренную Евразию, к концу XVII столетия представленную Россией. Это предопределялось мощью и структурным потенциалом европейской суперсистемы, которая вовлекла в сферу тяготения собственно Вестфальской системы также некие зародыши систем-спутников: Балто-Черноморской, Балканской и Средиземноморской. Отдельными своими звеньями эти малые системы как бы накладываются друг на друга. Швеция участвует в Вестфальской и Балто-Черноморской системах, Франция – в Вестфальской и Средиземноморской и т.п. Это ведет к постепенной интеграции отдельных конфликтных систем в международную систему общеевропейского масштаба путем сначала «склеивания» в терминах В.Л. Цымбурского, а потом и поглощения пограничных конфликтных систем.

В завершение статьи мне хотелось бы переиначить слова Вадима Цымбурского. Для Балто-Черноморья наступают хорошие времена, задача только в том, чтобы суметь это увидеть. Давайте попробуем сделать это. Это нужно нам, гражданам нынешней России. Мы не сможем обустроить свой дом, если не сможем понять, как наше домохозяйство соотносится с ближайшими к нам домохозяйствами, как нам найти или проложить пути к удаленным, но важным для нас соседям.

Литература

1. Ильин М.В. Очерки хронополитической типологии. Проблемы и возможности типологического анализа эволюционных форм политических систем. М.: МГИМО, 1995.
2. Ильин М.В. Проблемы и возможности типологического анализа эволюционных форм политических систем: Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора политических наук. М.: Московский государственный институт международных отношений; Кафедра политологии, 1996.
- 2а. Ильин М.В. Этапы становления внутренней геополитики России и Украины // Полис. 1998. № 3. С. 82–95.
3. Ильин М.В., Цымбурский В.Л. Общества «открытые» и «закрытые» (Миф и его рационализация) // Космополис. Альманах 1997. М.: МГИМО; Полис, 1997.
4. Ильин М.В., Цымбурский В.Л. Открытое общество: от метафоры к ее политической рационализации (исходный миф и его самокритика). М.: Московский общественный научный фонд, 1997.

5. Хатунцев С.В. Лимитрофы – межцивилизационные пространства Старого и Нового Света // Полис. 2011. № 2.
6. Хатунцев С.В. Новый взгляд на развитие цивилизаций и таксономию культурно-исторических общностей / Цивилизационный подход к истории: проблемы и перспективы развития. Ч. 1. Воронеж, 1994.
7. Цымбурский В.Л. Геополитика как мировидение и род занятий // Полис. 1999. № 4.
8. Цымбурский В.Л. Метаморфоза России: новые вызовы и старые искушения // Вестник МГУ. Серия 12 Социально-политические исследования. 1994. № 4.
9. Цымбурский В.Л. Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. 1993–2007. М.: РОССПЭН, 2007.
10. Цымбурский В.Л. Сердцевина Земли, или Остров на материке // Россия. 1991. № 51.
11. Цымбурский В.Л., Ильин М.В. Мифология «открытого общества» как явление дискурса // Цивилизационный подход к истории: проблемы и перспективы развития. (Тезисы межвузовской научно-практической конференции. Воронеж, март 1994). Воронеж: Воронежский педуниверситет, 1994.
12. Челлен Р. Государство как форма жизни. М.: РОССПЭН, 2008.
13. Modelski G. The Study of Long Cycles // Modelski G. (ed.) Exploring Long Cycles. London, 1987.
14. Modelski G., Devezas T., Thompson W.R. (eds.) Globalization as Evolutionary Process: Modeling Global Change. New York: Routledge, 2007.

Аннотация. Михаил Ильин рассматривает основные моменты научной дискуссии между ним и Вадимом Цымбурским, развернувшимся с начала 90-х годов, когда они оба развивали геополитические и хронополитические исследования в новой России. Этот спор касался пяти основных тем: особенностей геополитики, геополитики России (Евразии), лимитрофных пространств вокруг России и, особенно, Балто-Черноморья. Очень ясные и отчетливые разногласия между обоими аналитиками не подрывали их принципиального согласия по основным вопросам и не препятствовали их соавторству. Более того, разногласия дополняли друг друга. И по сей день они способствуют дальнейшим исследованиям.

Ключевые слова: геополитика, хронополитика, Россия-Евразия, Остров Россия, Сердцевина Земли, лимитрофные пространства, Балто-Черноморье, Балто-Черноморская система.

Mikhail V. Ilyin, PhD, National Research University Higher School of Economics, Political Science postgraduate school, head; MGIMO-University, Comparative Politics department, Professor; Institute of Scientific Information for Social Sciences, Centre for Prospective Methodologies of Social-Humanitarian Research, Head.

A Dialogue about Islands and Straits, Intermarums and Intermunds.

Abstract. Mikhail Ilyin reviews main subjects of scholarly debate between himself and Vadim Tzimburski since early 90s when they both were promoting geopolitical and chronopolitical studies in new Russia. The debate focused on five major issues: character of geopolitics, links between geopolitics and chronopolitics, geopolitics of Russia (Eurasia), limitrophe areas around Russia and particularly Balto-Pontida. Very clear and coherent differences between both analysts would not undermine their essential agreement on basis issues and would not prevent their co-authorship. Furthermore, disagreements were complementary. Even now they continue to inspire further investigations.

Keywords: geopolitics, chronopolitics, Russia-Eurasia, Island of Russia, Heartland, limitrophe areas, Balto-Pontida, Balto-Pontic system.

В поисках утраченного Царьграда: Цымбурский и Данилевский

История русской геополитики пишется кровью поражений. Она представляет собой опыт критической рефлексии той или иной политической катастрофы и набор рекомендаций, как сделать так, чтобы «никогда больше». В этом отношении два выдающихся русских геополитика – Николай Яковлевич Данилевский и Вадим Леонидович Цымбурский – во многом между собой сходны.

Данилевский в «России и Европе» пытался осмыслить опыт поражения России в Крымской войне, когда вся Европа внезапно выступила против казавшихся абсолютно законными российскому императору притязаний на раздел османского наследства и, в частности, на Константинополь [4]. Почему Европа позволила Пруссии Бисмарка хищнически объединить Германию «железом и кровью», но не дала России изгнать врагов всего христианского мира с Босфора и освободить от его ига единокровных русским славян?

Ответ Данилевского стал базовым для русской цивилизационной мысли: Европа и Россия – это два разных культурно-исторических типа – романо-германский и славянский, – и потому Европа всегда будет противиться укреплению и расширению России, особенно в западном (включая юго-западное) направлении. «Борьба с Европой неизбежна из-за Восточного вопроса, т.е. из-за свободы и независимости славян, из-за обладания Царьградом, – из-за всего того, что, по мнению Европы, составляет предмет незаконного честолюбия России, а по мнению каждого русского, достойного этого имени, есть необходимое требование его исторического призвания» [4, с. 522].

В следующий раз Данилевский рекомендовал России выступать во всеоружии соединенного Славянства. «Пусть только развяжет война путы дипломатического приличия, и мы увидим, как отзовутся славянские народы на искренний, прямой призыв России, который один только и может разом перетянуть на нашу сторону весы в борьбе с враждебными нам силами, к которому, следовательно, мы будем вынуждены самою силой обстоятельств, – призыв, отсутствие которого было главною причиною неудачи Восточной войны, но которого тогда сделать было нельзя (по невозможности сочетания политики либеральной и национальной) до освобождения крестьян» [4, с. 562].

Цымбурский пытался осмыслить «крупнейшую геополитическую катастрофу XX века» – распад Советского Союза, внезапное сжатие России до границ середины XVII века. Цымбурский дает своеобразную кризисную переинтерпретацию этого пространственного коллапса – отпала не коренная часть России, не ядро русской цивилизации, а лимитрофные «проливы», отделяющие «Остров Россия» от Европы и других цивилизационных платформ [31].

Холмогоров Егор Станиславович, публицист, главный редактор интернет-журналов «Русский обозреватель» и «Новые хроники».

В основе геополитических злоключений России лежит цикл «похищенный Европы» – перерастание борьбы за лимитрофный пояс в борьбу за место и доминирование в Европе, которая не может не кончиться неудачей и сжатием русского пространства, переориентацией русской геополитики на Восток. Одним из таких сжатий, «евразийских интермедий», был как раз период после Крымской войны и русско-турецкой войны 1878 года, на который приходится проповедь Данилевского. «Время горчаковского сосредоточения России и победоносцевской ненависти к Европе; время, когда народники прокламировали “некапиталистический путь”, Достоевский призывал русских найти себе новую судьбу в Азии, а Толстой потрясал православие проповедью своеобразного “буддизированного” христианства» [33, с. 57].

Рецепт Цымбурского – отказ от европейничания, от соотношения себя с европейским и вообще любым глобальным порядком, самоосознание русской цивилизации как «особого самодовлеющего человечества на особой земле» [27, с. 184]. Исход не в пустыни «Евразии», а в тайгу «своего Востока» вплоть до переноса столицы в Новосибирск, а то и восточнее [26, с. 278; 22, с. 286].

В.Л. Цымбурский был талантливым и заинтересованным исследователем истории русской геополитики. Его незаконченным *opus magnum* была диссертация «Морфология российской геополитики», в которую входил, в частности, очерк о Н.Я. Данилевском [30]. Этот очерк полон интереснейших, нешаблонных, в том числе и остро критических, наблюдений, которые отражают не только мысль Данилевского, но и мысль и личность самого Цымбурского. И тем интереснее взглянуть на двух крупнейших русских геополитиков в зеркале друг друга.

Провал проекта Данилевского

Высшая критика для геополитика – это проверка его соображений политическими событиями. Геополитическая программа Данилевского прошла определенную критическую проверку при его жизни. И, надо честно признать, эту проверку не выдержала. Впервые книга «Россия и Европа» была опубликована в 1869 году. Не прошло и десяти лет, как российская внешняя политика, вдохновленная во многом программой Данилевского, предприняла попытку «взлома» турецкой обороны на Балканах при помощи славянской идеи, смеси славянского национализма и панславистского освободительного империализма. Если нельзя сказать, что в русско-турецкую войну 1877–1878 годов славянские народы «отозвались» на призыв России, то несомненно, что Россия отозвалась на их призыв.

Использование национально-освободительной борьбы подробнее оговорено в книге «Россия и Европа». Данилевский отмечал, что идеи национализма имеют лишь весьма ограниченную пригодность в Западной Европе, где наиболее громко провозглашавшие их государства едва могли ими воспользоваться (и в самом деле – Наполеону III, громче остальных говорившему о правах народов, почти некоего было присоединять к Франции на этом основании; зато Германия, опираясь на этот принцип, отняла у Франции Эльзас-Лотарингию)¹.

¹ «Зоркий глаз Наполеона III заметил существенно национальный характер всех стремлений XIX века, и искусная рука его воспользовалась им для своих целей, т.е. для отвлечения умов от вопроса социального... Опираясь на политическое равновесие, Франция, конечно, могла бы препятствовать как объединению Италии, так и объединению Германии, сама же, если ничего не приобретала, то ничего и не теряла. Опираясь на принцип национальности, она, правда, приобрела Савойю и может иметь притязание на французскую часть Бельгии и, пожалуй, Швейцарии, но зато должна внутренне сознаться, что приобрела вопреки этому праву Ниццу и так же точно вопреки ему владеет Корсикой» [4, с. 301–302].

Зато для Европы Восточной, для славян под игом Османской Турции и Австрии, принцип национальности является настоящим подарком¹.

Казалось бы, совместный натиск на Турцию, сочетание национальной борьбы сербов, черногорцев, болгар и румын при России-таране должны были добить «больного человека Европы», а национально-освободительная логика конфликта автоматически обеспечивала дружелюбие или хотя бы нейтралитет большей части Европы.

Результат оказался разочаровывающим. Да, Турция пала и подписала в Сан-Стефано фактическую капитуляцию; да, даже в Англии было сильно движение в поддержку балканских христиан, возглавляемое Уильямом Гладстоном (по иронии истории – случайной ли? – именно в этот момент не являвшимся премьер-министром, каковой пост занимал империалист, ориенталист и просто русофоб Дизраэли-Биконсфилд).

Но вместо панславистского торжества, вместо взятия Константинополя, вместо хотя бы ощущения хорошо сделанной работы и победоносной войны – горечь унижительного поражения. Британии удалось, не издержав ни пушки, ни фунта, не только заставить Россию подписать унижительный Берлинский трактат, рассорить Россию с большинством освобожденных славян, гарантировать неприкосновенность Турции, но и приобрести в свое полное владение такой невероятно притягательный геополитический куш, как Кипр. Россия, воздержавшись от взятия Константинополя, не могла бы ни в каком другом случае даже рассчитывать на приобретение такого трофея, как Кипр.

Николай Яковлевич Данилевский тщательно следил за ходом этой борьбы и вместе с русским обществом горько переживал неудачи и разочарования². «Горе победителям!». Главный геополитический «прием» – прорыв османских укреплений с помощью славянского национализма и панславянского метанационализма – идет именно от Данилевского и проводится славянофилами-панславистами. И тот прием не сработал – точнее, сработал против России. Европа признала ограниченное право Сербии, Черногории и Болгарии на существование как наций, но Россия от этого ничего не получила.

Разочарованный Данилевский переходит, как точно отмечает Цымбурский, на «протоевразийские» позиции. Главной становится не борьба за осуществление славянского дела в Европе, а борьба *против* Британии как сковывающего все усилия России мирового гегемона. Кипрская авантюра Биконсфилда вселяет в него надежду, что Россия сможет «отыграть» свое поражение симметричной аннексией Эрзерума и начать с этого приобретения великий восточный поход против Индии³. Но Данилевский не учел поведен-

¹ «Европа, и именно Франция, провозглашает принцип национальности, который не только не имеет большого значения, но даже вреден для нее, и тем отплачивает России и славянству, играя по отношению к ним также служебную роль и воображая, что действует сообразно с своими собственными интересами» [4, с. 306].

² См. статьи «Война за Болгарию» и «Горе победителям!» [3].

³ «Безумный, по выражению Гладстона, поступок Англии заключает в себе прямое и дерзкое оскорбление России, на которое первый министр ее мог решиться только в полноте гордыни своего торжества... После этого, конечно, и мы, не нарушая постановлений конгресса, были бы в праве сказать: "...Чтобы оградить себя от враждебного влияния Англии в Константинополе, которое, каждую минуту, может открыть ей ворота в Черное море; чтобы предупредить замыслы, которые она может иметь против нашего Закавказья, мы должны были бы заявить, что мы оставляем за собою проходы через Балканы, чтобы и с своей стороны иметь средства влиять на Турцию, что мы не возвращаем Баязета и Алашкертской долины; что мы остаемся в Эрзеруме, чтобы, в случае нужды, пресечь ту железнодорожную линию, которая должна идти вдоль долины Евфрата; что мы укрепим Батум. Англия объявила, что будет владеть Кипром до тех пор, покуда мы оставляем за собою то, что ей угодно называть нашими завоеваниями в Малой Азии; мы

ческих стратегий российской власти: начав проигрывать, она первым делом сбрасывает все козыри.

Если еще недавно Данилевский отворачивался от Востока с насмешкой и скептицизмом, то теперь перерезать артерию между Британией и Индией, сделать для Британии бессмысленной борьбу за Константинополь становится геополитическим приоритетом № 1¹.

И снова русская геополитика в целом последовала интуициям Данилевского, обладавшего удивительным даром предвидения будущих политических форм, – достаточно вспомнить, что грядущий русско-французский союз он именует «сердечным соглашением», *антантой*², удивительно точно прогнозирует судьбу Австрии, а Варшавский договор кажется сконструированным с «Россией и Европой» в руках. Начинается борьба за дальние подступы к Индии, «большая игра», «великая борьба Континентов», которая найдет отражение в геополитике Маккиндера и ее вариациях.

Россия пытается применить двухсторонний геополитический охват и становится, по выражению В.П. Семенова Тянь-Шанского, системой «от моря до моря» [18]. Русский медведь начинает осваиваться в Центральной Азии, тянутся ветки Транссиба и КВЖД, затевается «Желтороссия», экспедиции одна за другой отправляются в Сынцзян, Амдо и Кам, русские артиллеристы расстреливают в 1901 году ворота Маньчжурского Города в Пекине, налажены активные дипломатические контакты с Тибетом, в 1914 году в состав России входит Урянхайский край (Тува). Последние затухающие колебания этих усилий относятся уже к большевистскому периоду – стремлению возбудить посредством Коминтерна борьбу угнетенных народов и странноватым экспериментам в Тибете и Индии превратившегося в чекиста Николая Рериха.

Но и эта борьба во многом обесмысливается на своем пике драматическим «хуком справа» – русско-японской войной и доведением России на Тихоокеанском геополитическом театре до ничтожества. Событие, безусловно, прогнозируемое. Япония вполне осознанно оставляется вне зоны западной колониальной экспансии, вместо колонизации европейские державы стимулируют ее подъем и военное укрепление именно в качестве замка на тихоокеанских воротах России. Англия руками своей союзницы Японии, по сути, так же обесмысливает Восточный проект России, как ранее обесмыслила Константинопольский.

Невозможно не отметить параллелизма с другим геополитическим поражением – глобальной коммунистической экспансии СССР в третьем мире, потерпевшей крах на Дальнем Востоке. Китай оказался таким же замком, навешенным на этот новый глобальный проект. «Восточничество» оказалось не менее проблематичной геополитической парадигмой, чем западничество и панславизм. Прорыв глобального геополитического «кольца Анаконды» через исход к Востоку был столь же unsuccessfulным, как и похищение Европы или геополитическая осада Константинополя.

должны были бы объявить, что сохраним Балканские проходы, Баязет с Алашкертской долиной, Эрзерум и батумские укрепления, до тех пор, пока Англия не возвратит Кипра и не откажется от своей системы недоверия и оскорбительной подозрительности, выразившейся в присвоении ею протектората над Малою Азией» [3, с. 273].

¹ «Как реалист-геостратег Данилевский кончил жизнь типичным “протоевразийским мыслителем”, рвущимся на Босфор через Колхиду и Калькутту и склоняющимся к мысли, что собирание славянства как-то проистечет из парализующего Англию контроля нашей Империи над платформами Азии» [30, ч. II].

² «Как внутри, так и вне России и Франции замешано слишком много интересов, заботящихся не допускать их до сердечного соглашения» [5, с. 47]. Статья написана в 1871 году!

Островной переворот

Ответом на этот опыт неудач и была попытка Цымбурского совершить «коперникианский переворот» в геополитике (точнее, я бы сказал, напротив – птолемеевский, геоцентрический поворот). А что если вырваться из геополитического капкана не удастся потому, что это никакой не капкан и выход из него невозможен? Каждая цивилизация имеет собственную геополитическую платформу. Цивилизации мыслятся Цымбурским как геологические литосферные плиты, а разделяющие их лимитрофные пространства как складчатости¹.

При такой смене системы координат интервенции России в чужие пространства представляются ненужным и безнадёжным делом, лишь отвлекающим от внутренней колонизации. Жить на острове одним, никем не тревожимыми, – вот всё, что нужно. Разве не это русский геополитический архетип, заложенный с образа «Острова Русов» в арабских текстах IX–X веков и продолженный в образе Града Китежа, уходящего в случае геополитического кризиса – татарского нашествия – на дно озера Светлояр? [32]. России следует заняться самоосвоением, уйти даже не на Восток, а на Северо-Восток, перенести столицу в свой геополитический центр – куда-нибудь в Новосибирск, а то и подальше. Работы по закреплению и освоению этого пространства хватит на сотни лет.

Однако этот проект требовал одного допущения – приходилось предположить, что никакой серьёзной внешней угрозы для России, занятой своими делами, не существует, что западная экспансия является лишь ответом на вторжения России в европейские пространства, что геополитические платформы цивилизаций относительно неподвижны и расширяются только за счет пустот на своем геополитическом «острове».

Простое историческое наблюдение ставит это допущение под большой вопрос. Глобальной цивилизации – Западу – в ее англосаксонском модуле удалось нарастить свою первоначальную платформу вдесятеро, заняв большую часть Северной Америки, Австралию и Новую Зеландию, оторвав от «конфуцианской» цивилизационной платформы боевого сателлита в виде Японии. Не случайно, когда на современных картах «Россия в кольце санкций» пытаются показать мир, не введший санкции против России, то всё равно, мы внушительно охвачены со всех четырех океанов: США и ЕС на Атлантическом, Канада на Арктическом (позволю себе более адекватное, на мой взгляд, именование Северного Ледовитого океана), США, Япония, Австралия и Новая Зеландия на Тихом, Австралия на Индийском.

В то время как остальные цивилизации сидят, как кулики, на болотах своих геополитических платформ и либо приливают, либо отливают в свои лимитрофы, одна цивилизация агрессивно расширяется на все минимально поддающиеся экспансии пространства и во все среды – океанскую, воздушную, космическую. Концепция локальных цивилизаций, непроницаемых цивилизационных монад, оказывается, тем самым, системой ограничений для тех, кто не должен мешать экспансии одной цивилизации, сочетающей свойства локальности и глобальности. В такой перспективе оценка чрезмерного экспансионизма России приобретет совершенно иной характер.

Представить себе мир, в котором не расширяется Россия, в котором не пытались создать свои сферы влияния Германия и Япония, не пытается отстро-

¹ Возможно ли успешное проникновение одной цивилизации в глубь геополитической платформы другой цивилизации? По общей логике Цымбурского – скорее нет. Но сам мыслитель такую интерпретацию своей позиции категорически отрицал. См. язвительную рецензию «Китай до Урала – цена русского европеизма» [28].

ить свой запоздавший на полтысячелетия имперский мемориал памяти флотоводца Чжэн Хэ Китай, не колеблется, представляя собой зону нестабильности и угрозы, арабский мир, – это значит представить себе мир, в котором англосаксонская экспансия практически не имеет не то что реального предела, но хотя бы горизонта.

Другой случай экспансии Запада за пределы своей цивилизационной платформы – глобальная империя Испании – в каком-то смысле обнулится. Спустя пять столетий после Колумба латиноамериканский мир кажется скорее продолжением европеизированных индейских империй, чем частью испано-португальского и тем более европейского мира. Никакой евроатлантической солидарностью там и не пахнет. Цымбурский вообще полагал Латинскую Америку зоной становления «вудуистской» сакральной (если тут уместно это слово) вертикали [34, с. 149–152].

Однако это различие исчерпывающе разъяснено Ниалом Фергюсоном, одним из ведущих американских ястребов англосаксонского мира. Латинская Америка отстраивалась как совместный в антропологическом плане проект, где свое место было предоставлено и испанцу, и индейцу, и африканцу. Североамериканский же проект (и причина его успеха, как прозрачно, рискуя навлечь обвинения в расизме, намекает Фергюсон) строился на геноциде и сегрегации, на полной замене населения и создании нового мира белыми и для белых [19]¹. Этому не противоречит американское равноправие и создание свободного от сегрегации и даже гиперполиткорректного общества. Афроамериканцы в социокультурном отношении – один из феноменов той же белой, западной цивилизации, оторванные от каких-либо исторических корней, от первоначальной культуры Африки и еще более чуждые Америке, чем белые поселенцы.

Как справедливо отмечает Цымбурский, русская цивилизация – одна из самых малочисленных цивилизаций планеты². Если взять плотность населения на квадратный километр национальной территории, то самая малочисленная.

¹ Разумеется, в современных США книга немаргинального автора с апологией расовой сегрегации невозможна. Фергюсон высказывает свои тезисы, прибегая к «фактописи»: он постулирует отставание Латинской Америки от США, дает сочашиеся ядом характеристики Боливара и Чавеса, а затем показывает соотношение расового смешения в Латинской Америке с сегрегацией в США. После чего формулирует напрашивающийся у читателя вывод через его отрицание: «И всё же думать, будто своим успехом США обязаны сегрегации, глупо. Неверно, как Уоллес, считать, будто США наслаждаются покоем и достатком (в отличие от Венесуэлы и Бразилии) благодаря запрету смешанных браков и целому ряду других межрасовых барьеров...» [19, с. 196]. Автор восхваляет торжество демократии над сегрегацией: «Нынешний президент США – человек, рожденный белой матерью от чернокожего отца (во времена Боливара его называли бы *каста*). Даже на выборах в Виргинии он обошел прославленного ветерана войны шотландско-ирландского происхождения. Это казалось фантастикой еще 30 лет назад» [19, с. 196–197]. Иронию можно и не заметить, если не знать, что Фергюсон – многолетний ближайший советник проигравшего ветерана, сенатора-ястреба Джона Маккейна.

² «Ее, взявшую под контроль колоссальные площади евро-азиатского Севера, отличало очень небольшое популяционное ядро. Привыкшие превозноситься как «великая страна» и «великий народ» русские не желают реалистически на себя взглянуть как на крайне малочисленную цивилизацию. Те или иные страны раздробленной политически Европы могли трепетать перед суммарными размерами русской армии. Но если сравнивать людской потенциал России, исходя из задач, создаваемых ее геополитическим положением, не с населением отдельных европейских государств, но с численностью современных ей цивилизаций – евро-атлантической, средневосточной, китайской, индийской, Россия окажется среди них самой малолюдной» [27, с. 190].

Еще в XVII веке, в годы Смутного времени, английскому королю Якову I представлялись проекты завоевания Архангельска¹. В годы другой гражданской войны в России англосаксонский мир обозначил себя на русском Севере – в Мурманске и Архангельске и на Дальнем Востоке – во Владивостоке. Всюду, куда можно дотянуться по морским коммуникациям, отсутствие внутреннего препятствия означает распространение англосаксонского влияния. Неслучайно поздний Маккиндер уделял такое внимание *Lenaland*, считая ее зоной не теллуократии, но талассократии, лишь временно и незаконно контролируемых державой Хартленда – Россией.

Едва ты соглашаешься окопаться на своей платформе и не казать с нее носа, едва понадеешься отсидеться на острове, как эта платформа начинает расщепляться, остров оказывается льдиной на солнце и крошится прямо под твоими ногами.

Сибирская защита

Экспансии можно противопоставить только свою экспансию, зачастую – опережающую. Территория России, в том числе и нынешняя, – это пространство русской экспансии (или вытеснения русских, если геополитический вектор разворачивается от наступления к обороне). В XVI–XVII веках Россия с легкостью раздвинула пределы своего мира, пользуясь теми же инструментами, что и Испания с Англией, – преимуществом водного пути над сухопутным и огнестрельного оружия над холодным.

Русская модификация этой технологии экспансии была минимальной, но сверхэффективной. Вместо морей и океанов русские двигались по рекам, получая опережение в темпе над степняками и тем более над первобытными охотниками. Ключевые точки рек запирали острогами, которые обороняли с помощью пушек и пищалей. До столкновения у Албазинского острога с мощной по меркам XVII века Маньчжурской империей Россия и в самом деле не встречала на своем пути в Сибирь соперника-цивилизацию.

Но главное – русские рано начали аграрную крестьянскую колонизацию Сибири, перенесли в нее не только и не столько системы политического управления, сколько аграрный базис². Если бы в Сибирь не пришел русский хлебопашец, который стал сеять в ее сравнительно экстремальных условиях привычную русским рожь, то ни о каком прирастании России Сибирью говорить бы не пришлось.

¹ Яков I «был увлечен планом послать армию в Россию, чтобы управлять ею через своего уполномоченного (*deputy*)» [17, с. 61].

² В уникальном по охвату материала классическом исследовании В.Н. Шерстобоева «Илимская пашня» сказано прямо: «Основу экономического развития Сибири того времени составляет сельскохозяйственное освоение ее пространств. Не поиски пушнины, не разведки серебряных жил и золотых россыпей, не промысловая, торговая или промышленная колонизация Сибири, а сельскохозяйственное освоение ее является стержнем экономического развития Сибири. Оно закрепило победу казаков, заставило местные народы сложить оружие, воспринять земледельческую культуру русского крестьянства и навсегда сделало сибирские пространства неотъемлемой частью России. Истинными завоевателями Сибири были не казаки и воеводы, а пашенные крестьяне. Именно они быстро и навсегда решили вопрос – быть ли Сибири китайской, японской, английской или русской. Внутри дорусской Сибири не было сил, способных объединить ее разноплеменное население в самостоятельное целое. Местные народы неизбежно должны были соединить свою судьбу с судьбами большого народа. Таким народом по праву явился русский народ. А так как в те времена подлинной сердцевинкой его были крестьяне, то естественно, что крестьянство оказалось главным фактором превращения Сибири в русский край, а по составу населения даже более русский, чем были некоторые доуральские и приволжские области» [35, с. 3–4].

Здесь, пожалуй, кроется еще одно различие испанского и русско-англосаксонского типа расширения цивилизационной платформы. Испанцы не смогли перенести на новую почву испанского крестьянина – экономьенды, латифундии, были совершенно не похожи на условия испанского крестьянского хозяйства. Напротив, англосаксам, хотя и с поправками, удалось перенести один из типов средневекового британского хозяйствования – йоменское хозяйство, вытесняемое как раз в XVIII веке из самой Англии, – на почву Америки в качестве хозяйства фермерского. И один из важных цивилизационных смыслов столкновения Севера и Юга в Гражданской войне в США – это столкновение двух аграрных путей: фундаментально европейского и колониального. Если бы Север в той войне проиграл, то скорее всего США перестали бы быть частью Западной цивилизационной платформы, трансформировавшись в отдельный цивилизационный феномен (возможно, кстати, начав спланировать вокруг себя другие южноамериканские пространства).

Интересно, что Цымбурский заимствовал у теоретика сибирского областничества Г.Н. Потанина прямо противоположный взгляд на сибирский хозяйственный тип. Он ему представлялся отличным от социального и хозяйственного строя основной России: «отсутствие дворянства, оторванность от великорусских традиций, индивидуализм в сельском мире, распыление земельной общины» [31, с. 16].

Однако Потанин попросту закрыл глаза на то, что северорусские крестьяне несли с собой в Сибирь не иной, а тот самый хозяйственный строй, что утвердился на русском Севере и отчасти на юге в зоне Дикого поля, в среде государственного крестьянства. До петровской ревизии дворянское крепостничество было основополагающим фактом аграрного строя только центральных областей русского государства. А вот государственное крепостничество в не меньшей степени было характерно и для Сибири, где основной повинностью была обработка «государевой десятинной пашни» в соответствии с нормами «сулешевского оклада»¹.

Что же до отсутствия в Сибири земельной общины, то считать это «прогрессивной» чертой можно было только по исторической наивности. Отсутствие земельной общины и ее влияния на земельные отношения приводило, как справедливо отмечал В.Н. Шерстобоев, к полной незащитности крестьянина перед воеводой – единственной инстанцией, управлявшей землепользованием².

Банкротство риторической стратегии «Сибирь – колония России» заложено именно в полном распространении на Сибирь «материкового» хозяйственно-культурного базиса, дополненного в XX веке базисом второго порядка – индустриальным. Взятая казаками со стругов, ясачно-пушная Сибирь уже со второй половины XVII века – интегральная часть русской цивилизационной платформы за счет этнического состава населения, своего северорусского аграрного типа и своего «урало-донбасского» индустриального типа.

Но считать это расширение чем-то само собой разумеющимся, чем-то априорно заложенным в конструкции евразийской геополитической платформы, конечно, невозможно. Когда Цымбурский предлагал свой проект «заураль-

¹ «Русский крестьянин, перевалив за Урал, в конце концов находил в западно-сибирской слободе обстановку, очень близкую условиям крепостной деревни центра» [36, с. 209].

² «Мир не вмешивался в земельные споры, и никто из тяжущихся не искал в общине путей решения споров с соседом. Все нити тянулись к воеводе... Принцип личных поземельных прав проводился в отношении крестьян настолько последовательно, что даже ближайшие родственники главы двора не наследовали их. В случае смерти главы семьи сыновьям или другим наследникам необходимо было оформить право владения землей посредством челобитья воеводе...» [35, с. 462].

ского Петербурга», он прекрасно отдавал себе отчет, что речь идет не о стабилизации в центре русской платформы, а об агрессивном экспансионистском проекте, выносе политического центра далеко за пределы первоначального русского ядра [26].

За оптимизмом «своего Востока» у Цымбурского скрывается глубинный страх, который в 1990-х годах пронизывал душу каждого любящего Россию и который вновь возвращается сейчас с повышением геополитической турбулентности. Это страх отторжения Сибири, перенаречения ее «колонией» (любимая тема современных западных и созвучных с ними здешних специалистов по России) и последующей «деколонизации».

Обратим внимание на полемическую настойчивость Цымбурского в заочном споре с Потаниным: «Россия возникает в полноте необходимых и достаточных геополитических характеристик не при Рюрике и не при Иване Калите, а в течение XVI в., и последней среди этих характеристик стал выход русских в земли Заволжья и Зауралья. Россия не присоединяла Сибири – она *создалась Сибирью*» [31, с. 25].

По большому счету, Цымбурский маскирует под изоляционизм жестко экспансионистский проект, преемствующий «Письму вождям» Солженицына (это идейное преемство неоднократно им подчеркивалось) [22, с. 475]. Утвердить Сибирь за собой, за пространством русской цивилизации, сделать неотторжимой «платформенной» частью то, что могут попытаться оспорить и отторгнуть. Ради этого направления экспансии, самого легкого, поскольку совершается она уже по внутривнутриполитическим линиям, в пределах своих границ, пожертвовать отдаленными геополитическими утопиями в глобальном мире, где мы слабее и зависимы от мнимых союзников и коварных врагов.

Остров утопии

Этот код «естественности» русской экспансии, ее мнимой предопределенности конфигурацией геополитической платформы не так безобиден, как кажется. Ради создания иллюзии мнимой бесконфликтности «своего Востока», комфортности его освоения Цымбурскому приходится фактически забыть все драматические перипетии реальной тысячелетней борьбы за него, так ярко показанной М.К. Любавским в его «Очерках по истории русской колонизации».

Этот уход Цымбурского в понимании «своего Востока» от терминологии борьбы и покорения может иметь парадоксальное следствие. Столкнувшись с сопротивлением, мы можем решить, что там, где начинается сопротивление, там кончается для русских зона *своего*, начинается либо лимитрофное, либо чужое пространство, из которого в той же логике, которая вызывает островной проект, лучше отступить. Россия, таким образом, превращается в сыр, покрытый дырками, с увеличением вероятности событий, ведущих к коллапсу.

Сам для себя, на своем внутреннем языке, который не раз с полной откровенностью излагал собеседникам, Вадим Леонидович решал эту проблему «по-американски». Никаких внутренних этических ограничений для цивилизации при расчистке территории на своем острове он не видел¹. Но это был язык далекого от политических рычагов геополитика, которого реальный политик себе позволить не может (по крайней мере при текущих константах мироустройства).

¹ «Русские в ту пору так же, как позднее шедшие на запад северо-американские колонисты, брали “ничейное”, заполняя собою свой “остров”. Факты аннексии туземных “этно-экоценозов” сходны с индейской проблемой в Северной Америке – дело между русскими и соответствующими этносами того же “острова”, а не между Россией и другими платформами» [31, с. 12].

Кстати, этот взгляд также во многом перекликается с воззрениями Данилевского, которые Цымбурский резюмирует так: «Народы – этнографический материал», который ассимилируется со строителями культурно-исторических типов и увеличивает плодотворное разнообразие последних. Народы, не достигшие государственной фазы, не должны проявлять претензии “на политическую самостоятельность, ибо, не имея ее в сознании, они и потребности в ней не чувствуют и даже чувствовать не могут”». При этом Цымбурский критически замечает: «О праве народов “этнографической фазы” на свою культуру, о праве их не становиться для кого-либо строительным “материалом” Данилевский вообще не задумывается: о каком бы то ни было праве он начинает трактовать с момента обретения народом политической воли и силы» [30, ч. I]. Но тот же самый упрек может быть адресован и ему самому!

Однако как быть с тем, что времена имеют свойство меняться? Тот, кто еще вчера служил этнографическим материалом, сегодня втягивается в орбиту конструирования нации, национального строительства, становясь порой вооруженным и очень опасным – rebel, а то и freedom fighter. С народами русского Острова в XX веке прямо на глазах Цымбурского произошла удивительная метаморфоза. Сперва им искусственно навязывались свой письменный язык, своя государственность в рамках ленинской национальной политики, и вот уже они входят в ее вкус.

Главная предпосылка Цымбурского и (на мой взгляд) его главная ошибка вновь роднит его с Данилевским, Шпенглером, Гумилевым и многими другими. Это попытка приписать истории *органический* характер, выделить некие *естественные* пространства, естественные ареалы обитания популяций («популяция», «этнос» – тоже часть инструментария, унаследованная именно от Гумилева)¹. Это код секулярной мысли XIX–XX столетий, когда «естественное» означает «вечное», «оправданное», точнее – не нуждающееся в оправдании. Всё, что построено или завоевано, что может быть результатом исторического процесса, то может быть отыграно назад, а вот против природы не попрешь.

Динамическую, требующую для своего поддержания напряженных военных усилий пограничную систему Цымбурский перекодирует через метафору в геологическую данность: «остров», «проливы», «платформы», «приливы». Этот геологизм как бы освобождает человеческую волю и от ответственности, и от ошибки. Геополитическая катастрофа 1991 года происходила на глазах Цымбурского в пространстве решений и их отсутствия, в пространстве зловолия и безволия. И он пытается так перекодировать русскую геополитику, чтобы от решений в ней зависело как можно меньше, чтобы эти решения представлялись однозначно заданными цивилизационными доминантами, а те, в свою очередь, вытекали из природных реальностей.

Между тем отказ от напряженной политической, военной и культурной борьбы, от понимания судьбы цивилизации как динамического расширения своего ареала, «намывания» своего острова – всё это увеличивает, а не уменьшает геополитические риски России. Уменьшая ценность исторически осуществленного, отказываясь от понимания исторического как неотменимого именно потому, что оно уже содеяно в истории, мы подвергаем себя риску культурной перекодировки природного ландшафта, как это сделал тот же Маккиндер с Lenaland.

¹ Зависимость Цымбурского от аппарата и базовых мифологем Л.Н. Гумилева – чрезвычайно интересная тема. Тем более интересная, что, будучи оппонентом евразийства, Цымбурский старается минимизировать вещественные следы этого влияния в виде ссылок и прямых упоминаний, создавая ощущение «естественности» своего словоупотребления, или таких мыслительных ходов, как расчленение Древней Руси и новой России, создающейся именно через экспансию в Евразии.

К примеру, евразийская теория борьбы Леса и Степи оставляет за русскими только область леса, а значит господство русского этноса во всем степном ареале, которое с таким трудом столетиями отвоевывалось Россией, предстает как противоестественное. Степь может быть переосмыслена как отдельная геополитическая реальность (направление, в котором движется мысль Гумилева), и вот уже степная Россия предстает перед нами как нечто геополитически незаконное. А потом Лес, родной русский Лес, может быть переосмыслен как месторазвитие финно-угорских народов. И вот уже русское присутствие в лесном ареале предстает как вторжение. И после ряда перекодировок от громадного русского острова остается уже пятачок на мысу, где русскому едва есть где поставить один лапоть.

У автора этих строк есть собственная любимая естественно-географическая теория, связанная с центральным значением рек в русской этнической картине мира. Первичная адаптация русского этноса – это адаптация к речному, пойменному ландшафту. Русский этнос возник как синтез славянства с его адаптацией к рекам и озерам и викингов с их дерзкой способностью к стратегическому мореплаванию. Уникальная способность русских к стратегическому рекоплаванию позволила превратить всю Северную Евразию в геополитическую арфу, на реках и волоках которой сыграна мелодия русской колонизации. Но не дай Бог здесь впасть в соблазн редуccionизма и свести русское пространство к рекам. Хотя бы потому, что значение речного фактора падает с развитием железных дорог, которые создают совсем иные геополитические конфигурации.

Геополитика есть не следование истории за географией, а преодоление историей географии. Если надо – и исправление географии историей. Примером такого исправления служит деятельность Г.И. Невельского, практически в одиночку перерисовавшего карту русского Дальнего Востока, обнаружившего проходимость Амурского лимана, островной характер Сахалина, «отредактировавшего» направление разделявших Россию и империю Цин, согласно Нерчинскому договору, хребтов. Чтение воспоминаний Невельского свидетельствует о безусловном триумфе воли, первенствующей и над когнитивной косностью тогдашней географии, и над вязким сопротивлением имперской бюрократии, и над обычным российским управленческим хаосом, и над самой трудностью удаленных пространств [15]. Мы видим, как новый мир русского Приморья буквально вырастает из воли одного человека.

До тех пор пока русский остров мыслится как пространство вод и камней, до тех пор ему грозит разрушение и раскол. Его прочность будет гарантирована, только если мы переосмыслим его как пространство исторических деяний, как пространство, освоенное и скрепленное русской историей, в которой, разумеется, есть место не только сотрудничеству и дружбе, но и завоеваниям, и установлению иерархии отношений.

Именно историческое деяние в конечном счете, а не географическая или геополитическая предопределенность, и создает Россию в коротком, но поэтичном резюме самого Цымбурского: «Уничтожение Орды и ее обломков, движение русских к Уралу и дальше к Тихому океану, сделавшее их “особым человечеством на особой земле” в окружении “мирового басурманства”. Опираясь на свою лесную и лесостепную ландшафтную нишу, русские взорвали старую внутриконтинентальную Евразию кочевников, огромную и зыбкую периферию всех цивилизаций, ни к одной из них не принадлежавшую, но всем грозящую. От этой Евразии остались окаймивший Россию Великий Лимитроф да тюркомонгольские анклавов внутри воздвигшейся русской платформы, так же напоминающие о древнем состоянии этой земли, как баски или кельты в романогерманской Европе» [27, с. 189].

Природа может быть преобразована. Отменить историю может только другая историческая сила, и только преодолев нашу историческую силу. «А там посмотрим, что прочней».

До середины Днепра

««Проливная» теория Цымбурского имеет один странный пробел-оговорку, на который редко обращают внимание при ее анализе. Вопреки возникающему впечатлению об одинаковой безразличности контроля за любыми участками Лимитрофа для судьбы Русского Острова – это Левобережная Украина, Новороссия.

«Представим, в порядке контрфактического моделирования, что в середине XVII в. Россия, прикрывшись от Польши, Крыма и Турции мягким сюзеренитетом над Левобережной Украиной, отвоевав выход в Балтику и Азов, а также приняв под свою руку часть племен Кавказа, в дальнейшем перешла бы на западе к обороне и торговле, а основную силу бросила бы на освоение Сибири и тихоокеанского Приморья – того самого, которое стало в нашей топонимике Приморьем с большой буквы и без уточнений в отличие от наших «окон» в приатлантические бассейны. Разве сильно отличалась бы своими контурами страна, возникшая таким путем, от РФ, которую мы имеем?» [31, с. 7].

Предлагая в «Острове России» этот знаменитый мысленный эксперимент, Цымбурский как бы обходит тот факт, что ни в 1993 году, ни тем более двадцать лет спустя никаким «мягким сюзеренитетом» над Левобережной Украиной Российская Федерация не обладала. А возникновение этой темы в пространстве реальной политики в 2013–2014 годах – вызвало глобальный кризис, еще раз напомнив нам, что вопреки точке зрения Цымбурского кризисы взаимоотношений России и Европы диктовались не агрессивными попытками похищения Европы, а нежеланием Европы признать за Россией право держать в руках «ключи от своего дома» – причем уже не на Босфоре, а на Борисфене.

Между тем, контроль за Левобережьем – это в геополитических уравнениях самого Цымбурского условие, невыполнение которого приводит Россию к геополитическому нулю. «Границ, за которыми могла бы кончиться российская геополитическая идентичность, три: это полное срастание России с одной из соседних этноцивилизационных платформ, либо исчерпывающий охват «территорий-проливов», включая Левобережную Украину, коренной Европой, либо, наконец, раздробление российской платформы и появление вместо той ее части, которая приходится на трудные пространства, нового государственного образования» [31, с. 25]

Так или иначе, Цымбурский понимает ключевое значение этого региона для всей его конструкции «России, обращенной в XVII век». Без дружественного и в той или иной форме контролируемого Левобережья никакая «изоляционистская» Россия существовать не может. Здесь наша «смерть кощеева», и в тот день, когда враждебная сила закрепится восточнее Днепра, геополитическая история России рискует прервать течение свое.

Потерянный Царьград

Парадокс мысли Данилевского заключался в том, что, призывая Россию к поднятию всеславянского знамени, к борьбе за Константинополь и Проливы как к великому историческому деянию, Данилевский в то же время категорически отрицает возможность превращения Царьграда в столицу Империи или хотя бы в город под полным суверенитетом России. Такое развитие событий оказывается опасным для самой России.



«В 1860-х, – отмечает Цымбурский, – у русских авторов прорезается тревога перед включением в геополитическое поле России в качестве цивилизационного и политического центра – нерусского города, лежащего вне исторического пространства России, хотя и бывшего в веках объектом экстраверсии. Еще в 1867 г. Погодин, ссылаясь на некоего генерала, заговорил насчет скверных последствий для России от Константинополя, который способен оттянуть ее силы, и выдвинул тему проливов как внешнего доступа к России. О том же следом твердит и Данилевский: “Столица, лежащая не только не в центре, но даже вне территории государства, не может не произвести замешательства в отправлении государственной и народной жизни, не произвести уродства неправильным отклонением жизненных, физических и духовных соков в политическом организме”. Константинополь грозит произвести тот же эффект, что и Петербург, но в размерах неизмеримо больших; превратить страну в придаток выдвинутого за ее пределы города, отсасывающего из России “нравственные, умственные и материальные силы”. Отсюда вывод, что “Константинополь не должен быть столицей России, не должен сосредоточивать в себе ее народной и государственной жизни – и, следовательно, не должен и входить в непосредственный состав Русского государства”» [30, ч. II].

Ту же Царьградобию отмечает Цымбурский и у Достоевского:

«Достоевский договаривается и до того, что “завоевание Константинополя теперь (сентябрь 1876 г. – *В.Ц.*) было бы более губительно, чем полезно. ... Великорус может согласиться лишь на первенство, но греки как теперь немцы. ... И тогда ... уже не великорус будет первенствовать и вести, а дело православия, ибо славян, греков и великорусов (поразительный ряд, где великорусы противопоставляются одновременно грекам и славянам. – *В.Ц.*) могла бы связать в целом лишь весьма сильная идея, а только православие нет. И великорус, может быть, обособился бы, отъединился”. Иначе говоря, Константинополь как столица породил бы кризис в отношениях между панправославной имперской идеей и геокультурной идентичностью русских и Россией, кризис, который бы разрушил православие и “всемирное” самосознание русских, отвратил бы их от их “призвания” и толкнул к самоизоляции от южных центров православия. Единственным возможным решением, по Достоевскому, может быть Константинополь – нейтральный город под исключительным покровительством России – метрополии православия, обретший статус ее окраинного владения» [23].

Напомню, что для Данилевского «народность не есть только право, но и обязанность. Один народ не только может, но должен составлять одно государство» [4, с. 304]. А это значит, что не существует никакого национального обязательства, чтобы Константинополь был русским. То, что русский князь, как рассказывает летопись, прибывал щит к воротам Царьграда, или то, что геополитические Проливы являются для России ключами от своего дома, еще не составляет того национального политического обязательства, которое является краеугольным камнем современной политики, которая есть политика национальностей и национальных суверенитетов.

Именно об это политологическое двуязычие и разбилось русское притязание на Константинополь и в 1853, и в 1878 годах. Данилевский проводил параллель между захватническими войнами Бисмарка, не встречавшими в Европе ни малейшего отторжения и протеста, и немедленным сплочением Европы против России в ее освободительно-империалистических войнах на стыке Европы и Азии. В отказе Европы признавать равенство этих прецедентов Данилевский видел свидетельство ее несправедливости и враждебности России. «Меряние разными мерами и вешание разными весами» [4, с. 32].

Повесть о Шлезвиг-Гольштейне и повесть о Царьграде были написаны на двух разных политических языках. В Шлезвиге жили немцы, и Пруссия как защит-

ник немецкого национального начала имела полное право на интервенцию и национальное освобождение этих земель из-под власти Дании. В Константинополе никакие русские не жили. Там жили чуждые русским турки, единоверные, но не единоплеменные греки и единоверные и единоплеменные, но не однонациональные, а главное, не составляющие большинства болгары. Другими словами, та простая и понятная логика национальной ирреденты, которая обосновывала с той или иной долей натяжки любые мероприятия Бисмарка, не говоря уж о походах Паскевича, ни для подвигов Гарибальди, совершенно не годилась ни для походов Паскевича, ни для подвигов Гурко и Скобелева, ни тем более для русской Константинопольской мечты.

Но представьте себе немецкого геополитика или писателя, который рассуждает, что Шлезвиг-Гольштейн представляет собой угрозу для германского начала, а потому должен быть нейтрализован или оставлен во владении Дании. Представим себе такое рассуждение относительно Баварии, Эльзаса-Лотарингии, да даже и опасной для Германии Вены? Бисмарковская Германия воссоединяла *свои* пространства, ни секунды не колеблясь в сознании их принадлежности.

В лучшем случае (что ограниченно сработало в 1877–1878 годах) принцип национальности предоставлял России право освободить болгар, сербов, черногорцев и учредить для них национальные государства. Но вывести из национальной логики право на Царьград было абсолютно невозможно. Лишенная каких-либо культурных и религиозных основ геополитическая характеристика Данилевским Царьграда лучше всех слов со стороны воображаемого европейского оппонента обосновывала невозможность взятия Россией Константинополя на том же основании, на котором Бисмарк взял Шлезвиг.

Вот если бы Бисмарк захватил Париж или Вену на основании величия и удобства этих городов, то очень быстро бы он объединил против себя всю Европу, включая и Россию. В этом случае то самое европейское равновесие, так раздражавшее Данилевского, обрушилось бы на Германию со всей своей мощью. Как, собственно, и произошло с одним из преемников Бисмарка на посту рейхсканцлера.

Совокупность политических аксиом Данилевского пришла в противоречие с его национал-ирредентистской постановкой вопроса. Европа была против занятия Россией Константинополя не потому, что не признавала за Россией прав, которые признавала за Германией, а потому, что не видела у России национальных прав на Константинополь, аналогичных правам Пруссии на Шлезвиг-Гольштейн. И совершенно резонно не видела. У Данилевского, к примеру, они не только не предъявлены, но он и квалифицирует Константинополь как *res nullis* – ничью вещь, право на обладание которой Россией связано не с национальностью, а исключительно с полезностью ее для России и с желанием: это мое, потому что я хочу, чтобы это было моим [4, с. 438–474]. Это построение Данилевского нельзя не признать политической софистикой.

Возвращенный Царьград

Цымбурский констатирует отказ Данилевского от религиозной или культурологической постановки вопроса о Константинополе, переход в плоскость *realpolitik*, разделение вопроса о Городе и вопроса о Проливах, объясняя ее «глубокой психологической секуляризованностью» автора «России и Европы» [30, ч. II].

Впрочем, Данилевский делает оговорку в тютчевском духе, которая, однако, и впрямь звучит несколько натянуто: «В более же широком и высоком историческом смысле он должен принадлежать тому, кто продолжает воплощать в себе ту идею, осуществлением которой служила некогда Восточная Римская империя. Как противовес Западу, как зародыш и центр особой культурно-исторической



сферы Константинополь должен принадлежать тем, которые призваны продолжать дело Филиппа и Константина, дело, сознательно поднятое на плеча Иоаннами, Петром и Екатериною» [4, с. 447]. Петр и Екатерина как продолжатели Восточной Римской Империи в противостоянии Западу – это снова изощенный софизм, на которые так богата глава Данилевского о Константинополе.

Эту культурную беспочвенность русских притязаний на Константинополь, возникшую в связи с национально-секулярной программой Данилевского, обостренно почувствовал Константин Леонтьев и попытался в «Византизме и славянстве» поставить борьбу за Царьград на новые основания. Сохранив философскую основу в виде теории культурно-исторических типов, он пытается перестроить систему аргументации так, чтобы по ней Константинополь выходил русским, национально русским, помимо посредства секулярного и окатоличивающегося племенного славянства. Во имя этого национального присвоения византизма Леонтьев обрушивается и на «идею национальностей», как ее развивает Данилевский.

Именно Леонтьеву, а не Данилевскому принадлежит понятие цивилизационного суверенитета, представление о связи исторического и политического права с преемством основных исторических и культурных начал.

«Византийские идеи и чувства сплотили в одно тело полудикую Русь. Византизм дал нам силу перенести татарский погром и долгое данничество. Византийский образ Спаса осенял на великокняжеском знамени верующие войска Дмитрия на том бранном поле, где мы впервые показали татарам, что Русь Московская уже не прежняя раздробленная, растерзанная Русь!

Византизм дал нам всю силу нашу в борьбе с Польшей, со шведами, с Францией и с Турцией. Под его знаменем, если мы будем ему верны, мы, конечно, будем в силах выдержать натиск и целой интернациональной Европы...

Что, как не православие, скрепило нас с Малороссией? Остальное все у малороссов, в преданиях, в воспитании историческом, было вовсе иное, на Московию мало похожее...

Византийский дух, византийские начала и влияния, как сложная ткань нервной системы, проникают насквозь весь великорусский общественный организм» [10, с. 104–105].

Леонтьев производит в «восточном вопросе» переворот от геополитики к хронополитике. Невозможно доказать ирредентистскую основательность русского притязания на Константинополь. Невозможно предъявить геополитическое обоснование, которое не проходило бы по разряду эгоистических пожеланий. Зато можно с абсолютной убедительностью утверждать, что Россия – это настоящее Византии, а Византия – это прошлая Россия. Что именно византийский хронотоп выступает живым и действующим началом русской истории, ее завказской.

Спору нет, при характеристике этих начал Леонтьев рисует несколько однобокий портрет древней цивилизации, так что временами Византия с ее преувеличиваемым Леонтьевым деспотизмом получается опрокинутой в прошлое копией Османской империи. Но вряд ли можно было ожидать большего на том скудном византологическом фундаменте, который для XIX века до его последней четверти составляли труды Гиббона и Лебо – откровенно враждебные к Византии.

Культурно-политический принцип ставится здесь Леонтьевым выше этнографического. Да, греки этнически ближе к Константинополю (в то время они еще там жили и составляли существенную часть населения), но как политический организм, как представитель определенной цивилизационной идеи к Византии, конечно, ближе Россия, а потому Константинополь должен быть наш. Именно Россия составляет хронополитическое развитие византизма.

Эта враждебность сочеталась со своеобразным источниковедческим слепым пятном в его работах – будучи человеком универсальных знаний, талантливым филологом-классиком, имевшим возможность читать византийских авторов в оригинале, он за весь свой творческий путь цитирует только одну византологическую работу – элементарный учебник Г.В. Курбатова, на основе которого делает поспешный вывод об упадке городской жизни в Византии¹.

Цымбурский был последовательным сторонником дисконтинуитета Руси и России, России и Византии. Его «золотым веком» была Московская Русь XV–XVII веков, в ней он справедливо обнаруживал раскрытие своеобразия русской цивилизации. «Лишь в Московской Руси XV–XVII вв. мы обнаруживаем не только цивилизационную оригинальность представлений о судьбе мира и пути “оправдания” человека и народа, но и последовательно воплотивший эти представления культурно-бытовой и художественный стиль. Не случайно это время неоднократно делалось для русских XIX–XX вв. предметом фундаменталистских поэтизаций: славянофильской, евразийской, солоневичевской и иных» [24, с. 174].

В его представлении Россия рождается как самостоятельная цивилизация только с разрывом византийской пуповины при отвержении Флорентийской унии. Из своей периферийности Россия переходит к провозглашению себя Третьим Римом и осуществлению своего цивилизационного своеобразия. «Нельзя говорить о существовании русской цивилизации ни во времена Киевской Руси, ни для веков, когда политически данные этносы были частью Ордынской системы, а духовно – отдаленной поздневизантийской епархией. Первым фактором становления здесь цивилизации был крах Византии и означенная эмблемой Третьего Рима эмансипация русских от Средиземноморья» [27, с. 189].

Вот только вопрос – считать ли отвержение Флорентийской унии разрывом с Византией и византизмом или же единственным истинным их продолжением. Выдающийся памятник русской историографии – «Иоасафовская летопись», составленная митрополитом Даниилом, знаменитым иосифлянином, – начинается именно с подробнейшей истории Флорентийской унии, где в качестве центрального борца за православие выступает свт. Марк Эфесский. И отвержение унии Москвой предстает не как цивилизационный или религиозный сепаратизм, а напротив – как продолжение линии Марка и следование истине православия, утраченной греками.

Как религиозная война с унией за Православие предстает война Москвы с Новгородом. Митрополит Филипп I, узнав, что перед свадебным кортежем Софьи Ветхословец несут латинский крыж, произносит историческую фразу: «Он во врата граду, а аз, богомolec твой, другими враты из града», – и добивается от Ивана III отказа даже от этикетного компромисса с папством [6, с. 83].

Если мы обратимся к более раннему периоду, то взаимоотношения Москвы и Византии подробно исследованы прот. Иоанном Мейендорфом, отмечающим как целенаправленное содействие Византии возвышению Москвы, осо-

¹ «Антитеза аграризированной Византии македонских императоров и Халифата с его “массовым городским ремеслом” и “стихией свободных цен” в городах меня впечатлила еще в юности при чтении учебника Г.Л. Курбатова “История Византии” [9, с. 106 и сл.]. Потому тезис Шпенглера о Византии и Халифате как двух выражениях единой – “арабской” – высокой культуры я бы переформулировал как порожденное городской революцией ислама противостояние “ре-формационного” и “контрреформационного” ареалов в пространстве ближневосточной цивилизации последней трети I тыс. н. э.» [24, с. 161]. Между тем, знакомство с работами А.П. Каждана показало бы автору, что как раз на период македонской династии приходится возрождение и относительный расцвет городской жизни, разрушившейся в период иконоборчества. «Классический византизм» Македонской династии и Комнинов – это высокая городская цивилизация [см.: 8, с. 106–109; 7, особенно с. 247–249, 343–345].



знанное предпочтение ее притязаний притязаниям Литвы и ее князя Ольгерда на контроль над Киевской митрополией, так и элементы *translatio imperii*, причем, осуществлявшиеся представителями исихастской традиции¹.

Мало того, как отмечает А.В. Назаренко, сама терминология и политический концепт «всея Руси», ставший программой Государей Московских, были сконструированы в недрах патриаршей канцелярии в Константинополе [14].

Если дисконтинуитет России и Византии в значительной степени приходится домысливать, то фактическая сторона континуитета обширна и представительна.

От геополитики к хронополитике

Вовлеченность России в западническую псевдоморфозу объясняется Цымбурским эффектом запаздывания русской цивилизации, слишком поздно вышедшей на свою историческую арену, когда основные места уже заняты, а роли актеров давно расписаны и частично распределены.

Нельзя не признать, что именно это ощущение молодости выступает для русской культуры стрессовым фактором. Рядом с Западом, который базируется на фундаменте средневековой католической Европы, в свою очередь базирующейся на фундаменте Греции и Рима, русская цивилизация и в самом деле очень молода, едва выбирая тысячелетие по самой длинной шкале, начинающейся от «призвания варягов».

Города Франции и вообще романо-германского ядра западной цивилизации – это римские города, основанные в I веке нашей эры, зачастую на месте еще более древних кельтских поселений. По сравнению с этим мхом тысячелетий русская культура кажется легкой ряской, потянувшей древние финские болота.

Однако нельзя не заметить, что «своя древность» сконструирована Западом во многом искусственно. Еще в XIX веке французские учебники начинали родную историю отнюдь не с «наших предков галлов», а с Хлодвига и разрубленной Суассонской чаши². Экспансия Франции, Англии, даже Германии

¹ «Монашество сумело придать идее Византийской империи более реальные очертания “православного содружества”, признающего идеальное главенство византийского императора. Более того, турецкая угроза как будто заставила, по крайней мере, некоторых из них поверить, что славянские страны, и особенно Московская Русь, смогут выступить в той роли форпоста православного христианства, которую в течение веков играла Византия. Эту мысль, без сомнения, выражали такие символические акции, как передача на Русь Дионисием Суздальским точных копий знаменитой Одигитрии, традиционно считавшейся покровительницей Константинополя (1382 г.), перевод на славянский язык составленного патриархом Филофеем акафиста в честь этой иконы, торжественный перенос из Владимира в Москву митрополитом Киприаном византийской иконы “Владимирской Богоматери”, которой народ приписал чудесное спасение Москвы от полчищ Тимура в 1395 г. Более того, символика византийских императорских и русских княжеских портретов на саккосе Фотия не могла появиться без молчаливого, по крайней мере, признания возможности *translatio imperii* в Москву» [13, с. 314]. Любопытный факт: пожалуй, единственное встретившееся мне упоминание Цымбурским Византии в положительном контексте связано с отзвуком именно этой темы: «Истинный Второй Рим, сумев выстроить “мировую деревню” православного исихазма, оставался Империей даже тогда, когда материально свелся к клочку земли над Босфором» [25, с. 131].

² Комментируя миф о преподавании африканским школьникам по учебникам, якобы начинавшимся с фразы «Наши предки галлы были высокими, светловолосыми и голубоглазыми», Марк Ферро отмечает: «В начале XIX в. у французов еще не было принято провозглашать галлов своим предками. В школе преподавалась Священная история и сообщались какие-то сведения о первых королях, изложение шло по векам и царствованиям. История Франции начиналась с легендарного Фарамона и останавливалась на Карле Лысом или Людовике Святом» [20, с. 46–47].

в свою древнюю историю, превращение последней в органическую часть национального опыта происходят буквально на наших глазах. В начале 1980-х, работая над фундаментальным трудом «Что такое Франция», Фернан Бродель посвящает огромный раздел книги галло-римским структурам, во многом задающим французское настоящее [2, с. 45–115]. В 1970-х годах благодаря романам Мэри Стюарт о Мерлине и Артуре переоткрыта массовым сознанием кельто-римская Британия. Сегодня уже невозможно представить себе фильм об Артуре, написанный в средневековых декорациях Томаса Мэлори, а не в кельто-римском коде.

Цивилизационное запаздывание России – это отставание в хронополитической экспансии в древность своего пространства, в конструирующем присвоении древности. Запад символически доминирует над Россией, принуждает ко все новым и новым попыткам похищения (каковые, конечно, являются формой осуществления культурной гегемонии Запада) именно потому, что он добился признания себя русскими единственным суверенным представителем древне-европейского начала.

Запад выступает символическим наследником не только Рима, что хотя бы географически объяснимо, но и Древней Греции, что может быть обосновано лишь тем слабым аргументом, что современная Греция состоит в НАТО и Евросоюзе. Мало того, как показывают работы Эдуарда Люттвака, начата и хронополитическая экспансия Запада в Византию [12].

Россия выступает в этой хронополитической схеме как дичок, хилый ствол, долгое время питавшийся лишь случайными и кратковременными соками далекой средиземноморской и западноевропейской периферии, который так и коснел бы в своем отставании, если бы не усилия Петра по прививке этого дичка к могучему стволу западной цивилизации. Понятно, что мысль Цымбургского (и здесь она последовательно патриотична и восстает за достоинство русского народа) ищет самостоятельных, не привязывающих нас к западному стволу основ для русской цивилизации и находит их в своеобразном цивилизационном самопровозглашении в XV веке.

Но Россия самопровозглашает себя в недрах Византийской цивилизации так же, как США самопровозглашают себя в недрах Запада. И как нелепо будет попрекать американцев краткостью истории, которая исчерпывающе восполняется цивилизационным преемством от той же кельто-римской Британии (не случайно игра в римлян – базовая для американского культурно-политического кода), так же точно нелепо попрекать и русских якобы недостаточной прочностью связей с византийским и греческим миром. Реальная эллинская и византийская укорененность России гораздо выше, чем кельто-римско-англосаксонская укорененность США, тем не менее притязаний на осуществление в себе полноты Запада.

Россия точно так же притязает и должна притязать на осуществление в себе полноты эллино-византийского мира, символически продлив свою историю гораздо дальше Византии – к самой заре Эллады, которой так замечательно и вдумчиво занимался Цымбургский. Эллино-скифское взаимодействие, прямая линия преемственности от Херсонеса (фактически принявшего в современном русском цивилизационном сознании роль «малого Константинополя») до Руси, оформление самого феномена Руси в византийском ареале, на византийском пограничье и под византийским культурным и религиозным излучением, другими словами, фактическое цивилизационное учреждение Византией России – всё это ставит отношения России и Европы в другую плоскость. Речь идет уже не о привитии дичка к чужому дереву, а о двух полноценных стволах, одинаково имеющих корни в древнем европейском наследии.



Итоговые положения

В геополитической плоскости вопрос о суверенном существовании «Острова России» в общем-то неразрешим. У нашего Острова нет никаких гарантий от вторжения, он должен поддерживать неприкосновенность своих берегов непрерывным и трудным геополитическим действием.

Никто нас в покое не оставит. В геополитическом плане никакое самостояние России без соотнесения с Европой через борьбу попросту невозможно. О нас не забудут и нас не простят. А потому идущая с переменным успехом борьба России за свой Лимитроф вечна и неизбежна.

Совсем по-иному стоит вопрос там, где мы переходим от геополитики к хронополитике. Здесь перед Россией открывается пространство экспансии в свое цивилизационное прошлое. Новое вхождение Херсонеса в состав России открывает хронополитические ворота. Это уже вопрос не территориально-го приближения к контактной зоне средиземноморской цивилизации. Это вопрос об уравнивании хронополитических потенциалов России и Запада. Только полноценно воссоединяя Византию на правах своего Старого Света, каковым Европа служит для Америки, Россия оказывается в великом и неизбежном для нее споре действительно на равных. Она может говорить о борьбе с Западом не с рессентиментом цивилизации-нувориша, а «как держава с державой».

Херсонес из абстрактной и не имеющей конкретного геополитического значения декларации превращается в увесистую тяжесть древних камней, вес начертанных на мраморе старинных клятв демократическому устройству полиса, блеск скифского золота, которое уже не Россия похищает у Европы, а Европа у России.

Литература

1. *Беляков С.С.* Гумилев сын Гумилева. М.: АСТ, 2013.
2. *Бродель Ф.* Что такое Франция? Кн. Вторая: Люди и вещи. Ч. 1: Численность народонаселения и ее колебания на протяжении веков. М.: Изд-во Сабашниковых, 1995.
3. *Данилевский Н.Я.* Горе победителям: Политические статьи. М.: АЛИР; Облиздат, 1998.
4. *Данилевский Н.Я.* Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. 2-е изд.. М.: Институт русской цивилизации; Благословение, 2011.
5. *Данилевский Н.Я.* Россия и франко-германская война // *Данилевский Н.Я.* Горе победителям: Политические статьи. М.: АЛИР; Облиздат, 1998.
6. Иоасафовская летопись. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2014.
7. *Каждан А.П.* Деревня и город в Византии IX–X вв.: Очерки по истории византийского феодализма. М.: Изд-во АН СССР, 1960.
8. *Каждан А.П., Литаврин Г.Г.* Очерки истории Византии и южных славян. М.: Учпедгиз, 1958.
9. *Курбатов Г.Л.* История Византии. От античности к феодализму / Учебное пособие для вузов по специальности «История». М.: Высшая школа, 1984.
10. *Леонтьев К.Н.* Византизм и славянство // *Леонтьев К.Н.* Восток, Россия и Славянство. М.: Республика, 1996.
11. *Любавский М.К.* Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до XX века. М.: Изд-во Московского ун-та, 1996.
12. *Люттвак Э.Н.* Стратегия Византийской империи. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2010.

13. *Мейендорф Иоанн, прот.* Византия и Московская Русь (очерк по истории церковных и культурных связей в XIV веке). Paris: YMCA-Press, 1990.
14. *Назаренко А.В.* «Новороссия», «Великороссия» и «вся Русь» в XII веке: церковные истоки этнополитической терминологии // *Назаренко А.В.* Древняя Русь и славяне (Древнейшие государства Восточной Европы. 2007 г.). М.: Русский фонд содействия образованию и науке; Университет Дмитрия Пожарского, 2009.
15. *Невельской Г.И.* Подвиги русских морских офицеров на Крайнем Востоке России: 1849–1855. Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 1969.
16. *Нефедкин А.К.* Военное дело чукчей (середина XVII – начало XX века). СПб.: Петербургское востоковедение, 2003.
17. *Платонов С.Ф.* Москва и Запад. Борис Годунов. М.: Богородский печатник, 1999.
18. *Семенов-Тянь-Шанский В.П.* О могущественном территориальном владении применительно к России // Рождение нации (Серия альманахов «Арабески истории». Вып. 7). М.: ДИ-ДИК, 1996. С. 593–616.
19. *Фергюсон Н.* Цивилизация. Чем Запад отличается от остального мира. М.: АСТ, 2014.
20. *Ферро М.* Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М.: Книжный клуб 36.6, 2010.
21. *Цымбурский В.Л.* А знамений времени не различаете... // *Цымбурский В.Л.* Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 286–306.
22. *Цымбурский В.Л.* Александр Солженицын и русская контрреформация // *Цымбурский В.Л.* Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 475–485.
23. *Цымбурский В.Л.* Геополитические взгляды Федора Достоевского // Русская idea. 2014. 15 ноября. URL: <http://politconservatism.ru/experiences/geopoliticheskie-vzglyady-fedora-dostoevskogo/>
24. *Цымбурский В.Л.* «Городская революция» и будущее идеологий в России // *Цымбурский В.Л.* Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 156–180.
25. *Цымбурский В.Л.* «Европа-Россия»: «Третья осень» системы цивилизаций // *Цымбурский В.Л.* Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 105–132.
26. *Цымбурский В.Л.* Зауральский Петербург: альтернатива для российской цивилизации // *Цымбурский В.Л.* Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 278–285.
27. *Цымбурский В.Л.* Земля за Великим Лимитрофом: от «России-Евразии» к «России в Евразии» // *Цымбурский В.Л.* Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 181–197.
28. *Цымбурский В.Л.* Китай до Урала – цена русского европеизма // *Цымбурский В.Л.* Конъюнктуры Земли и Времени: Геополитические и хронополитические интеллектуальные исследования. М.: Европа, 2011. С. 152–159.
29. *Цымбурский В.Л.* Метаморфоза России: новые вызовы и старые искушения // *Цымбурский В.Л.* Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 29–43.
30. *Цымбурский В.Л.* Николай Данилевский как геополитик // Русская idea. 2014. 3 октября. URL: <http://politconservatism.ru/forecasts/nikolay-danilevskiy-kak-geopolitik-chast-pervaya-/>; 2014. 8 октября. URL: <http://politconservatism.ru/forecasts/nikolay-danilevskiy-kak-geopolitik-chast-vtoraya/>
31. *Цымбурский В.Л.* Остров Россия // *Цымбурский В.Л.* Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 5–28.
32. *Цымбурский В.Л.* «От великого острова Руси...» к прасимволу российской цивилизации // *Цымбурский В.Л.* Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 340–368.



33. *Цымбурский В.Л.* Циклы «похищения Европы» // *Цымбурский В.Л.* Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 44–64.
34. *Цымбурский В.Л.* Сколько цивилизаций? (С Ламанским, Шпенглером и Тойнби над глобусом XXI века) // *Цымбурский В.Л.* Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 133–155.
35. *Шерстобоев В.Н.* Илимская пашня. Т. 1: Пашня Илимского воеводства XVII и начала XVIII века. Иркутск, 1949. (2-е изд. Иркутск, 2001).
36. *Шунков В.И.* Очерки по истории колонизации Сибири в XVII – начале XVIII веков. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946.

Аннотация. В статье исследуется влияние геополитических идей Николая Данилевского на Вадима Цымбурского, выявляются сходства и различия в подходе обоих мыслителей ко внутренней и внешней геополитике России. Идеи обоих мыслителей критически подсвечивают уязвимые пункты в концепциях друг друга. Разбираются национализм, панславизм и программа борьбы за Константинополь Данилевского, идеи Цымбурского об «Острове России», лимитрофном поясе, исходе «к своему Востоку», внимании к региону Новороссии. Автор статьи приходит к выводу, что ключевые проблемы, ставимые Данилевским и Цымбурским, не имеют чисто геополитического решения и требуют перехода в область хронополитики, рассмотрения цивилизаций как исторических и культурных, а не только лишь географических целостностей.

Ключевые слова: Данилевский; Цымбурский; геополитика; Константинополь; панславизм; национализм; Остров Россия; цивилизация; лимитроф; Сибирь; внутренняя колонизация; Новороссия; Константин Леонтьев; хронополитика; Византия.

Yegor S. Kholmogorov, political writer, web-magazines “Russkiy obozrevatel” and “Novye khroniki”, Chief Editor.

Searching for Lost Tsargrad: Tsymbursky and Danilevsky.

Abstract. The article analyzes how Nikolay Danilevsky’s geopolitical ideas influenced Vadim Tsymbursky, and reveals the similarities and differences in the approaches of both thinkers to Russia’s internal and external geopolitics. Their ideas critically underline vulnerable points of each other’s concepts. Danilevsky’s nationalism, pan-Slavism and the programme of the struggle for Constantinople are observed, as well as Tsymbursky’s ideas of «Island Russia», limitrophe zone, internal colonization, and his attention to the region of Novorossia. The author comes to a conclusion that the key problems stated by Danilevsky and Tsymbursky don’t have a solely geopolitical solution and demand the transition to chronopolitics, the consideration of civilizations not only as geographical, but also as historical and cultural integrals.

Keywords: Danilevsky; Tsymbursky; geopolitics; Constantinople; pan-Slavism; nationalism; “Island Russia”; civilization; limitrophe; Siberia; internal colonization; Novorossia; Konstantin Leontiev; chronopolitics; Byzantium.

Вадим Цымбурский, русский геополитик

«Геополитика» пришла к нам в страну на рубеже 1980–1990-х.

В то время, когда Россия только знакомилась с ней – по публикациям А.Г. Дугина и наспех переведенным первоисточникам в виде отдельных статей и, существенно реже, книг, – В.Л. Цымбурский ее создавал. Создавал не как «лысенковщину вместо науки», а как «искусство вместо лысенковщины» – искусство мировидения, создания «стратегических» картин мира, непревзойденным мастером которого он был.

История Цымбурского как культурфилософа и геополитика, прежде всего в 1990-х – начале 2000-х годов, рассмотрена в монографии Б.В. Межуева, первой специальной книге, посвященной исследованию общественно-политических взглядов Вадима Леонидовича [5].

Крупный филолог-«классик», он был погружен в мир древних языков Восточного (а также Центрального) Средиземноморья. Занимаясь вопросами происхождения этих языков, Цымбурский не мог обойти проблему формирования этнической карты данного региона. В свою очередь, изучая этническую историю Восточного Средиземноморья раннегреческого и, по необходимости, догреческого периодов, он выходил на широкую панораму всемирной истории и общую картину движения исторических процессов – не только в их культурно-языковом, но и государственно-политическом аспектах. Все они развивались, причем весьма динамично, во времени и пространстве, на огромном географическом поле от Испании до Урала и от Скандинавии до Иранского нагорья и Индии. Таким образом, с одной стороны, у масштабно мыслящего филолога волей-неволей складывалась некая геополитическая картина пред-античного мира, формировался комплекс геополитических подходов и представлений. С другой стороны, исследовательская работа выводила его в русло историософии и философии культуры. Специфично в этом пути Цымбурского к глубинной, фундаментальной геополитике (а затем и к хронополитике) лишь то, что проделал его филолог, а не историк, что для последнего выглядит, хотя бы на первый взгляд, более логично и органично. Но исторический подход был присущ Вадиму Леонидовичу имманентно.

Первоначально складывавшийся у него комплекс геополитических подходов и представлений нашел воплощение в идее своего рода «либеральной империи Севера», «Великого кольца» демократических стран, которое должно объединить США, Западную Европу, Японию (и Южную Корею) с отказавшимся от коммунистической идеократии Советским Союзом (а также государствами Восточной Европы) в единый глобальный пояс, занимающий северную часть Северного же полушария. Казалось бы, эта концепция вполне отвечала «духу

Хатунцев Станислав Витальевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России исторического факультета Воронежского государственного университета.
E-mail: staskhat@comch.ru



времени», стремлениям и чаяниям большинства представителей «интеллектуального класса» позднего СССР так или иначе сблизиться с Западом, но заметный общественный резонанс вызвал лишь ее «римейк» в статье А. Чубайса спустя примерно полтора десятилетия.

В отличие от тех авторов, которые остались в поле западоцентристских идей – в поле, охранный периметр которого поражение соцлагеря в «холодной войне» весьма укрепило, – Цымбурский, подобно персонажу известной песни Высоцкого, вышел за заветные «красные флажки» и создал по-настоящему оригинальную и глубокую историсофско-геополитическую концепцию «Острова России», которая для всех сторонников встраивания России в западный мир прозвучала как первое «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева, причем не столько для А.И. Герцена, сколько для адептов «теории официальной народности».

«Остров Россия» [11] многими был воспринят как декларация российского неоиоляционизма, но на деле являлся не столько ею, сколько одной из первых по времени попыток наметить для нашей страны проект цивилизационной геополитики [10, с. 183]. Впоследствии Цымбурский стремился показать: дабы быть продуктивной, цивилизационная геополитика не должна замыкаться на хантингтоновской догме «столкновения цивилизаций».

В то же время он полагал, что ни изоляционизм, ни евразийство в духе П.Н. Савицкого и Л.Н. Гумилева в качестве практической политики не годятся [10, с. 336].

Цымбурский был в числе тех немногих людей, кто открыл глаза и увидел, что после распада СССР главный его «наследник», Российская Федерация, под аккомпанемент тысячеголового хора, певшего об «общем европейском доме», о необходимости сближения с Западом, чисто геополитически стала от него отдаляться, поскольку за ее границами встала полоса государств, стремившихся исполнять роль «санитарного кордона», отгораживавшего «Московию» от евроатлантического пространства. Воскресли – в обновленном облике – призраки, вызванные к жизни Версальско-Рижской системой, которая по окончании «Великой войны» в 1919–1921 годах оформила геополитическую карту Европы.

Благодаря всему этому наша страна откатилась к рубежам допетровской эпохи, вскрылись исторические пласты XVII столетия, что вслед за Г. Гусейновым [2] и П. Богомоловым [1] заметил и подытожил В.Л. Цымбурский. По его словам, в новый век русский мир входит внесистемным «зависшим» образованием – материковым «островом Россия» [10, с. 147].

Таков был парадоксальный итог сознательного и стихийного западоцентризма, пронизавшего российское общество сверху донизу. Его можно объяснить с точки зрения известного рода диалектики: целостная идея должна содержать в себе свое отрицание, тезис и антитезис одновременно. Таким отрицанием, антитезисом российского западоцентризма во внутреннем, духовном пространстве стали прежде всего разные изводы и варианты реанимированного евразийства, тогда как во внешнем мире – пояс бегущих от России «nach Westen» стран Восточной Европы.

В программной работе «Остров Россия» Цымбурский назвал эти и им подобные пространства «территориями-проливами» (strait-territories). По мысли автора, strait-territories разделяли платформы, «опорные ареалы» – коренную, наиболее устойчивую часть различных цивилизаций, в том числе российской и европейской. Через год-другой Цымбурский, познакомившись с тезисами автора данных строк [8], стал именовать «территории-проливы» лимитрофами и создал концепцию «Великого Лимитрофа», о которой будет сказано ниже. Однако справедливости ради необходимо отметить, что само понятие территорий-проливов как переходных пространств между цивилизациями он сформулировал и озвучил публично (получив при этом заслуженную известность) более чем

на год раньше меня, то есть еще в то время, когда сам я аналогичное по содержанию понятие лимитрофов всего лишь нащупывал, а «Остров Россия» прочел лишь после того, как познакомился с автором статьи.

В этот период мировая интеллектуальная атмосфера искрилась «цивилизационным подходом», который выкристаллизовывался в головах у множества историков, политологов и геополитиков, прорываясь молниями концепций. Наибольший резонанс из созданных ими интеллектуальных продуктов получила концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона.

Но если Хантингтон был Птолемеем-Коперником «цивилизационного подхода» образца 1990-х, то В.Л. Цымбурский сделал в сравнении с американским маэстро существенный шаг вперед. Первый попытался разделить планету и человечество на цивилизации «подчистую» – цельными, по-ковбойски неряшливо нарубленными кусками, без полутонов и оттенков. Для второго такое разделение было слишком грубым, слишком не адекватным реальности. И он выработал намного более гибкую, намного более согласную с жизнью модель цивилизационного пейзажа, выделив этнокультурные платформы и переходные пространства, которые их разделяют и соединяют – в парадоксально-«гегелевском» единстве двух этих функций.

В то же время Цымбурский, на мой взгляд, слишком однозначно относил к «территориям-проливам» земли, обладающие разной степенью выраженности в их истории и культуре переходных качеств. Так, не следует смешивать с лимитрофами лимбовые пространства, обладающие лишь некоторыми, в целом второстепенными, признаками «промежуточности», «контактности», «пограничности». Вадим Леонидович и сам чувствовал, что лимитрофная концепция не выражает всей гаммы «переходных» мотивов, и посему ввел в нее понятие «лимеса» – приграничных, «лимесных», областей. Таковые, по его словам, обладают ключевыми этнокультурными признаками ядра цивилизации, но так до конца в цивилизационном отношении и не определяются; в случае, если они геополитически не присоединены к ядру, им грозит «соскальзывание» в лимитрофы. В итоге Цымбурский определил «лимесы» как неустойчивую окраину имперской или цивилизационной платформы и отнес к ним Германию к востоку от Эльбы, часть Украины (прежде всего Левобережье), некоторые казачьи районы России, Белоруссию, а также Маньчжурию и «Скандинавию шведов, датчан... норвежцев» [10, с. 231, 324]. И хотя однажды он написал о «западно-европейском лимесе», представления о том, что, пользуясь его терминологией, «лимесы»¹ составляют пояса территорий, закономерно окаймляющие лимитрофы и отделяющие последние от цивилизационных платформ, а также о том, что к ним относятся не только перечисленные им земли, но и множество других областей, лежащих в Центральной и Средней Азии, в Северо-Западной России и т.д., у него, по-видимому, все же не выработалось.

Программная статья Вадима Леонидовича 1993 года о перспективах отечественной геополитики является «гоголевской шинелью», которую он сам себе сшил и из которой вышли многие его дальнейшие концепции и сюжеты. Она интересна не только понятием «территорий-проливов» и картиной России как «острова в сердцевине суши», из которых логически вытекает представление о ней как о «земле за Великим Лимитрофом», но и постулатом об обилии «труд-

¹ В моей терминологии лимес – нечто совершенно другое: это культурно-географическая граница, отделяющая одну цивилизацию от другой. «Лимесу» Цымбурского во многом соответствует мое понятие «лимб». «Лимб» – это полоса примыкающих к «лимитрофным землям» территорий, в чьей традиционной культуре формы и комплексы, происходящие из соседних цивилизаций, играют заметную роль, но прослеживается доминанция «коренных», автохтонных культурно-исторических сюжетов и форм, собственных цивилизации данной.

ных пространств» как одной из наиболее важных черт российской геополитической ниши, а также множеством других очень перспективных идей, которые он развил в своих последующих трудах.

Так, нельзя не отметить намеченную Цымбурским в «Острове Россия» концепцию «похищения Европы». Весьма показательно, что первую специальную работу, ей посвященную, – «Циклы “похищения Европы”» – он мыслил как большое примечание к статье «Остров Россия» [10, с. 44].

В «Циклах...» рассматривался «синтаксис» геополитических отношений России с Западом начиная с так называемого третьего этапа Северной войны (1710–1718), когда Петр послал русские войска на помощь своим германоязычным союзникам – Дании, Саксонии, Ганноверу, и наша армия благодаря этому впервые вступила не на извечно спорные «территории-проливы», а в области коренной Европы.

Анализ данных о вторжениях западных государств в Россию за последние триста лет, то есть с тех пор, как фундаментом мировоззрения отечественной элиты стал европоцентризм (который со временем превратился в западоцентризм), позволил В.Л. Цымбурскому прийти к ценнейшему выводу: с петровской эпохи «идеалистическое» вползание России в европейские дела (участие ее в войнах за континентальный баланс ради подавления европейских революций и тому подобных масштабных военно-политических столкновениях без всякого расчета на приращение территории или иную ощутимую, материальную выгоду, когда Россия навязчиво, часто себе в ущерб, стремилась оказывать союзнические услуги Западу ради одного лишь присутствия на европейском «театре славы») порождало в Европе выплеск ответной агрессии против нас [10, с. 48–49, 58]. В то же время исследователь показал, что взбуханию российского гегемонизма всегда предшествует интервенция Запада – либо в форме ширококомасштабной войны, подобной Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной 1941–1945 годов, либо в виде «мягкого» оттеснения России с занимаемых ею геополитических позиций, что мы наблюдаем сейчас в связи с расширением НАТО на восток и политикой изъятия Украины в сферу тотального контроля со стороны Евро-Атлантики. Естественно, от характера этой интервенции зависит и характер ответа, даваемого Россией.

Именно концепция «похищения Европы» дает разгадку преимущественной сосредоточенности российской геополитики – начиная как минимум с петровских времен – на «территориях-проливах», находящихся в Восточной Европе.

«Европохитительство» – это до сих пор не изжитое стремление участвовать во внутренних делах и конфликтах Европы, играть в ней важную военно-политическую роль, которое, что совершенно естественно, претит множеству европейцев и противоречит подлинным интересам России, ее народа, российской культурно-политической нации. Как совершенно правильно отметил Цымбурский, идеология «нашего» «похищения Европы» легко сползает к пафосу «почетного самоубийства» России через ее слияние с платформой «политичных народов» [10, с. 53], то есть народов, принадлежащих к западному сообществу. Такое «слияние» приводит к «сливу» России, подобному тому, который происходил в 1990-х.

Если так называемый русский европеизм есть мимикрия, культурный псевдоморфоз нашего национального духа, но псевдоморфоз не бесплодный, а существенно обогативший и Россию, и Европу, и человечество в целом, то ценность «европохитительства» нельзя не признать величиной отрицательной. Так, во многом именно благодаря практике «европохитительства» враждебное восприятие России Европой переросло в цивилизационную войну, которую она вела против нас с начала XVIII столетия и которую унаследовал коллективный Запад.

«Европохитительство», как справедливо полагал Вадим Цымбурский, мешало заниматься обустройством России как таковой, России как она есть, особенно восточной, зауральской части ее. Эти территории, по словам Цымбурского, давно застолблены русскими, а недоосвоены они во многом из-за того, что «в нашей трехвековой имперской истории преобладали экстравертные – европейские, балканские, отчасти ближневосточные – фокусировки» [10, с. 291].

«Западопохитительство» и сейчас препятствует освоению Русской Азии. В данном отношении Цымбурский на страницах «Острова Россия» выступил оптимистом, полагая, что вместе с большевистской государственностью «окончился весь 270-летний великоимперский западоцентристский цикл российской истории» [10, с. 22]. Однако западоцентризм вплоть до настоящего времени остается едва ли не главным нервом нашей политики.

Но Цымбурский уже в середине 1990-х отметил: на Западе мы имеем дело не с автономными силами, стремящимися в свободной борьбе максимизировать свою выгоду, а с провинциями «мягко» структурированной Империи, где территориальные и надтерриториальные (например, МВФ) субцентры «давно притерлись друг к другу и усвоили правила кооперативной – “постисторической”, по Ф. Фукуяме – игры, противопологающие это сообщество внешней ойкумене» [10, с. 128].

По мнению Цымбурского, едва ли не вся не только западная, но и восточная политика России в имперский период являлась элементом стратегии «похищения Европы». Во всяком случае, за войнами с Турцией, движением к Черноморским проливам, Балканскому полуострову и Средиземному морю, а также в Переднюю Азию ему виделся именно Протей «европохитительства» [10, с. 13]. Даже «Дарданелльская греза», считал Цымбурский, обусловлена представлением о Западе как центре мировой ойкумены [10, с. 49].

Думается, что здесь он прав лишь отчасти.

Цымбурский являлся разработчиком концепции международной Балтийско-Черноморской конфликтной системы (БЧКС). Он постулировал, что сформировалась эта система еще в XVI веке, то есть за полтора-два столетия до признаваемого им самим начала «похищения Европы» Россией. И уже тогда ее границы стали продвигаться на Запад, к европейским пределам. Поэтому для того, чтобы быть последовательным, следует либо признать, что российское продвижение к берегам Днепра и в Причерноморье может быть не связано с «европохитительством», либо отнести начало «похищения Европы» к более ранней эпохе и признать частью этого процесса и интеграцию Левобережной Украины с Московией, и даже включение в пределы последних просторов Дикого поля. Однако расширение степными черноземными землями как минимум до начала XVIII века – сугубо российский цивилизационный и геополитический сюжет, о чем чуть ниже.

Кроме того, необходимо учесть, что в Причерноморье, на Балканах, на Ближнем Востоке, тем более – на Востоке Дальнем, а также в Центральной Азии Россия не столько боролась за преобладание в Европе, сколько двигалась на лимитрофные земли, которые от века разделяли российское, европейское, афразийское, южно- и восточноазиатское месторазвития и сложившиеся в их пределах цивилизации. Но если на Балканском полуострове и во владениях Турции, в Средней Азии, в Приморье и в Приамурье Петербургская империя решала задачу установления контроля над теми или иными сегментами Великого Лимитрофа (пояса сливающихся друг с другом периферий мегацивилизаций Евразии¹, который к северу и востоку от основания гигантского географического «горба» Амура существовал скорее потенциально), то в Причерноморье ее

¹ Моя версия «Великого Лимитрофа» существенно отличается от версии В.Л. Цымбурского [см.: 7].



первичная цель была совершенно иной, хотя и связанной с линией Великого Лимитрофа благодаря гнездившемуся в Тавриде Крымскому ханству.

Эта первичная цель заключалась в искоренении военной угрозы, которая исходила от кочевников, жителей степей, земледельцам, северным их соседям. В ходе ее достижения Россия и начала двигаться в Причерноморье, осуществляя аграрную колонизацию пояса степных черноземов. Только с XVIII столетия такого рода политика стала в той или иной степени, скорее опосредованно, чем прямо, сочетаться с политикой «похищения Европы».

Нельзя не отметить исключительно важные замечания и размышления Цымбурского о пределах Европы – физико-географических и цивилизационных, в частности, о балтийско-черноморско-адриатической полосе как преддверии ее этнокультурной платформы [10, с. 105–107].

Очень оригинально и вполне обоснованно его представление о том, что с позднего Средневековья западный мир в течение нескольких столетий обладал биполярной геополитической структурой, в которой реализовывалась его фундаментальная биполярность. Цымбурский связывал эту биполярность с обособлением и конкуренцией двух разделенных Рейном больших провинций раннесредневекового Франкского королевства – Нейстрии и Австразии [10, с. 108].

На мой взгляд, отмеченная Вадимом Леонидовичем фундаментальная биполярность заложена отнюдь не соперничеством этих рыхлых и непрочных образований, которые к тому же давным-давно канули в Лету. Она определяется тем, что европейскую цивилизацию образуют две метакультуры, или, если угодно, субцивилизации, – германская и кельто-романская. Поэтому речь следует вести о фундаментальной биполярности не западного мира в целом, а отдельно взятой Европы, то есть европейской цивилизации.

Аналогичная биполярность свойственна российской цивилизации. Но в нашем случае речь идет о сибирской и восточно-европейской метакультурах.

В отличие от В.Л. Цымбурского я считаю, что первое внятное выражение на геополитическом уровне фундаментальная биполярность Европы получила не в эпоху Нейстрии и Австразии (VI–VII вв.), а полутора столетиями позднее. Времена раннего Франкского королевства – эра перехода от социумов античного поколения (формации) к социумам нынешнего, то есть современного поколения. Этот переход закончился примерно в IX веке. Именно тогда по заключении Верденского договора 843 года появились Западно-Франкское и Восточно-Франкское королевства. С их формированием и произошла геополитическая кристаллизация двух полюсов европейской цивилизации, нашедшая свое предельное выражение в противостоянии Франции и Германии в 1870–1940-х годах.

«Сухопутная островитянка» Россия виделась Цымбурскому землей, которая лежит за «Великим Лимитрофом».

Он заметил, что к середине 1990-х многие идейные наследники евразийства, точнее, приверженцы «евразийской миссии» России, такие как А.С. Панарин и С.Е. Кургинян, а также эксперты, например А.И. Неклесса, в отличие от евразийцев первой эмигрантской волны, которые «уравнивали» Россию с Евразией, стали эти два понятия «разводить». Данная тенденция как нельзя лучше отвечала изменению контуров нашей страны, которая после крушения СССР отодвинулась и от коренной Европы, и от арабо-персидского Среднего Востока.

Благодаря всему этому Цымбурский пришел к образу «*России в Евразии*» и к пониманию России как пространства и человечества, которые находятся **за** Евразией. Под последней он начал подразумевать «территории-проливы» от Северного Ледовитого до Тихого океана, отделяющие российское этнокультурное ядро от платформ соседних цивилизаций и стыкующиеся друг с другом в единый грандиозный континуум, который исследователь окрестил Великим

Лимитрофом. В то же время «Россия-Евразия» выступала для него продуктом интериоризации Россией этого самого Великого Лимитрофа [10, с. 192] – как он представлялся В.Л. Цымбурскому¹.

Несколько слов следует сказать о Корейском полуострове. Вадим Леонидович однозначно относил его к своему Великому Лимитрофу, протянувшемуся от Финляндии как раз до Кореи. Думается, что к нему эта страна все-таки не относится. Культурно и исторически она, несмотря на языковое и расовое родство корейцев с алтайскими народами, никогда не выбивалась за пределы восточно-азиатского мира, однако примерно с начала нашей эры, если не с середины предшествующего ей тысячелетия, выполняла роль барьера и связующего звена между материковым Китаем и Японскими островами. Цымбурский сам признавал Корею «иноэтническим филиалом конфуцианско-буддистского Китая» [10, с. 231], то есть де факто частью соответствующего цивилизационного пространства. Таким образом, Корею в целом следует рассматривать как «внутренний лимитроф» дальневосточной цивилизации, разделяющий и соединяющий входящие в нее японскую и китайскую метакультуры. Вместе с тем, крайнее положение севера Корейского полуострова по отношению к восточноазиатскому миру и его относительная открытость влияниям, исходящим из-за его рубежей, заставляют одновременно относить эту часть Кореи к лимбовой зоне данной цивилизации.

Цымбурский как стратег видел, что борьба между двумя тенденциями мирового развития – к уни- и к многополярности, которая, по его мнению, составит главное содержание глобальной военно-политической истории в ближайшие полстолетия, – будет протекать на пространствах Великого Лимитрофа. Он хорошо понимал, что если вся эта геополитическая структура окажется насквозь соединена в противостоящую большинству платформ Евразии стратегическую и геоэкономическую целостность с прямым выходом через Восточную Европу на Евро-Атлантику, то победит первая из этих тенденций, тогда как вторая восторжествует в том случае, если та же Восточная Европа, Кавказ и Средняя Азия станут прежде всего посредниками между соседящими с ними цивилизациями [10, с. 308].

Следуя логике системных связей, Цымбурский полагал и надеялся, что обретение «территориями-проливами» формального суверенитета по отношению к России («экстериоризация Лимитрофа») превратит нашу геополитику в значительной степени в геополитику «внутреннюю», приведет к федерализации политического устройства страны и подъему местного самоуправления, а также к большому кризису идеологии «похищения Европы», усилению автохтонистских и изоляционистских веяний, отказу России от прямого присутствия в геополитике соседних цивилизаций, к идеологическому обесцениванию иллюзорной принадлежности нашей страны к западному цивилизационному клубу [10, с. 193–194].

Думаю, что все это (за исключением автохтонизма и изоляционизма) стало бы для России огромным и несомненным благом. И в том, что перечисленные пункты стратегической российской «повестки дня» до сих пор не воплощены в жизнь должным образом, вины Вадима Леонидовича нет.

Одна из главных идей Цымбурского (пламенный привет Константину Николаевичу Леонтьеву) – создание нового общегосударственного центра на нашем Востоке [10, с. 131]. Представления покойного геополитика о возможном переносе российской столицы и о «Русской Азии» имеют особенную важность и ценность.

Столица, постулировал он, суть привилегированная точка, из которой Центр видит свою страну и мир в целом [10, с. 278]. Поэтому от того, где она

¹ Здесь хочется обратить внимание читателей на то, что инициалы Цымбурского – В.Л. – совпадают с аббревиатурой Великого Лимитрофа.

находится, зависит и та картина, которая открывается взору властей предержавших. Так, например, из Красноярска, тем более – из Владивостока, виднее, что Россия граничит не с Англией, Швейцарией, Лихтенштейном и островом Кипр, а с США и Японией, что от ее рубежей открывается перспективный в экономическом отношении путь к берегам Филиппин, Малайзии, Индонезии, стран Южной и Центральной Америки.

По мнению Цымбурского, то, что мы зовем «Центральной Россией», на самом деле – часть упершегося в Восточную Европу запада нашей страны. Это фактически ее пограничье, тогда как подлинной Центральной Россией является Южная Сибирь с Уралом на входе. Однако столица страны находится не там, а в западном ее порубежье.

В России, считал Цымбурский, политический и хозяйственный фокусы могут смещаться только вместе, и первый должен указывать направление сдвига второму [10, с. 298]. В стране, где бизнес настолько зависим от политики, другая политика породит другой бизнес, а российским политикам в своем мировидении не следует быть привязанными к европейской окраине. Концепция «новой столицы» должна иметь в числе своих целей появление номенклатуры, геополитически «обреченной» на иное, нежели сейчас, понимание мирового расклада и своего места в нем и иначе строящей внешнюю и внутреннюю, в том числе демографическую и экономическую политику страны. Последней необходима власть, склонная в минимальной степени принимать обязательства, связанные с имиджем «европейской державы» или младшего члена в клубе «богатого Севера» [10, с. 300].

Создание «нового Центра», считал мыслитель-геополитик, означает смену большой стратегической парадигмы для страны и несет с собой не просто отказ от прежних притязаний, но потенциал крупных новых целей и проникнуто мобилизационными мотивами, мотивами «новых далей» для русских.

Впрочем, сам он предпочитал говорить не о «переносе столицы», а о необходимом пересмотре ее отношения к проступающей структуре российской платформы [10, с. 297]. Перенос модален в том случае, если власть, адекватно оценивающая миросистемные проблемы России и те подходы к ним, возможности которых заложены в ее геополитической структуре, в Москве оформить не сумеет. Вследствие этого она как столица будет становиться все менее функциональной, и выживание ее в данном качестве рано или поздно вступит в противоречие с выживанием государства настолько, что его нельзя будет решить никакими демократическими процедурами.

Юго-Западную Сибирь и переходящие в нее восточные склоны Урала – земли между Екатеринбургом, Оренбургом и Кемерово – Цымбурский называл «парадоксальной сердцевинной», «пятой “скрепой”» России, которую практически нельзя обкусать, переориентировав вовне страны. Но здесь она, как нигде, может быть просто-напросто разломлена [10, с. 323].

Моя точка зрения близка к точке зрения В.Л. Цымбурского. Но опираюсь я на иные основания, нежели Вадим Леонидович. Я считаю, что средоточие, «сердцевина центра» российского культурно-исторического мира – Южный Урал. Там, на перекрестии стыка восточно-европейской и сибирской метакультур с лесостепью, «посредником» между важнейшими историко-культурными зонами России – «Лесом» и «Степью» – находится ее «цивилизационный “Хартленд”» [6, с. 37]. В то же время Москва лежит на границе лимбовой зоны российской цивилизации и ее ядра, этнокультурной платформы. Поэтому перенос столицы в подлинный центр России может, помимо прочего, означать торжество, так сказать, «цивилизационно-географической» справедливости.

В прошлом веке, по справедливому замечанию Цымбурского, сдвиг турецкой столицы из Константинополя в Анкару отметил конец обращенной к

Балканам Османской империи и возникновение турецкого национального государства на малоазийской платформе; переезд столицы Бразилии с атлантического побережья вглубь континента – начало освоения центра страны, а в наши дни перенесение столиц Казахстана и Германии соответственно в Астану и Берлин нацелено на интеграцию «слабо вписанных в целостность этих государств и, если так можно выразиться, склонных к “отсыханию” регионов на стратегически высокоценных направлениях». И коли суждено России получить новую столицу, то в видах сохранения целостности страны и обретения ею нового дыхания, новых сил единственная осмысленная альтернатива такого рода есть Зауралье [10, с. 284–285], а не, к примеру, отыгравший свою «европейскую» геополитическую партию Петербург.

В истории нашей страны перенос столицы всегда означал серьезное, порой – резкое, революционное изменение стержневого культурного и политического проекта. Так, утверждение в столичном статусе Питера принесло ориентацию на европейские культурные нормы и практику имперского «похищения Европы». Поэтому создание новой столицы за Уралом ознаменует поворот от «евро-» и, в целом, «западопохитительства» «лицом к Востоку» – прежде всего к Востоку внутреннему, сиречь Русской Азии, а также к Востоку внешнему, лежащему на берегах Тихого океана. Впрочем, обращение к возможностям, лежащим в области АТР, отнюдь не означает проведения специфической культурной политики, скажем – принятия конфуцианской этики, корейского буддизма или же японского синтоизма.

В 20–30-х годах прошлого века к «повороту на Восток» призывали русские эмигранты-«евразийцы». Но тема восточного Центра имела для Цымбургского вовсе не евразийский смысл. Для него она была темой резервных, нераскрытых потенциалов русского пространства, которые от взгляда из Москвы заслоняются «галлюцинаторными порождениями великоимперских, в том числе традиционно-евразийских переживаний» [10, с. 291].

В свое время К.Н. Леонтьев заклинал перенести центр тяжести религиозно-культурной жизни России «с европейского Севера на полуазиатский Юг» [3, с. 445], то есть на берега Босфора, в уже упоминавшийся выше Константинополь. Таким ему виделось правильное завершение пресловутого Восточного вопроса. По мнению русского мыслителя-консерватора, эта мера была необходима для создания новой, самобытной культуры, которая спасла бы Россию от надвигающегося социально-политического упадка. Иной выход из «нашего нравственного и экономического расстройств... мы напрасно будем искать в одних внутренних переменах» [4, с. 421], – считал Константин Леонтьев.

Цымбургский столь далеко в своей «восточной» программе не заходил и такого радикального культурного поворота, как Леонтьев (а равно и евразийцы), отнюдь не предполагал. Он стремился к крупным изменениям прежде всего в политике, внутренней и внешней, и в экономике; культурные же вопросы, в сущности, не затрагивал и о возможной новой столице как очаге некоей невиданной «островитянской» культуры нигде не писал.

Этот геополитик еще в провальные 1990-е предвидел наступление нового режима, который станет реакцией на «демократическую брежневщину» ельцинской эпохи и попытается обозначить для России новые цели. Геополитическим выбором для такого режима, по мнению Цымбургского, могла быть «либо “Новая Ялта” русскими ресурсами и русской кровью – либо “переоценка составляющих России” с фокусировкой активности Центра на тех краях, которыми обновится место страны в мире и ее национальная судьба» [10, с. 284].

Особую актуальность приобрели слова Вадима Леонидовича о том, что защищать Россию – значит утверждать принципиальную возможность оправдать ее опыт, и именно с этой позиции наша стратегия национальной безопас-

ности обязана противостоять принесению страны в жертву любым замыслам реконструкции материка, а ориентиром для нее должен стать секулярный геополитический проект [10, с. 311].

Геополитическим чаемым проектом должен быть потому, что «в обществе, круто разделенном по социальным ориентирам, геополитика, представляя страну... как единого игрока по отношению к внешнему миру, несет в себе миф “общей пользы”», вследствие чего «искомая многими партиями и элитными группами идеология, которая бы “сплотила Россию”, почти неизбежно должна включать сильный геополитический компонент» [12, с. 108].

Подводя итог, попытаюсь обозначить своего рода «геополитическое завещание» В.Л. Цымбурского. Во-первых, он призывал к нейтрализации наиболее опасных для нашей страны возможностей развития событий на окружающем лимитрофном поясе, во-вторых – к усилению ее влияния на мировой порядок, не созданный русскими и не на них рассчитанный. Оптимальным, с его точки зрения, был бы геополитический проект, объединяющий обе данные цели и ориентированный на то, чтобы добиваться их сразу и одновременно [10, с. 312]. При этом геополитике России следует все более становиться геополитикой внутренней, нацеленной на оптимизацию использования российских пространств, востребование возможностей, бывших в имперскую эпоху «задепонированными», а наша международная стратегия должна определяться соотношением конъюнктуры Великого Лимитрофа и Великого Океана [10, с. 337].

Литература

1. Богомолов П. Шило на мыло // Правда. 1993. 17 сентября.
2. Гусейнов Г. Исторический смысл политического косноязычия // Знамя. 1992. № 9.
3. Леонтьев К.Н. Записки отшельника // Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872–1891). М.: Республика, 1996.
4. Леонтьев К.Н. Письма о восточных делах // Леонтьев К.Н. Собр. соч. Т. 5. М.: В.М. Саблин, 1912.
5. Межуев Б.В. Политическая критика Вадима Цымбурского. М.: Европа 2012.
6. Хатунцев С.В. Идите все, идите... на Урал! // Политический класс. 2007. № 12.
7. Хатунцев С.В. Лимитрофы – межцивилизационные пространства Старого и Нового Света // Полис. 2011. № 2.
8. Хатунцев С.В. Новый взгляд на развитие цивилизаций и таксономии культурно-исторических общностей // Цивилизационный подход к истории: проблемы и перспективы развития. Воронеж, 1994.
9. Цымбурский В.Л. «Бес независимости» // Век XX и мир. 1991. № 3.
10. Цымбурский В.Л. Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007.
11. Цымбурский В.Л. Остров Россия (Перспективы российской геополитики) // Полис. 1993. № 5.
12. Цымбурский В.Л. «Остров Россия» за пять лет: Приключения одной геополитической концепции // Россия и мир: политические реалии и перспективы». М., 1997. № 10.

Аннотация. В статье рассматриваются геополитические представления известного русского филолога, культурфилософа, мыслителя и политического писателя В.Л. Цымбурского, в частности – его модель «Острова Россия», концепции «Похищения Европы», Великого лимитрофа; дается их критика, предлагается авторский взгляд на некоторые вопросы, поднятые Цымбурским. Категория лимитрофных пространств дополняется категорией лимбовых территорий.

Ключевые слова: В.Л. Цымбурский, «Остров Россия», геополитика, цивилизационный подход, цивилизационная геополитика, внутренняя геополитика России, «европохитительство», Великий лимитроф, лимб, перенос столицы.

Stanislav V. Khatuntsev, PhD, Voronezh State University, Faculty of History, Russian History Department, Associate Professor.

Vadim Tsymbursky, a Russian Geopolitician.

Abstract. The article covers geopolitical conceptualization of a prominent Russian philologist, cultural philosopher, thinker, and political writer V.L. Tsymbursky, in particular, his “Island Russia” model, the concepts of “Euronapping” and of the Great Limitroph; as well as their criticism, the author’s opinion of some problems brought up by Tsymbursky. The category of limitrophic spaces is supplemented with the category of limbic territories.

Keywords: V.L. Tsymbursky, “Island Russia”, geopolitics, civilization approach, civilization geopolitics, internal geopolitics of Russia, “Euronapping”, Great Limitrophe, limb, transfer of the capital city.



В.В. Ванчугов

От «Острова» к «Крепости»: метафора как инструмент политического анализа и практической политики

Ю.В. Громько

Идеология как дисциплинарное занятие. Цымбурский – гуманитарный ученый-пророк

От «Острова» к «Крепости»: метафора как инструмент политического анализа и практической политики

Политик оперирует категориями возможного, а геополитик мыслит в формате должного, императивами, опираясь на свои изыскания в истории, философии, экономике, географии и других сферах знания. Первому нужны простые и внятные, эффективные формулы, верность которых проверяется здесь и сейчас; второй оперирует скорее метафорами, так что даже при общности объекта и единстве целей и задач у них различные нарративы, причем настолько, что первому не только трудно понять второго, но и зачастую у него возникает чувство антипатии, в основе которой подозрение, что ему вместо рационального взгляда на настоящее науки предлагают ее псевдоморфозы.

Если политик и использует образы и метафоры, то лишь как украшение, как элементы красноречия, однако для геополитика они – инструменты иного рода. В современной литературе, в частности англоязычной, мы найдем множество геополитических метафор (geopolitical metaphors), обсуждений их наряду со схемами и моделями [7, 8, 9]. Метафорой для геополитики может выступить буквально всё – элементы одушевленного и неодушевленного мира, архитектурные сооружения, игры, ландшафты. Метафоры, вводимые для описания геополитического субъекта, объекта политики, сменяют друг друга в зависимости от времени и места восприятия, изменения роли, перехода из одного блока в другой, состояния системы – как, например, в случае с Турцией, которая в период «холодной войны» описывалась как «бастион» (bastion), а после окончания «холодной войны» воспринимается (преподносится) как «мост» (bridge), «перекресток» (crossroad) [10].

Среди геополитических метафор мы найдем и «третий Рим», и «желтую опасность», и «борьбу за космос», и «железный занавес», и вновь активированный сегодня «принцип домино», на котором следует остановиться особо. Эта метафора появилась в ходе «холодной войны», и использующие ее подразумевают, что при надлежащем применении сил – последовательно и скрытно – падение правящего режима в одной стране неизбежно повлечет за собой подобные процессы и в других, заранее определенных местах. «Вы имеете ряд стоящих костяшек домино и роняете первую из них, – пояснил Дуайт Эйзенхауэр на пресс-конференции 7 апреля 1954 года. – То, что случится с остальными, весьма очевидно – они очень быстро опрокинутся. Итак, вы получите начало процесса распада, который будет иметь самые глубокие последствия». И словно в обоснование того, что метафора есть не просто фигура речи, риторический прием, а лишь весьма своеобразное и «сокращенное», почти поэтическое представление формулы политики, указывают в качестве классического при-

Ванчугов Василий Викторович, доктор философских наук, профессор кафедры истории русской философии философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, заместитель главного редактора сайта «Русская idea».
E-mail: vanchugov@gmail.com

мера попытки развалить советский блок провоцированием мятежей в странах Варшавского договора.

Ну, а в наше время «домино» проявилось в серии «цветных» и арабских революций, и той же метафорой оперирует Запад, интерпретируя действия России на постсоветском пространстве.

Формально метафора относится к сфере искусства, где она является одним из способов отражения действительности в художественном плане. Но поскольку посредством метафоры можно конкретизировать понятие самое абстрактное, то ее применение гораздо шире, чем искусство. И прежде всего метафора становится рабочим инструментом геополитика, где она не «образная форма изложения мыслей», а своеобразная формула. Последнее, впрочем, дает оппонентам основания представлять геополитику как геопэтику, итог умозрительности, созерцания карт и атласов и измышления воображаемых миров, произвольного придания смыслов историческим деяниям, внешне убедительных, но не доказуемых.

И действительно, не есть ли перед нами под видом геополитики тип художественного мышления, случайно занятого политикой? Не является ли геополитик всё тем же художником, продукты воображения которого кажутся убедительными порой и для политика, поскольку его собеседник – эрудит, представитель академического сообщества – обладает навыками и семиотику способен превратить в магическое искусство. А если говорить о Вадиме Цымбурском, то он, как представитель классической филологии, к тому же близок еще и к мифологии.

Миф у «классиков» повсюду идет фоном, сознательно или бессознательно, они используют его как систему координат, основание для сопоставлений, метаязык, основу для измерения. И эта погруженность в миф при всем разнообразии специализаций задает фон, формат сознания даже человеку Постмодерна, а потому есть опасения, что под видом «академического рассмотрения проблем истории (региональной, всемирной)» вам предложат всего лишь миф. На новый лад, манер и слог, но миф. И кто как не классик-филолог в состоянии выдать его за форму гуманитарного знания современного человека, выступив в итоге в роли современного Гесиода?

В эпоху перестройки этот формат размышлений мог многих увлечь из-за своей новизны, своеобразия, введения необычных образов и знаков, практик анализа действительности и реконструкции прошлого. Так что испытывающему опасения, что под видом геополитики, философии истории, истории философии ему преподнесут лишь поэтико-политический миф, эпос, складно переделанный в суггестивный нарратив, лучше всего просмотреть работы Цымбурского сквозь призму современных проблем. Что дает он нам сегодня? Ведь по прошествии времени лучше видно, содержится ли в метафоре формула, которую можно использовать в реальной политике.

Как я уже отметил выше, метафорой для геополитики может выступить буквально всё – сооружения, игры, состояния сознания, части суши, любые элементы одушевленного и неодушевленного мира. В контексте упомянутого выше «принципа домино», в свете последних событий, свидетельствующих об очередной попытке «свалить» Россию, следует вспомнить текст уже хорошо известного околополитической публике философа. За семь лет до рождения Цымбурского в пригороде Цюриха Цолликоне Иван Александрович Ильин готовит заметку «Что сулит миру расчленение России?» (15 июля 1950 года) [2]. В ней он призывает патриотов к тому, что каждый верный своему Отечеству, беседуя с иностранцами о России, должен разъяснять им, что она есть не случайное нагромождение территорий и племен и не искусственно слаженный «механизм» «областей», но живой, исторически выросший и культурно оправдавшийся «ор-



ганизм», не подлежащий произвольному расчленению. И органичность страны проявляется в том, что она есть: а) географическое единство, части которого связаны хозяйственным взаимопитанием; б) языковое и культурное единство, исторически связавшее русский народ с его национально-младшими братьями; в) государственное и стратегическое единство, доказавшее миру свою волю и свою способность к самообороне; г) оплот европейски-азиатского, а потому и вселенского мира и равновесия. А потому так многими чаемое расчленение «организма Россия» окажется лишь политической авантюрой, гибельные последствия которой человечеству придется переживать долгие времена.

Не вдаваясь здесь в подробности, отмечу только, что Ильин предлагает европейцам и американцам выстраивать отношения с Россией и понимать ее прошлое, исходя из метафоры «организма», которую он воспринимает как формулу, убедительную для оппонентов. Можно привести большой ряд представителей русской мысли, отметившихся поиском «формул», облачающих свои интуиции в метафоры. Прежде всего в контексте отношений с Европой вспоминается первое «философическое письмо» Чаадаева, для которого европейские народы «имеют общее лицо, семейное сходство». Народы для него организмы; при этом, правда, в то время как европейские – высшие существа, мы, в интерпретации Чаадаева, ближе если и не к животным, то к дикарям: «Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то до странности неопределенное, холодное, неуверенное, напоминающее отличие народов, стоящих на самых низших ступенях социальной лестницы» [6, с. 328]. И в своей визуализации России он использует пространственный фактор, самой огромностью территорий подчеркивая нашу пустоту и никчемность: ведь, раскинувшись между двух великих делений мира, между Востоком и Западом, «опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию», мы должны были сочетать в себе два начала духовной природы – воображение и разум, благодаря чему объединить историю всего Земного шара и создать особую цивилизацию. Но нет! Вместо этого мы оказались предоставлены всецело самим себе, став нарицательным примером другим народам... Однако при всей неприглядности образов России, выходящих из-под пера Чаадаева, все же не стоит забывать главного: своими метафорами он хотел повлиять на ход развития, задать геополитический вектор, указать точку приложения сил, указать правильное место «организму» в геополитической системе, цивилизационной нише.

Образ «организма» мы найдем и в «культурно-исторических типах» Данилевского, трактат которого, при всем биологизме и ботанических уподоблениях, насыщен формулами, или, если угодно, псевдоморфозами. Однако и здесь мы имеем дело с геополитическими метафорами, и автор настолько увлечен собственной проекцией идеального социального бытия, что, «преодолевая Европу», цивилизационно покоряя ее, он не видит Америку – разве что лишь только архаическую часть ее, а вот США оказываются вне поля зрения. Данилевский словно ослеплен Европой, но хочет ввести в политический оборот еще нечто более лучезарное – славянский культурно-исторический тип.

Этот же самый «культурно-исторический тип» получает обоснование, только уже метафизическое, в работе В.С. Соловьева «Три силы», где вместо цивилизационной биологии – откровение высшего божественного мира, а народ, через который эта сила проявится, – посредник между человечеством и высшим миром, точнее, богоизбранный народ, носитель, агент третьей божественной силы – славянство и прежде всего русский народ. Однако в то время как формула всегда четко локализует описываемое действие не только в пространстве, но и во времени, определяя начало и конец процесса, оперирующий метафорами, уповая на постижение сути истории, избавляет себя от конкретизации. И потому Соловьев заявляет, что, «когда наступит час обнаружения для

России ее исторического призвания, никто не может сказать, но всё показывает, что час этот близок, даже несмотря на то, что в русском обществе не существует почти никакого действительного сознания своей высшей задачи» [3, с. 30].

Впрочем, достаточно экскурсов в прошлое и примеров использования метафор с политической составляющей. Отметим лишь, что геополитика, имея дело не только с историей, но и с будущим, устанавливая направление возможного движения, и не должна заботиться об определении точного времени наступления предполагаемого сценария развития событий. Сделанный здесь краткий экскурс напоминает лишь о том, что философ истории, ориентированный на решение, среди прочего, и политических проблем, предлагает лишь общее представление о сути процесса, что дает основания делать выводы о его возможных темпах и контурах в будущем. Ему важно указать суть, а не то, как она детально проявится впоследствии.

Поскольку геополитика центрирована на географии, то среди прочих метафор, содержащих формулы, мы находим «Остров Россия» Цымбурского [5, с. 43–99], где пространство – категория не только географическая, но и метафизическая, своеобразная субстанция, влияющая на поведение исторического объекта. Ряд вопросов, заданных им в «Острове Россия», следует повторить и сегодня, чтобы показать, что изменилось с тех пор: «Кто мы? О чем идет речь, когда мы произносим слово “Россия”? Что подразумевают люди старшего поколения, и что приходит на ум молодым? Какой ее видят европейцы и американцы – как наследницу СССР, Российской империи?». И в свете последних событий особенно актуальным становится вопрос Цымбурского, обусловленный необходимостью выявления критериев *геополитической идентичности* России: «Что представляет собой эта страна после 1991 года? Надо ли ее рассматривать как совершенно новое государство, или Российская Федерация – просто новая фаза истории того же самого государства, которое он знал раньше как Россию императоров и Россию-СССР коммунистов?».

Актуализируя этот вопрос до созвучия нашей повседневной речи, его можно задать сейчас следующим образом: что представляет собою Россия после 2014 года – это просто новая фаза постсоветской истории России, прежде имперской, или теперь мы живем в совершенно новом государстве?

Попытка дать конструктивный ответ на поставленный выше вопрос выводит Цымбурского на сопутствующую тему – «демонтаж» империи. В строительстве это означает разбор чего-либо, ряд действий для прекращения функционирования, ликвидация конструкции. А что подразумевается под этой метафорой у Цымбурского? Если посмотреть на результаты демонтажа (деконструкции) в сфере политической, то распад империй осуществляется по двум вариантам. В первом случае в мировом геополитическом раскладе устраняется место империи, вследствие чего преобразуется структурно весь прежний расклад: взамен империи в него отныне входит группа государств с совершенно новыми судьбами, никак не продолжающими судьбы державы (как примеры им даны конец Римской империи, державы монголов или Австро-Венгрии – то есть распад без оговорок). Во втором варианте «демонтажа» отпадают лишь периферийные владения, ища собственной участи, но ядро империи сохраняет роль, связанную с прежней державной ролью. В случае, как с ликвидацией колониальных империй европейских государств, можно говорить о сохранении метрополии государственной идентичности и о переходе всё той же страны в постимперскую фазу, так что в данном варианте метрополия должна обладать геополитическими характеристиками, не присущими самоопределившейся периферии, и с отмежеванием периферии важные структурные черты миропорядка, обусловленные существованием данного государства, пребывают в неизменности.



Теперь, зная о вариантах деконструкции империи, можно, образно говоря, расположившись у карты, промотать ленту времени вспять. Здесь, кстати, следует отметить, что игры со всякого рода картами и атласами чреватые интересными геополитическими сюжетами. Глядя на иные страны, которые мы по привычке включаем в круг близких к нам территориально и культурно, можно обнаружить, что они совершенно иначе трактуют свое местоположение. Ведь в своей национальной идентификации народы придают большое значение географическому фактору, и у них формируются определенные географические, пространственно-графические образы. Всякого рода ландкарты и чертежи для них становятся зрительными образами ойкумены, родной земли в контексте мирового пространства, в котором они отводят себе первенствующую роль, так что в иных случаях посредством них можно эффективно манипулировать массовым сознанием, обосновывать перед соседями притязания на когда-то свои земли, подгоняя новые издания под «ментальные карты», созданные политическим воображением, геополитическими фантазиями¹.

Рассмотрим на политической карте мира Польшу, Чехию, Венгрию и другие страны Восточной Европы, элиты которых считали себя частью Запада, элементом Центральной Европы, в то время как Россия и в прошлом, и в советское время полагала, что они образуют вместе с ней Восточную Европу, и после Второй мировой войны, когда возник «советский блок», их всех включили в этот культурный ареал, цивилизационный блок, следствием чего с их стороны было повышение градуса русофобии благодаря искусному подогреванию такого настроения участниками «холодной войны». Так, чешский писатель Милан Кундера полагал, что страны Центральной Европы, будучи частью Запада, в результате предательства в Ялте отданы были на растерзание советскому режиму, который является естественным продолжением российской цивилизации, чуждой Европе, так что ключевая его статья на эту тему называлась «Похищенный Запад, или прощальный поклон Культуры» (1984).

И этой теме локализации цивилизаций и ментальных карт уделил особое внимание английский историк Ларри Вульф в своей книге «Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения» [1], особенно интересной при сегодняшнем прочтении Цымбурского. Здесь он показывает, что Кундера (как и многие восточно-европейцы) стал жертвой геополитической истины, придуманной на Западе, а именно концепции разделения Европы на Восток и Запад. В представлениях Запада, Россия, Польша, Венгрия и Чехия принадлежали к одному «цивилизационному ареалу» Восточной Европы, так что Сталин в Ялте вовсе не «крал» их у Запада, а Черчилль с Рузвельтом не предавали Центральную Европу уже потому, что таковой просто не было. И Цымбурский дает замечательное обоснование геополитического смысла той линии, по которой установился «железный занавес». Относительно контуров и исторического значения этой линии Черчилль в своей речи в Фултоне в 1946 году заметил: «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железный занавес опустился через весь континент». И эта линия на карте Европы совпала с делением континента, глубоко укорененным в западной мысли на протяжении двух столетий. Вот истоки драмы истории – поляки и чехи были уверены, что их похитили, они рвались в свой родной дом, но там их «своими» никогда не считали, полагая за человеческий материал, который можно и нужно использовать в геополитической игре. Как сказано было в предисловии к книге Вульфа, метафора «железного занавеса» смогла легко прижиться в западном сознании потому, что была основана на долгой интеллектуальной традиции – проведенная Черчиллем ли-

¹ Так в нашем коллективном самосознании важную роль играла «византийская карта» православной цивилизации с центром в Царьграде-Константинополе.

ния «от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике» была нанесена на карту и осмыслена еще два столетия назад, хотя тот период интеллектуальной истории был почти забыт или намеренно затушевывался. И этот раскол был продуктом культуры: в эпоху Просвещения Запад изобрел Восточную Европу как свою вспомогательную половину. Европа – как цивилизация – «обнаружила» на том же самом континенте, только с края, нечто отдаленно похожее на культуру.

В XVIII веке понятие «скифы» еще включало в себя все восточноевропейские народы, а после Гердера Восточная Европа обрела образ славянского края. Эта концепция удачно соотносилась с риторикой «холодной войны», и Вульф считает, что она, пережив распад советского блока, останется в культуре, равно как «и на тех картах, которые мы носим в своем сознании».

Итак, расположившись у карты, основываясь на указаниях Цымбургского и промотав с ним ленту времени вспять, двигаясь в прошлое, можно обнаружить в истории, точнее – в XVII веке, «эволюционную развилку», откуда одна линия ведет к Российской империи и СССР, а другая – к постперестроечной России. В отличие от текучей в своих формах «Руси», Россия возникает в полноте необходимых и достаточных геополитических характеристик не при Рюрике и не при Иване Калите, а в течение XVI века, и последней среди этих характеристик стал выход русских в земли Заволжья и Зауралья; при этом можно сказать, полагает Цымбургский, что Россия не присоединяла Сибири, а «создалась Сибирью».

Далее как геополитический объект Россия может быть описана тремя признаками.

Во-первых, это целостная геополитическая ниша русского этноса, лежащая к востоку от романо-германской этно-цивилизационной платформы, не относясь к ней и уже в пору своего конституирования в XVI веке превзойдя коренную Европу площадью, а в XVII веке образовавшая особую платформу, заполнив пространство между Европой и Китаем. Во-вторых, обширность трудных для освоения пространств на ее востоке. В-третьих, конституитивной для России является отделенность страны от романо-германской Европы на западе поясом народов и территорий, примыкающих к этой коренной Европе, но не входящих в нее. Этот промежуток между первым очагом модернизации и русской платформой ученый называет «территориями-проливами», или параевропейскими «территориями-проливами». И если ввести расположенные на западе России территории-проливы, вместе с единством геополитической ниши русских и восточными трудными пространствами, в определение паттерна России и констатировать судьбоносность для нее исторической констелляции, которая возникла в XVI веке между провозглашением царства, прорывом в Сибирь и распространением крепостничества у наших непосредственных западных соседей, то Россия обретает черты гигантского острова внутри континента, русского острова с иноэтническими вкраплениями. При этом «трудные пространства» в XVI–XVII веках отделяли «остров Россию» от глядящего на Тихий и Индийский океаны пояса этно-цивилизационных платформ Азии радикальнее, чем слой «территорий-проливов» от коренной, приатлантической Европы.

Наиболее драматичными моментами в российской истории «великоимперской фазы» оказывались те, в которых устремление России в Европу порождало ответный выброс государственных энергий из Европы в сторону «острова». При этом следует отметить, что используемая им метафора «острова» имеет мифологическую основу, поскольку автор полагает, что у нас не было в тот период «развилки» внешнеполитической доктрины, которая в том или ином варианте не лелеяла бы мифа о «похищении Европы». Но здесь и сейчас мы сосредоточимся исключительно на «острове». Пространства, длительное время предоставлявшие России доступ к коренной Европе, Балканам и Среднему Востоку, в наше время актуализировались в новом качестве «проливов», отдаляющих нас от всех этих



участков мирового приморья и прежде всего от Европы. Для нее самой утрата контактного соприкосновения с российским присутствием едва ли не намного важнее, чем экзальтированное усвоение либеральных норм «перестроечными» россиянами. Паттерн «острова России» означает полную инверсию геополитических приоритетов государства в сравнении с той их иерархией, которая характеризовала великоимперскую фазу. На западных «территориях-проливах» центральная российская власть имеет кое-какие обязательства, но практически никаких перспектив, тогда как южные «территории-проливы», созданные собственно российской политикой, обретают повышенный оборонительный интерес – при условии отказа от любых попыток интегрировать их в геополитическое «тело» России и тем самым поставить ее лицом к лицу со Средним Востоком. При этом при создавшемся положении любые попытки НАТО расширяться за счет Восточной Европы Россия должна переносить достаточно болезненно, остро реагировать на любые движения Запада, толкуемые нами как попытки уменьшить пространственный зазор между российской и европейской платформами.

А с переворачиванием иерархии приоритетов на первое место в России предстоит возвести геополитику внутреннюю, нацеленную на развитие регионов «острова» в их природной и хозяйственной дифференцированности, особенно – трудных пространств. Это естественная интериоризация геополитики страны вследствие ее перехода к «островному» паттерну. Отсюда и слоган того времени: «Благо регионов – благо России». Эта тенденция важна не только сама по себе, но и как подготовительный этап к изживанию западоцентризма российского «острова». И в новом свете Цымбурский высказывает предположение, что с устранением больших милитаристских целей на Западе восточные регионы начинают добирать недобранное за великоимперские века, и потому в ближайшие годы они всё крепче «потянут одеяло на себя», а геополитический фокус страны быстрее или медленнее, эволюционно, с санкции и при содействии центрального правительства или же революционно будет смещаться на ее трудные пространства, отчего следует ожидать как распада, так и нового собирания России.

Поскольку Россия состоит из множества региональных образований с этнической, религиозной и географической спецификой, то активизировались дискуссии о существовании разных форм регионализма (карельского, татарского, башкирского, кавказского, дальневосточного, сибирского и др.), и наиболее напряженными в геополитическом отношении территориям стали Северный Кавказ, Калининградская область, Дальний Восток, граничащий с Китаем юг Восточной Сибири.

Но пока попытки активизировать сепаратистские настроения за счет возрождения различных форм регионализма успеха не приносят, а вот процесс собирания земель продолжается: на мартовском референдуме 2014 года жители Крыма практически единогласно проголосовали за воссоединение с Россией, и даже противникам отделения Крыма пришлось признать, что жители сами решили свою судьбу. Таким образом, осторожная оговорка Цымбурского, что следует ожидать как возможного сценария развития событий «нового собирания России», из предположения стала реальностью.

Время раскрывает как достоинства текста, так и концептуальные упущения автора. Когда он говорит о «трудных пространствах» XVI–XVII веков, которые отделяли «остров Россию» от глядящего на Тихий и Индийский океаны пояса этно-цивилизационных платформ Азии радикальнее, чем слой «территорий-проливов» от коренной, приатлантической Европы, то при прогнозировании будущего он не рассматривает это направление движения как возможное, делая предположение лишь о гипотетическом распространении на «территории-проливы». Но ландшафт изменился, совершенствовались и средства преодоле-

ния пространства, а ученый все еще смотрел на те края глазами времен Ермака, человека повозки, медленного торгового каравана, в то время как уже «челноки» эпохи перестройки показали, что это пространство притягательно и легко преодолимо, а развитие сети дорог сделает его просто комфортным. Говоря о лимитрофах, пограничных государствах, Цымбурский упускает из виду изменение их статуса во времени, относительность лимитрофности, если можно так выразиться, когда приграничные территории становятся внутренними землями, когда внешнее становится внутренним. Посмотрите на карты разных веков, на соотношение в них центра и периферии, и вы заметите, как в некоторых случаях пограничное (лимитроф) затем становится периферией, то есть всё так же с краю, но уже не вовне, а внутри.

Когда-то внешнее по отношению к России кольцо стало внутренним, оно теперь, как новый обруч на бочке, увеличившейся в размере, что придает ей необходимую крепость. Поглощается империей еще одно прежде пограничное пространство, и оно присоединяется к ее периферии, а вчерашний лимитроф становится новой губернией. Однако при этом особо не рассматривается самосознание народов, населяющих страны-проливы, являющиеся буферной зоной, промежутком между Россией и Европой и ставшие либо губернией России, либо вновь пограничным ей государством. Чем обусловлено их маргинальное положение, судьба пребывать в промежуточном состоянии? Тем ли, что две силы, цивилизации избегают тесного, непосредственного соприкосновения, и потому необходима геополитическая прослойка, некий «пролив» между «островами», «континентами»? И как долго просуществует наш «остров»?

Хотелось бы также заметить, что европоцентрированный взгляд автора не позволил ему сосредоточиться более обстоятельно на Китае, для которого уже мы – лимитроф, а также обсудить и такое допущение, согласно которому сама Европа – лимитроф, приграничное пространство-государство между нами и США. Тем не менее следует отметить, что в его работе метафора – не просто условность, но и точность, достаточно высокая, когда речь идет о России, однако по мере выхода за ее пределы и рассуждения о ней в контексте других «островов» суждения его скорее будут восприниматься как метафоры, как утверждения с высокой долей условности. При этом, перечитывая сегодня Цымбурского, нам следует, основываясь на упомянутой выше книге Вульфа («Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения»), посмотреть на наш «остров» со стороны, с того берега, где с XVIII века сложилось свое представление о Восточной Европе как вспомогательной, периферийной зоне Запада, реконструировать исторический и географический образ того мира, что лежит за этой буферной зоной – России, постоянно присутствовавший в сознании европейца как таящий в себе вызов иной мир, инобытие Европы...

Впрочем, многие положения, слишком кратко выраженные в сочинении «Остров Россия», автор затем превратил в развернутые суждения в других статьях и комментариях к ним.

В завершение статьи вновь хочу вернуться к значению геополитических метафор. Они – непрменный элемент геополитического мышления, так что некоторые предпочитают говорить о подобного типа нарративе как о *геолоэтике*. Но не всякая метафора, претендуя на роль формулы, становится таковой. Так аналогичная попытка евразийцев не увенчалась успехом, и их Континент-Евразия так и остался метафорой, которую, впрочем, в перестроечные времена снова попытались представить формулой, и снова безуспешно. Но если у политика метафора так и остается элементом *эристики* (полемики, спора, диспута), то усилиями геополитика, пришедшего в политическую сферу из науки, она эволюционирует в понятийную модель, является уже типом *эристики*, и мета-



фора становится геополитической моделью, пригодной не только для прагматической ретроспекции, аналитического описания действительности, но и для применения в области планирования, формирования контуров будущего.

Пока рано говорить об «уходе из Европы», и Цымбурский показал, что не следует возможный «уход из Европы» воспринимать как катастрофу. Ведь уже был уход после Крымской войны, затем в годы Версальской системы с ее кордонами против большевиков, и что оба отката компенсировались поворотами к «евразийской» геополитике в Средней Азии, Монголии, Китае: Россия «собирала пространства», угрожая отторгавшей ее Евро-Атлантике [4].

И что сегодня? Как исследователь политического языка Цымбурский отметил сдвиг смыслов в словах и выражениях, модификацию значения терминов, введение новых концептов, что вынесено им в качестве заглавия статьи – «От России-Евразии к России в Евразии». «Россия в Евразии» воспринимается им как формула, явно требующая, с одной стороны, переосмыслить понятие «Евразии», с другой стороны, по-новому увидеть сущность, называемую «Россия».

Было время, когда у нас много и страстно писали о «китайской опасности», что дало повод Цымбурскому заметить, что это делается с «излишней, но симптоматической истерией». Теперь Китай пытаются представить Дружелюбным Другом, а вот Европа для многих уже «плохая дама», «дряхлая старушка», о скорой смерти которой так много вещали еще в позапрошлом веке, да так и не дождались. Как бы теперь вновь не стали писать «с истерией», хотя она и провоцирует на негативную экспрессию. В свою очередь, необходимо понять, что Европа повела себя так, чтобы оттолкнуть нас от себя, не по собственной инициативе, оказавшись между двух огней, между молотом и наковальней, как точка приложения двух сил – США и России. Штаты изрядно постарались, чтобы «выдавить» нас из Европы. И поворачиваясь к Азии, Востоку, следует помнить, что и здесь возрастание нашей мощи по прошествии времени вызовет сопротивление.

Так что прав Цымбурский – лучше все же не увлекаться более «похищениями» Европы, равно как и Азии, а оставаться «островом», «Россией в Евразии». Впрочем, эта метафора вскоре претерпит изменения. Исчезнут пространства, играющие роль «проливных функций». Проливы, образно выражаясь, «пересохнут», исчезнут промежуточные зоны, и соприкосновение между цивилизационными платформами будет непосредственным, а потому наш «остров» должен быть крепостью с воротами на все стороны света, но надежно охраняемыми.

Литература

1. Вульф, Ларри. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2003.
2. Ильин И.А. Что сулит миру расчленение России? // Ильин И.А. Собр. соч.: в 10 т. Т. 2. Кн. I. М.: Русская книга, 1993. С. 326–340.
3. Соловьев В.С. Три силы // Соловьев В.С. Соч.: в 2 т. Т. 1: Философская публицистика. М.: Правда, 1989. С. 19–31.
4. Цымбурский В.Л. Земля за великим лимитрофом: от «России-Евразии» к «России в Евразии» // Бизнес и политика. 1995. № 9.
5. Цымбурский В.Л. Поэтика геополитики: статьи 1991–2000 гг. Т. 1.
6. Чаадаев П.Я. Философические письма // Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: в 2 т. Т. 1. М.: Наука, 1991.
7. Agnew, John; Entrikin, J. Nicholas. Marshall Plan Today: Model and Metaphor (Studies in Geopolitics). London: Routledge, 2004.

8. *Charteris-Black, Jonathan*. Analysing Political Speeches: Rhetoric, Discourse and Metaphor. London: Palgrave Macmillan, 2013.
9. *Dittmer, Jason*. Captain America and the Nationalist Superhero: Metaphors, Narratives and Geopolitics. Philadelphia, PA: Temple University Press, 2012.
10. *Yanik, Lerna K*. The Metamorphosis of Metaphors of Vision: «Bridging» Turkey's Location, Role and Identity After the End of the Cold War // Geopolitics. Vol. 14, Issue 3 (August 2009). P. 531–549.

Аннотация. Статья посвящена проблемам репрезентации идей в геополитике, в частности, использованию в этой дисциплине метафор, аналогий, сравнений, а также мифологизации идеологий. Для решения этой проблемы сопоставляются различные нарративы, приемы и техники производства знаний в области гуманитарного знания в целом и в политике в частности. Взяв за основу комплекс идей Вадима Цымбурского, автор рассматривает одну из его ключевых работ в контексте современных проблем, полагая наиболее актуальной темой «демонтаж» империи – обсуждение этого сюжета дает возможность заниматься «конструированием», проектированием ближайшего будущего.

Ключевые слова: политика, геополитика, история, философия истории, метафора, формула, герменевтика, миф, империя, власть, управление.

Vasily V. Vanchugov, PhD, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Philosophy, Department of History of Russian Philosophy, Professor. Politconservatism.ru, Deputy Chief Editor.

From «Island» to «Fortress»: Methaphor as an Instrument of Political Analysis and Practical Politics

Abstract. This article is devoted to the representation of ideas, in particular, the use in the field of geopolitics, metaphors, analogies, comparisons, as well as cases of mythologizing ideologies. For this purpose, the author has made a comparison of the various narratives, methods and techniques of modern production of knowledge in the humanities in general, and in politics in particular. Taking the complex of ideas from the book “The Island of Russia”, the author of the article is going to highlight one of his key works in the context of contemporary issues, because, in his opinion, the most topical issue is the “dismantling” of the empire, discussion of which gives us the opportunity to be engaged in designing future.

Keywords: politics, geopolitics, history, philosophy of history, metaphor, formula, hermeneutics, myth, empire, power, governance.



Идеология как дисциплинарное занятие. Цымбурский – гуманитарный ученый-пророк

Обращаясь к наследию Вадима Леонидовича Цымбурского, мы сталкиваемся с совершенно особой оптикой его работ. Мы имеем дело не с некоторым операционально организованным знанием, но с кругом идей, понимание которых определяется ситуацией, в которой находится их интерпретатор. Изменение ситуации влияет на формирующееся видение (оптику) и интерпретацию идей.

Актуальность теоретического наследия В.Л. Цымбурского не уменьшается со временем, а наоборот, резко увеличивается. Ставшие известными несколько лет назад идеи приобретают как бы б льшую рельефность и смысловую значимость. Подобное обстоятельство может быть объяснимо только тем, что этот круг идей выявляет некоторое представление об узловых моментах движущейся реальности таким образом, что изменяющаяся реальность со временем начинает во всё большей степени проясняться на основе ранее сформулированных представлений. Подобное оказывается возможным только в том случае, если мыслитель (в данном случае политический философ) сумел нащупать некоторое сущностное определение социально-политических, цивилизационных процессов.

Мы утверждаем, что оптика процессов исторического изменения российской цивилизации, обнаруженная В.Л. Цымбурским, такова, что чем ближе мы будем приближаться к важнейшим развилкам и необходимому выбору направления движения и способа действия, тем актуальнее будут становиться его идеи. С этой точки зрения, В.Л. Цымбурский – не консерватор, который что-то замороженное из прошлого хочет сохранить¹, но мыслитель, который предъявляет основание глобального масштабного преобразовательного действия с позиций России. Поскольку эти основания укоренены в российской культурной и духовной традиции, то он и не ниспровергатель основ – не революционный бес. Кардинальный тектонический сдвиг содержится в продолжении всей русской истории – имперской, советской, современной, а не в отказе от нее. Хотя сама эта история может трактоваться совершенно по-разному.

Основная задача, решаемая В.Л. Цымбурским, состоит в том, чтобы выявить идеальный тип российской цивилизации, который позволяет опознавать меру инородности существующей сегодня государственности и политической организации страны данному цивилизационному типу. Этот идеальный тип российской русской цивилизации конституируется и получает определенность сразу

¹ Напомним характеристику К.П. Победоносцева, данную А.А. Блоком: «Мороз, который может на некоторое время остановить гангрену».

Громыко Юрий Вячеславович, доктор педагогических наук, директор Института опережающих исследований имени Е.Л. Шифферса.

во всех возможных мирах: культурном, духовном, технологическом, географическом, экономическом, историческом и т.д. Этот идеальный архетип Российской цивилизации «вырастает» из определенной пространственной организации страны и форм осознания населением ее возможностей. Данная пространственная организация оказалась разрушена в силу гибели государства СССР. Будучи вырвана из определенной геополитической платформы, перестав быть самодостаточным организмом, данная страна попала в поле действия огромного количества факторов.

Но, самое главное, по границам российской государственности, бывшим территориям СССР, а также в зонах влияния бывшего СССР появились самостоятельные субъекты, враждебно или в лучшем случае безразлично настроенные к интересам России. Это и есть, наверное, самый первый и самый важный итог величайшей геополитической катастрофы XX века – гибели СССР, через форму которого продолжали действовать созидательные силы Российской государственности. Ни этническое самоопределение, ни религиозные традиции народов, проживающих по границам сегодняшней Российской Федерации, до конца не определяют меру и форму симпатий или антипатий этих самостоятельно действующих сил по отношению к России. Более того, после украинской геополитической катастрофы и присоединения Крыма становятся более заметны «шестеренки» действующих сил и групп. Братский народ Украины, поверивший за счет телевизионной пропаганды в выдуманную в Канаде и США автономную украинскую идентичность, позволил втянуть себя в мясорубку гражданской войны.

Основное видение, которое пронизывает статьи и разработки В.Л. Цымбурского, состоит в том, что выпадение из определенной культурно-исторической и цивилизационной иерархии приводит к появлению разрозненных революционных сил и отрядов, «имя которым – легион». Эти отряды под лозунгами либерализации и отстаивания прав и свобод готовы уничтожать, разрушать и переваривать любые цивилизационные платформы, уничтожать традицию и культуру. Результатом становится полная потеря цветущей сложности живого цивилизационного организма и замещение его либо искусственным механистическим целым, либо отдельными атомизированными человеческими организациями. И мы это наблюдаем сегодня и в либерализованной Ливии, и в недолиберализованной Сирии, и в осуществившей выбор Центральной и Западной Украине.

Собственно, этот со стороны В.Л. Цымбурского отстраненный и нарочито объективирующий взгляд вряд ли можно назвать консерватизмом. Он направлен на то, чтобы получить объективированную патологоанатомическую картину культурно-цивилизационного целого, в котором исчезает созидательная пассионарная энергия живого.

Появившиеся по краям России автономизированные субъекты самостоятельности начинают активно действовать и играть с ней, соединяясь друг с другом в своем желании «дружить против». В отдельных случаях – это их собственные целенаправленные действия, в других случаях они всего лишь пропускают сквозь себя акции других масштабных субъектов «мировой игры» на территорию России.

Этот союз государств по границам и краям России получил у В.Л. Цымбурского название Великого Лимитрофа. В одном случае противодействие России поддерживается старыми страхами ее великодержавности, в другом – стремлением просто прибрать к рукам обильные бесхозные ресурсы, в третьем случае налицо проведение чужой, враждебной к России политики других государств. С точки зрения патологоанатомических аналогий процесс напоминает форму абсцесса, развернувшегося по краям живой ткани, произвольно вырезанной из организма.



Зажатая и окруженная Великим Лимитрофом Россия представляет собой изолированный остров. Этот остров – своеобразная «куколка» будущего развернутого цивилизационного организма-существа. Будущий цивилизационный организм может и не появиться, не возникнуть. Тогда российская цивилизация прекратит свое существование, и остров уйдет на дно под действием вод глобализации и вселенского потопа – поравнения культурных иерархий. Но «куколка» может и выжить, разившись в новый организм в соответствии с определенными цивилизационными циклами. Тогда за островом на поверхности океана появится и остальная материковая твердь, которая выступит из вод.

Метафора острова невероятно важна. Остров ограничен пространственно, поэтому он позволяет сконцентрироваться и определить, что является цивилизационным архетипом России. Остров Россия – это не данность, а заданность. Тем, кто заинтересован в обновленной русской цивилизации и верит в возможность ее развертывания при сохранении культурной и исторической преемственности, необходимо пережить Россию как остров, погружающийся в пучину вод. Тем более – это перед нами реально происходит: вот в водяную бездну погружается Украина вместе с членами нашей семьи. И никакими воплями и криками остановить этот процесс погружения материка в пучину нам не удастся. Магическое заклинание пока не обнаружено.

Перед нами – интереснейшая идеализация цивилизационного анализа по типу идеального газа, нематериальной точки, созданная В.Л. Цымбурским. Остров Россия не существует на карте. Это «система, нарисованная на системе» (если пользоваться концептом В.А. Лефевра), – цивилизационный остаток, нарисованный на бывшей государственности СССР. Она должна быть представлена как идеальная модель особого геополитического состояния в мышлении. Эта идеализация соединяет цивилизационные методы анализа Тойнби и Шпенглера. Рассматривается цикл жизни цивилизаций: от рождения через точку наивысшего развития к закату. Цивилизации в определенный момент исчезают и гибнут. Но в отдельных случаях цивилизация может свернуться и сохраниться для следующего своего раскрытия в этом свернутом состоянии. Остров Россия, окруженный враждебным Лимитрофом, это и есть свернутая русская цивилизация, которая может и быть съедена лимитрофными организмами, выкачивающими из нее животворные силы и переформирующими население в иной антропо-цивилизационный тип. Но она может и развернуться – залогом чему тысячелетнее русское слово (В.В. Кожин). Такая идеализация является основой продумывания в дальнейшем множества проектных действий. Только не стоит спешить ее натурализовать в виде реального государства Российской Федерации.

Что является условием этого «восстания из небытия» и формирования нового пассионарного суперэтнуса, который позволит Русской цивилизации вернуться в новый жизнеспособный организм?

Первое – это смирение тех, кто соотносит себя с судьбой острова Россия. Отнюдь не всё следует спешить свершать. Например, по мысли В.Л. Цымбурского, не стоит бороться с гегемонией США. Нет, указывать на двойные стандарты, нарушение демократических международных принципов, односторонность навязываемой позиции необходимо, но пытаться занимать гегемониальное место США не стоит. Именно США – одной из самых либералистских и антиправославных стран в мире – принадлежит сегодня роль и функция удерживающего-катехона, который спасает мир от апостасии и провала в еще больший необратимый хаос. «Не давать США подрывать местные мировые подпорки так же важно, как и добиваться того, чтобы Америка до времени не упустила своей основной части планетарной конструкции – не уклонилась от, по сути, безблагодатной роли *глобального удерживающего* (катехона). Короче

говоря, надо, чтобы мир не представил жизненных угроз России, пока она не пройдет нынешнюю критическую стадию в своем шпенглеровском цикле»¹.

Второе – все основные беды России, по мысли В.Л. Цымбурского, были связаны с «похищением Европы»² – с очень глубокой вовлеченностью в *европейские* дела. Попытка «похитить» Европу приводила к тому, что через какое-то время после такого ввязывания в европейские дела начиналась расплата. На смену Венскому конгрессу с русским царем в качестве «главы царей» (А.С. Пушкин) приходит Крымская война, на смену взятию Берлина и Варшавскому договору приходит развал СССР. То, что между пиком вовлеченности и развалом страны пролегают долгие 40–45 лет, ничего не значит. Это как раз та самая «конъюнктура времени», которая уходит на запуск «пружин» противодействия. «При анализе их (циклов похищения Европы и ответных воздействий европейских государств. – Ю.Г.) я приму за исходную герменевтическую точку показанное мною в другой работе наличие в геополитике великоимперской России колебаний, которые, проходя через серии однотипных фаз, образуют гомологичные “евро-похитительские” циклы. Каждый такой цикл открывает фаза А – попытка России расширяться навстречу Западу, одновременно подключаясь в качестве чьего-нибудь партнера к борьбе государств романо-германской Европы за гегемонию. В фазе В происходит вторжение Запада в Россию и отбивание ею агрессии. В фазе С она, справившись с этим вызовом, пытается сама перейти к прямому наступлению на коренную Европу, и если эта попытка оказывается удачной, Россия вырастает в крупнейшего претендента на европейское господство. Теперь уже настает фаза D: Запад переходит к сдерживанию России, пока не отбрасывает ее в “холодной” или “горячей” войне. Вслед за тем в российской истории открываются на несколько десятилетий “евразийские” фазы-интермедии, когда отодвинутая от Европы империя выплескивает геополитическую активность в Центральную Азию и на Дальний Восток, чтобы возвратиться в Европу в час конъюнктурно-благоприятный... и повторить цикл заново»³.

Подобный взгляд В.Л. Цымбурского противоречит точке зрения А.Л. Янова, что Россия страдала и гибла в результате самоизоляции, а не вовлеченности в европейскую игру. Интересно, что В.Л. Цымбурский не может при этом рассматриваться в качестве евразийца, славянофила, противостоящего западникам. Очень важно, что он выскальзывает за все привычные стереотипные членения.

В.Л. Цымбурский не является шаблонным евразийцем, повернувшим голову к восточным пределам России, хотя бы потому, что, по его собственным утверждениям, в большей степени, чем Россия, сегодня евразийской страной является Казахстан, а евразийским лидером – Н.А. Назарбаев⁴. Сегодняшняя

¹ *Цымбурский В.Л.* Конъюнктуры Земли и Времени: Геополитические и хронополитические интеллектуальные расследования. М.: Европа, 2011. С. 15.

² Россия, подобно Зевсу в образе быка, похищает прекрасную деву-Европу.

³ См. *Цымбурский В.Л.* Тютчев как геополитик // *Общественные науки и современность.* 1995. № 6. С. 87.

⁴ «...Мы видим возникновение нового государства, распростершегося между Каспием и Аралом, государства, вобравшего в себя львиную долю того добротного ядра Евразии, о котором писал Савицкий... Мы видим постсоветский Казахстан как государство, на которое наиболее органично ложатся концепции классического евразийства. И совершенно естественно, что евразийскую идею в 1990-х годах провозгласила не Россия устами своих официальных политиков, а Казахстан устами президента Назарбаева. Если для нынешней России евразийская идея не выглядит как основание существования, то для Казахстана она выглядит именно так. Я думаю, что на самом деле сегодня мы должны говорить не о России-Евразии, а о Казахстане-Евразии» (*Цымбурский В.Л.* «Республика-Евразия»: перспектива для Казахстана // *Цымбурский В.Л.* Конъюнктуры Земли и Времени: Геополитические и хронополитические интеллектуальные расследования. М.: Европа, 2011. С. 63).

же Россия, сдвинутая в холодные пояса, является не Евразийской цивилизацией с континентальным теплом / холодом степей, жаром пустынь / полупустынь, а северной Арктическо-Евразийской цивилизацией. Поэтому решения В.В. Путина в борьбе за Арктику и шаги к созданию городов за Полярным кругом совершенно правильны. Эпицентр же борьбы за евразийское наследие и ключевая точка формирования нового Евразийского государства, которого не было (а отнюдь не восстанавливаемого СССР-2), определяется глубиной российско-казахстанских взаимодействий.

Третье условие разворачивания острова России в полноценную государственность русской цивилизации состоит в переносе столицы из Москвы за Урал для политического, экономического, культурно-коммуникационного центра правильно-пропорционального переосвоения российских земель. На нашей памяти Вадим Леонидович Цымбурский был первым, кто на основе геополитических, геоэкономических и геокультурных аргументов стал говорить о необходимости сдвига столицы нового Российского государства за Урал. Причем первоначально этой точкой в его рассуждениях выбирался Омск. Тому же Нурсултану Назарбаеву удалось перенести столицу из Алма-Аты в Астану, осуществив тем самым пассионарный управленческий сдвиг в рядах казахской элиты.

Четвертое – формирование цивилизационной идеологии, обеспечивающей ее носителям понимание того, что происходит со страной и куда она должна двигаться. Здесь важно не отрицание западничества, а его своеобразное преодоление – снятие в границах реально допустимого.

Парадоксальным образом В.Л. Цымбурский является сверхзападником, поскольку через работу «Тютчев как геополитик» он с рациональных позиций осуществляет распрямление позиции и западников, и славянофилов.

Он также подвергает сомнению отрицание Ф.И. Тютчевым статуса Запада как самостоятельной цивилизации. Из анализа геополитических работ Ф.И. Тютчева, прежде всего трактата «Россия и Запад», возникает непростой и для сегодняшнего политического философа вопрос: что есть Запад? Если считать основой Запада права и свободы индивида, электоральную демократию, разделение властей, рыночную экономику, то Западом сегодня в большей степени являются США, чем ЕС. А ЕС в виде Соединенных Штатов Европы является вторичным изданием Соединенных Штатов Америки.

Как известно, Ф.И. Тютчев утверждал, что подлинным Западом, если рассматривать процесс трансляции христианской имперской власти от Римской империи к ее восприемникам, является Россия. К моменту формирования государственности на Западе Западная Римская Империя со столицей в Риме перестала существовать. Центр государственности сохранился лишь в Восточной Римской Империи со столицей в Константинополе. И христианскую императорскую власть русские великие князья, по мысли Ф.И. Тютчева, получили от прошедших таинство помазания на царство живых римских императоров в прямом общении и взаимодействии с ними, а не в выдуманно-реконструируемой записи манускриптов латинянами. Но при этом Ф.И. Тютчев не является славянофилом, поскольку он требует освободить географический Запад – Германию и Италию – от псевдозапада, отступников, допустивших попрание подлинной христианской веры. «Мыслим ли славянофил, у которого ключевой славянофильский вопрос о последствиях петровской европеизации для внутреннего уклада России вызывал бы так же мало интереса, как у Тютчева? Найдем ли мы другого славянофила, который бы без обиняков указывал на Германию и Италию как на имперские провинции «будущей России»?»¹. И хотя аккуратный и тщательный В.Л. Цымбурский пишет, что на работах Ф.И. Тютче-

¹ См.: *Цымбурский В.Л. Тютчев как геополитик // Общественные науки и современность. 1995. № 6. С. 87.*

ва, посвященных анализу отношений России и Запада, следовало бы написать «Осторожно – взрывоопасно», – самое важное сказано¹. Задана линия идеократического первенства России, из-за которого в равной степени возможны и соблазн мессианства, и способность мобилизоваться на последнем рубеже гибели и развала. Но самое важное заключается в том, что задан принцип, который мы называем «трансграничной идентичностью»², когда, казалось бы, на территории цивилизационно-чужого задается близкое и свое, без чего нельзя жить, – в диалоге с представителями других цивилизационных форм. Подобная реконструкция иных цивилизаций через призму своего в них невероятно продуктивна. Такую форму имеет «даосизм» в работах В.В. Малявина (о которых Его Высокопреосвященство архиепископ Сергиево-Посадский Феогност сказал, что это мог написать только действительно православный человек) или суфизм в произведениях Ш.М. Шукурова.

Но проблема заключается в том, что сегодня излучает «остров Россия» в большой мир – не важно, на Восток или на Запад? Поскольку именно качество этого света, облучающего соседние или отдаленные территории, и определяет возможность восстановления России как самостоятельной цивилизации и пассионарного суперэтнуса, готового творчески создавать новое государство – Евразийский союз, а отнюдь не жалкую реваншистскую копию СССР-2.

Цымбурский ссылаясь на свое «отчаянное решение, к которому я прибегнул в одном из своих выступлений, объявив цивилизацией любое сочетание геополитической и идеологической отмеченности у некоего круга народов, иначе говоря, контроль их над какой-либо ареальной твердыней, подводимой под собственную сакральную вертикаль, независимо от характера последней в тот или иной момент времени, лишь бы за этими народами оставалась способность выступать источником идейного и стилевого “облучения” менее отмеченных пространств, и прежде всего геополитических пределов данного ареала»³. Не столкновение цивилизационных платформ по Хантингтону, отождествленных с конфессиональным выбором различных этнических групп, определяет взаимодействие цивилизаций, а чувствительность к свету из разных солнц разных галактик – взаимодействующих цивилизаций (Цымбурский) – вот что определяет мир будущего. Именно за возможностями этого излучения разных цивилизационных солнц стоят диалог цивилизаций и участие в нем пассионарных русских.

Дело остается за малым – предложить притягательную цивилизационную форму, которая выводит Россию и мир за рамки порочного движения по кругу «назад-вперед в СССР», а затем опять к развалу СССР и выходу к России-нации. Нужна мировая, но с позиций России, новая повестка цивилизационного строительства. Эта повестка должна определяться набором принципов и быть открытой для содержательных уточнений и конкретизаций – любая страна может внести в эту повестку свои уточнения и проектные инициативы. Эта повестка, на наш взгляд, исходит из выявляемых горизонтов нового цивилизационного сознания и опирается на притягательные ценности в соответствии с традицией и пройденным историческим путем. Подобная повестка далеко выходит за рамки и просвещенного, и динамического, и прогрессивного консерватизма. Поскольку речь, по сути, должна идти о новой мировоззренческой идеологии, объ-

¹ Там же. С. 86–98. «Над этим комплексом, вылившимся в фантастический возглас гениального русского человека “Мы хотим лишь существовать!”, исследователь обязан водрузить табличку: “Осторожно – ‘другая Европа’ – взрывоопасно!”» (с. 98).

² См.: Громыко Ю.В. Антропология политической идентичности. М.: Пушкинский институт, 2006.

³ Цымбурский В.Л. «Остров Россия» за семь лет. Приключения одной геополитической концепции // Цымбурский В.Л. Конъюнктуры Земли и Времени: Геополитические и хронополитические интеллектуальные расследования. М.: Европа, 2011. С. 56.

ясняющей, что происходит с миром, и выделяющей набор граничных проблем, по отношению к которым необходимо определяться. Этот набор проблем, определяющий и воспроизводство традиции, и предложение принципиально новых творческих решений за границей освоенного знания, позволяет покончить с постмодернизмом. Покончить приблизительно так же, как это сделал ранний Лео Штраусс в своих работах¹, показывающих, что Спиноза, отстаивающий автономию теоретического мышления и интеллектуальную свободу, неправильно интерпретировал работы классического еврейского философа XII века Моисея Египетского (Моисея Маймонида). Собственно, этот ход позволил Лео Штраусу начать прорабатывать генезис идеологии Просвещения и политической философии модернизма на основе анализа традиционной религиозной философии. Нечто подобное осуществлял и В.Л. Цымбурский, предложивший на одном из семинаров толкование событий 11 сентября 2001 года на основе интерпретации Откровения Иоанна Богослова – последней книги Нового Завета.

Только обращение к религиозной традиции для прослеживания условий выведения из нее научно-гуманитарного проектного мышления позволяет сохранить цивилизационную идентичность на основе удостоверяемой принадлежности определенной традиции. При этом под идентичностью мы понимаем контролируемое тождество думающего человека самому себе, его форм самосознания на основе самоопределения к некоторым ценностям и принципам. Сохранение идентичности важно, поскольку контролируемые условия воспроизводства самосознания (идентичности) лежат в основе современных форм войны. Если удастся сломать цивилизационную идентичность значительных групп населения, то не надо захватывать территорию. Население само добровольно присягнет новому идеологическому гегемону. Словом «сломать» мы обозначаем простое обстоятельство – появление идеологизированных групп, которые искренне убеждены в том, что в стране нет оснований для самостоятельного оригинального политического и идеологического мышления. Переход современных форм войны в область разрушения идентичности предсказывал В.Л. Цымбурский в одной из своих ранних работ², полагая, что в случае использования ядерного оружия победа перестает быть победой в обычном смысле. Ядерный Армагеддон уничтожает обе враждующие стороны и тем самым накладывает ограничение на полномасштабное применение оружия. Именно это обстоятельство было осознано в 1980-х годах в США, что повлекло за собой смещение противостояния в область сознания противника. Наметившийся в тот период сдвиг в переосмыслении военно-политической стратегии дал свои результаты и в период «цветных революций».

¹ Leo Strauss on Maimonides. The Complete Writings / Edited with an introduction by Kenneth Hart Green. The University of Chicago Press, 2013.

² Военная доктрина СССР и России: осмысления понятий «угрозы» и «победы» во второй половине XX века. М.: Российский научный фонд, Московское отделение, 1994.

А.С. Щавелев
Островитянин, или Размышляя о «Конъюнктурах Земли и Времени»

А.Н. Харин
Первая книга о великом геополитике

Островитянин, или Размышляя о «Конъюнктурах Земли и Времени»

Первый вариант предлагаемого сейчас *ad memoriam* текста был опубликован в ежегоднике «Историческая география», увидевшем свет в 2012 году [10]. Это был мой живой отклик на книгу как постоянного читателя филологических, геополитических и публицистических текстов В.Л. Цымбурского. Надеюсь, искренняя читательская преданность некоторым образом извинит меня за повтор. Новых впечатлений от его текстов с тех пор быть, увы, уже и не могло...

Свою последнюю книгу В.Л. Цымбурский не успел завершить при жизни: и поэтому перед нами сборник замыслов и проектов (есенинских «прекраснейших мыслей и планов», вынесенных в эпиграф к Введению книги) одного из самых универсальных гуманитариев постсоветского времени [8]. В.Л. Цымбурский умел выступать и в качестве лингвиста, и «исторического филолога», и геополитика (философа пространства), и политического публициста. Об этом много писали и рассказывали его разноцеховые коллеги, друзья и заочные поклонники его текстов (лишь к этим последним я могу отнести себя). Все они, от филологов-классиков до философов политики, сходились на необычайной разносторонности его интересов, качестве, сейчас почти утраченном большинством академических ученых, замкнутых в темницах своих специализаций.

В.Л. Цымбурский во всех своих ипостасях пытался найти «предельные познавательные возможности» гуманитарных наук, прежде всего Истории и Филологии. Судя по его текстам, он умел прочитать мыслителей-классиков – Освальда Шпенглера, Арнольда Тойнби, Макса Вебера, Николая Кондратьева, Михаила Ростовцева – не в качестве постылой дани абстрактной эрудиции, а как равный им мыслитель, готовый думать и спорить с этими мэтрами. Он не чурался внимательно читать современников, например, геополитиков Александра Дугина, Александра Неклессу и Станислава Хатунцева. На страницах статей и заметок, которые составили его книги, строчки классиков Золотого и Серебряного веков русской поэзии соседствуют с цитатами из текстов молодых писателей современного фэнтези. В своих трудах Цымбурский выступает прежде всего как идеальный читатель беспредельной мировой библиотеки, читатель-соавтор, которого подразумевал великий Джеймс Джойс, когда шестнадцать лет писал “*Finnegans Wake*”.

Стоит сразу предупредить всех будущих читателей «Конъюнктур», что рецензируемая книга должна читаться как вторая часть диалогии, первый том которой составляет монография «Остров Россия» [7]. В противном случае, многие элементы размышлений автора останутся не понятыми.

В.Л. Цымбурский, как очевидно по итогам чтения основного корпуса его трудов, все время старался работать в рамках двух направлений политической

мысли – хронополитики и геополитики. В большинстве своих статей он стремился реконструировать исторический контекст и выявить смыслы различных временных и пространственных феноменов, то есть занимался реконструкцией динамики пространственных структур России и окружающего мира. Причем, хронополитика и геополитика разрабатывались именно в дисциплинарных рамках *истории* и *географии*, а не политики. Ведь для геополитики историко-географические изыскания суть *conditio sine qua non*. А фактический создатель хронополитики Фернан Бродель смог выдвинуть знаменитый основополагающий тезис о временах разной исторической длительности только по итогам глобальных (гео)исторических реконструкций.

Сейчас в России геополитика и хронополитика воспринимаются как специфические разделы политологии, недаром основные академические статьи исследователей этих двух направлений публиковались в журнале «Полис. Политические исследования». Сейчас очевидно, что акцент должен быть перенесен на «гео-» и «хроно-», а значит эти две субдисциплины должны вернуться под сень истории и географии. Думаю, работы В.Л. Цымбурского играют свою роль в постепенном возвращении признания прав классических гуманитарных наук – истории, филологии и географии – на анализ «политического».

Очень характерно, что уже в подзаголовке книги возникает мотив *расследования* как образца стиля мышления. Идею анализа истории по приметам, следам, признакам или «уликаам» можно назвать моментом создания подлинной научной истории. Точно так же идея анализа «симптома» болезни стала переломным моментом появления научной медицины и научной психологии [3]. Исторический процесс оставляет следы и по следам познается, поэтому история – наука, хотя и дескриптивная, идиографическая, но точная. История по своему методу представляет собой своего рода биологию или, точнее, палеонтологию «второй природы», созданной человеком.

В основе работ В.Л. Цымбурского лежит амбициозный замысел новой после Освальда Шпенглера «морфологии истории». Докторская диссертация Цымбурского должна была называться «Морфология российской геополитики». Морфология, построенная на поиске и выявлении аналогий в историческом процессе, структурном анализе сходных явлений, реконструкции хронологии культурных изменений. То есть морфология, которая должна создать основу для тотальных типологий исторических явлений. Цымбурский возвращается к историческим аксиомам Шпенглера: «средство для понимания живых форм – аналогия», «число форм всемирно-исторических явлений ограничено», «времена, эпохи, положения, лица повторяются как типы», «мир – это история» и т.д. [9, с. 23, 26]. Цымбурский язвительно замечает странную тенденцию сознательного, хотя и слабо мотивированного отказа современных историков от глобальных обобщений. Отказа, который, как он специально подчеркивает, доходит до абсурда отрицания таких явлений, как «город» или «феодализм», вне Западной Европы [8, с. 18–19; 7, с. 156–180].

В центре книги – проблемы геополитики как науки и искусства исторического и политического истолкования географии («географических образов») [8, с. 33]. Проблемы понимания пространства как арены истории, проблемы истолкования геоэкономических возможностей и физических ограничителей исторического процесса, созданных реалиями географии. Цымбурский размышляет над наполнением пространства и времени событиями, их скоростью, их масштабом. Цымбурский – мастер поиска смысла в мельтешении событий, умелый строитель целостных интерпретационных моделей, старательный конструктор «машин объяснения».

Второй интеграл философии истории В.Л. Цымбурского сформирован идеями Фернана Броделя – ключевого представителя так называемой школы



«Анналов». Главным образом идеей неоднородности исторического времени, асинхронности времени «исторического» и «астрономического», множественности разновременных явлений, переплетающихся в социальной реальности [8, с. 84]. Благодаря этой мощной идее стал возможен, в частности, осмысленный анализ сложнейшего явления нашего времени – глобализации [2]. Цымбурскому она дает ключ для реконструкции кардиограммы исторических циклов, которые пришлось на наше время.

Третья интегральная часть методологии В.Л. Цымбурского – морфология схемы принятия решения индивидом [8, с. 24–25, 320–345]. Формализация самого загадочного элемента исторического процесса – человеческого поступка, конкретного «социального действия». Над этой проблемой много размышляли Макс Вебер, Михаил Бахтин, Карл Поппер, Толкотт Парсонс, Джордж Сорос и многие другие.

Книгу В.Л. Цымбурского отличает очень привлекательная черта – готовность иронизировать над собой и другими. Так, «геополитик» Цымбурский честно называет геополитику «псевдонаукой», но «псевдонаукой серьезной», объединяющей в себе элементы научного, практического и интуитивного познания [8, с. 33, 136]. Иронично звучат комментарии Цымбурского по поводу «второго крещения Руси», которое он называет «контрреформацией» и оценивает, кажется, как преходящий изгиб нормального исторического развития [8, с. 18, 39]. Здесь, видимо, снова просматривается влияние Бахтина, который ярко сумел показать, что ничто так не чуждо и не опасно для любой религии, как снижение пафоса риторики клерикалов и высмеивание образов властей предрержащих. Мыслителям, ученым и писателям уже давно стало ясно, что только «дешевая» власть боится насмешки, иронии, сарказма. Только девальвированные религии и идеологии теряют свое величие от низовой сатирической инверсии. Только совсем уж преходящие пустые тексты теряют свое очарование от появления пародий [1]. Публицист Цымбурский не может не заметить «инфляции квазиполитического печатного листажа» [8, с. 34]. Еще больше иронии досталось на долю «психоделики» на темы «имперского возрождения России», «третьеримовской псевдодержавности», «последних бросков» и «заморожок» [8, с. 143–145].

Из здравого смысла и иронии вырастает критика Цымбурским мечты о новом многополярном геополитическом раскладе, ясное осознание явной неспособности России в ее текущем состоянии к конкуренции на мировой арене после краха «полуторополярного» Pax Americana, которым балуют себя отдельные пропагандисты и публицисты [8, с. 15, 36, 94, 104, 108–109]. Цымбурский же трезв и готов размышлять по поводу способности нашей страна отвечать на вызов реальной многополярности, реальной конкуренции с другими участниками Большой Игры исторического процесса?

Целый раздел книги посвящен метаистории, попыткам прочесть истолковать исторический процесс как своеобразный глобальный нарратив, всемирный роман Прошлого [8, с. 19, 24, 26–28, 346–370]. Этот подход оправдан тем, что прошлое (объективная история) в памяти людей всегда сохраняется как некий сюжет, изложенный по законам определенного жанра. «Рассказанная история» в стиле «трагедия», «комедия», «сатира», построенная из ограниченного набора мотивов, конструирующих (архе)типические сюжеты. И, кажется, что этот паттерн восприятия нельзя изменить никакими сциентистскими ухищрениями. Недаром структуральные и математические методы, призванные уничтожить доминирование нарратива в истории, оказались в итоге лишь инструментами изучения архитектоники текстов и генетики языков. Анализ «генеративной грамматики» структуры «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина (8, с. 360–364), предложенный Цымбурским, можно отнести к классике метода структурализ-

ма, он сопоставим со знаменитыми «Les chats» Клода Леви-Стросса и Романа Якобсона [5].

Сложно критиковать книгу, которая не была закончена автором, но любая критика – дань интереса и уважения. Попытка В.Л. Цымбурского представить ключевой концепт своей геополитики, «остров», как символ, «прафеномен» (О. Шпенглер) русской цивилизации мне видится как явная свержинтерпретация или сверхспекуляция [8, с. 57–58]. Арабские сообщения об «острове русов», который к тому же может быть «междуречьем» или «устьем реки» русов [4], искаженно отображают реальность, слишком далекую хронологически от времени складывания российской цивилизации. Образ уцелевшей суши среди потопленного мира явно отсылает нас к еще библейскому, практически всеобщему, «культурному коду». Мотивы «острова» в русской классической, модернистской и постмодернистской прозе и поэзии периферийны, если не случайны. Социалистический изоляционизм и появление «архипелага ГУЛаг» – утопические политические проекты, не успевшие, очень хочется думать, стать стержнем нашей цивилизации. Дотягивать «Остров» до провиденциального «прасимвола» русской цивилизации исторически совсем не корректно. «Остров» – красивая метафора, отразившая одиночество ученого и его мечту о будущей «империи научных работников».

«Остров Россия» – яркий геополитический и литературный образ современности. Это геополитический и публицистический ответ интеллектуала на происходящее в его стране и мире. Это удачная попытка показать историческое значение Великороссии, продемонстрировать ее интегральную роль в создании российской цивилизации как таковой [6]. Причем эта попытка шла и идет вразрез с интеллектуальной модой отрицания «этничности» как цивилизационного и культурного фактора, модой выдавать «этнос» за искусственно сконструированный фантом. Раньше Цымбурскому уже приходилось писать: «Мою модель обвиняют в “этноцентризме”. Но что делать, если в истории отнюдь не редкость цивилизации, ядро которых образуется из одной группы близких друг другу этносов (или даже субэтносов)? Кто усомнится, что ядро китайской цивилизации составляют китайцы? А ядро древнеегипетской – древние египтяне? Подобные цивилизации не менее распространены в истории, чем полисоставные, такие как романо-германская или арабо-иранская. Можно определенно сказать: хотя Россия никогда не была “государством русских” ни в этнократическом смысле, ни в смысле государства-нации, она может быть непротиворечиво описана как геополитическое воплощение цивилизации, популяционным ядром которой были русские, независимо от их собственного этнического или субэтнического – как угодно – членения» [7, с. 186].

Послесловия к книге нет. Но лучшим эпилогом могут быть фрагменты его фактически предсмертного интервью, размещенного на сайте Librarius (<http://librarius.narod.ru/personae/vltsy1.htm>). Слушая В.Л. Цымбурского, некоторым образом проясняешь для себя его увлеченность образом «острова», метафорически отражающим и преобразующим его чувство одиночества. Он, как и все ученые XX века, наследующие блестящие традиции XVIII–XIX столетий, был рассчитан на жизнь и работу в сложном технократическом мире, мире подлинного Модерна, подготовлен для решения сверхсложных задач, от освоения космоса до расшифровки или реконструкции мертвых языков древности. Вместо этого в 1980-х Цымбурский «от этакой бескормицы», по меткому выражению Н.В. Брагинской, оставляет классическую филологию и лингвистику в пользу политической философии, до сих пор живо напоминающей *ancilla theologiae*. А к 1990-м уже переводит роман Брэма Стокера «Дракула», который по старой памяти сопровождает блестящим эссе «“Граф Дракула”, философия истории и Зигмунд Фрейд». Кстати, это был первый текст Цымбурского, который я в жизни прочел. Тогда еще я не знал ничего об авторе, а смыслы этого текста были гораздо выше моего понимания.



Невостребованность блестящих ученых – не редкость в любом, даже вполне просвещенном обществе, стоит вспомнить судьбу филолога-классика Альфреда Эдварда Хаусмена, ставшую основой для блестящей пьесы Тома Стоппарда “The Invention of Love”, или же можно припомнить изгиб карьеры одаренного ученика Хаусмена Еноха Пауэлла. Но в наши дни эта невостребованность приобретает тотальный характер. Лишь хорошая беллетристика сохраняет пока правильный взгляд на роль науки в мире и обществе. В нашем случае лучше всего представить стиль жизни и приключения профессора филологии Дональда Трефузиса из романа Стивена Фрая “The Liar”.

Думаю, что для увековечивания памяти В.Л. Цымбурского нужно красивое, комментированное академическое собрание не только его политологических, но и историко-филологических трудов, а также трудов его учителя Л.А. Гиндина. Ведь даже главная книга Гиндина и Цымбурского «Гомер и история Восточного Средиземноморья» вышла в 1996 году в сильном сокращении, фактически без ключевой главы.

Литература

1. *Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. М., 1965.
2. *Богатуров А.Д., Виноградов А.В.* Аклавно-конгломеративный тип развития: Опыт транссистемной теории // Восток – Запад – Россия: Сб. статей: К 70-летию академика Н.А. Симонии. М., 2002. С. 109–128.
3. *Гинзбург К.* Приметы: Уликовая парадигма и ее корни // *Гинзбург К.* Мифы – эмблемы – приметы: Морфология и история. М., 2004.
4. *Коновалова И.Г.* Состав рассказа об «острове русов» в сочинениях арабopersидских авторов X–XVI вв. // Древнейшие государства Восточной Европы – 1999. М., 2001. С. 169–189.
5. *Леви-Стросс К., Якобсон Р.* «Кошки» Шарля Бодлера // От структурализма к постструктурализму / Сост. Г.К. Костиков. М., 2000. С. 98–120.
6. *Милов Л.В.* Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 1998 (2-е изд. М., 2006).
7. *Цымбурский В.Л.* Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М., 2007.
8. *Цымбурский В.Л.* Конъюнктуры Земли и Времени. Геополитические и хронополитические интеллектуальные расследования / Ред.-сост. Г.Б. Кремнев, Б.В. Межуев. М.: Европа, 2011.
9. *Шпенглер О.* Закат Западного Мира: Очерки морфологии мировой истории. М., 2009. Т. I: Образ и действительность.
10. *Щавелев А.С.* Рецензия: *Цымбурский В.Л.* Конъюнктуры земли и времени: геополитические и хронополитические интеллектуальные расследования // Историческая география. Т. 1. / Под. ред. *И.Г. Коноваловой.* М., 2012. С. 439–446.

Аннотация. Статья представляет собой обзорный комментарий к последней книге В.Л. Цымбурского «Конъюнктуры Земли и Времени» (2007).

Ключевые слова: В.Л. Цымбурский, рецензия, философия истории, историография.

Aleksey S. Shchavelev, PhD, Moscow, Institute of World History, senior research fellow.

The Islander or Thinking about “Conjunctures of Land and Time...”

Abstract. The paper is a survey commentary on the last book by V.L. Tsyburskiy “Conjunctures of Land and Time”.

Keywords: V.L. Tsyburskiy, review, philosophy of history, historiography.

Первая книга о великом геополитике

В марте 2014 года исполнилось пять лет, как не стало выдающегося политического мыслителя Вадима Леонидовича Цымбурского, рано ушедшего из жизни. Шаги по систематическому изучению его творческого наследия уже предпринимаются. Среди таких шагов – монография политолога Бориса Вадимовича Межуева, вышедшая в конце 2012 года в издательстве «Европа» [1]. Книга по-своему уникальна: у нас почти нет монографических исследований, посвященных современным политическим мыслителям, деятелям политологической науки. Это отмечал и сам Б.В. Межуев.

Причин этому много. Незначительная удаленность во времени. Возможно, чрезмерная политизированность науки, когда того или иного мыслителя оценивают только на основании «правильности» его политических предпочтений. Чтобы писать о том или ином мыслителе, нужно иметь свою концепцию, систему идей, но с этим, по всей видимости, в политологическом сообществе непросто. И потому можно согласиться с мнением С.В. Хатунцева, что книга Межуева – «пионерская» [5, с. 155].

В.Л. Цымбурский – человек, оказавшийся после крушения СССР в чуждом ему мире, «в котором роль интеллектуала оказалась сниженной до минимума» [1, с. 9]. Ученый бросает вызов обстоятельствам и начинает поиск выхода из ситуации – выхода для страны.

Яркость, многогранность В.Л. Цымбурского состояла еще и в том, что его нельзя было назвать либо геополитиком, либо филологом. Его творчество гораздо шире, оно включало в себя историософию, философию культуры [1, с. 13]. По неординарности и многоплановости наследия В.Л. Цымбурского можно отнести к типу русских мыслителей второй половины XIX – начала XX века, творчество которых не вмещалось в рамки определенной дисциплины (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, И.А. Ильин, Н.А. Бердяев).

Еще одна оригинальная черта героя книги – «островитянство», вытекающее из его концепции «Острова Россия» как особого мира, огражденного от иных культур поясом лимитрофов (пограничных зон). Образ России, укрывшейся от всего мира за такими лимитрофами, не мог понравиться ни тем, кто стремился в «общечеловеческую цивилизацию», ни сторонникам воссоздания империи. В.Л. Цымбурский пришел к концепции «Острова Россия» через осмысление трагедии 1991 года. Осознав неорганичность, неестественность «имперства», Россия, по мысли Цымбурского, сама сбросила с себя груз контроля над «лимитрофными» землями [1, с. 14]. Оригинален и одинок мыслитель был и со своим тезисом об имперстве как продукте российского европеизма [1, с. 14].

Харин Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных наук Кировского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. E-mail: LHarin@yandex.ru



Мы знаем больше о творчестве В.Л. Цымбурского в 1990–2000-х годах, и потому интересно прочесть о его более ранних работах, когда формировались основные представления и интересы героя монографии. Рассматривая творчество мыслителя в позднесоветский период, Б.В. Межуев характеризует его взгляды как «либеральный империализм»: выступая за сохранение страны, Цымбурский допускал вместе с тем и реформирование СССР.

В биографии своего героя Б.В. Межуев указывает и на оттенки идейно-политической мысли последних лет существования СССР, в чем также состоит важное значение книги: через идеи, мысли того времени можно частично понять происшедшую трагедию.

Подробно биограф Цымбурского останавливается на взаимоотношениях между СССР и США в 1988–1991 годах. Автор полагает, что мир, формировавшийся тогда, вполне мог стать «глобальным» в смысле утверждения общепринятых правил и норм, а не только развития транснациональной экономики и экспансии доллара [1, с. 25]. Сверхдержавы могли бы объединить усилия по решению многих вопросов, и система международных отношений была бы более стабильной [1, с. 28]. Но автор признаёт, что такой мир был бы трудным для политического существования. Далее Б.В. Межуев анализирует причины, по которым такой порядок не состоялся.

Идеи В.Л. Цымбурского тех лет рассматриваются Б.В. Межуевым в контексте складывающегося миропорядка. Ученый видел угрозу возникающему миропорядку в «бесе национализма», угрожавшем в первую очередь СССР. Соответственно, Цымбурский пытался соединить либеральный индивидуализм как первопринцип и конечную цель восстанавливаемого миропорядка с имперской жесткостью, необходимой для его защиты [1, с. 39].

Не обходит вниманием Б.В. Межуев и обращение своего героя к системе Меттерниха и к дипломатии Киссинджера, останавливаясь и на интересе мыслителя к Древнему Востоку XIII века до н. э. Любопытны параллели между мировой системой Древнего Востока и международными отношениями конца XX века [1, с. 49–55]. Следует напомнить, что начинал свою научную карьеру Цымбурский как специалист по Восточному Средиземноморью рубежа II–I тысячелетий до н. э. Что же побудило его обратиться к практике Меттерниха и Киссинджера? Цымбурского, как и Киссинджера, всё более привлекала Венская система международных отношений (1815–1914), одним из создателей которой был австрийский дипломат Клеменс Меттерних. В числе главных конструкторов системы был так называемый Священный Союз, созданный ведущими европейскими державами для поддержания порядка.

Эта система, особенно в интерпретации Г. Киссинджера, была в тот исторический момент образцом для Цымбурского. Мыслитель надеялся, что в конце 1980-х годов можно вновь утвердить подобный «Священный Союз» на базе либеральных норм (союз США и СССР, названный им Демократическим Севером). Такой союз и должен был противостоять «бесу национализма» [1, с. 48–49].

У Цымбурского был еще один образец при конструировании современной системы международных отношений. Это – миропорядок XIII века до н. э. в Восточном Средиземноморье [1, с. 49]. Между ведущими державами – Аххиявой, Хеттским царством и Египтом – тоже возникла своеобразная «разрядка». Позднее мыслитель указывал: как крушение Аххиявы в древности, так и гибель СССР привели к хаотизации международных отношений [1, с. 54].

Занимаясь имперской тематикой, В.Л. Цымбурский и его коллеги стремились доказать необходимость сохранения СССР, апеллируя к западной традиции с ее «законностью» и «правом», обращались к опыту Рима [1, с. 59]. Цымбурский также был творцом определенной программы, нацеленной не просто на политическое сохранение советской империи, но и на ее духовное преоб-

разование [1, с. 61]. И хотя его статьи того времени носили преимущественно публицистический характер, именно они определили новое направление его исследований [1, с. 60].

Крах советского общества стал для В.Л. Цымбурского переломным моментом, приведшим его к потере своеобразных опорных точек, а также к отходу от «либерал-империализма». Ученый осознал, что время торжества глобализма и культурного универсализма прошло [1, с. 79]. Это и предопределило будущее направление его работы. Б.В. Межуев показывает, как происходил интеллектуальный поиск героя книги, как уточнялись его взгляды, подробно останавливается на причинах, приведших Цымбурского к отходу от западничества [1, с. 86–92]. Интересно сопоставление В.Л. Цымбурского с И. Валлерстайном: оба рассматривали отказ СССР от своей сферы влияния как разумный тактический ход [1, с. 83–84].

Анализируя взгляды В.Л. Цымбурского 1990-х годов, периода его «прощания» с идеей «либеральной империи», автор монографии приходит к выводу, что мыслитель в своих работах фактически предопределил внешнеполитический курс современного российского руководства [1, с. 92]. Речь идет о сотрудничестве с Китаем в рамках ШОС.

Б.В. Межуев останавливается подробно и на поиске Цымбурским своего места в общественной жизни страны того времени, а также на поиске им в 1990-х годах выходов для России [1, с. 93–123]. Красноречиво и точно описав обстановку в стране к середине 1990-х годов, автор показывает, как его герой искал выход из этой критической ситуации. Межуев справедливо считает, что только с 1994 года эксперты стали всерьез размышлять о стране, в которой они живут [1, с. 98], и это неудивительно, так как первое время все пребывали в шоке после крушения Большой России (СССР). Межуев обрисовывает оттенки мысли своего героя, его концепции «Острова Россия»: уход России из мира, из истории, из Европы, сосредоточение на внутреннем развитии, на освоении «трудных пространств», на созидании национального государства и национального рынка [1, с. 101]. Несмотря на критику западничества, на отождествление Цымбурским имперства и либерализма, его концепция подкупала многовариантностью: «и либерал, и славянофил могли найти в этой идее что-то свое» [1, с. 104], но фактически не поняли этого.

Именно «островная теория» первой объяснила, что представляла собой новая Россия, создававшая пространство для диалога между разными силами. В этом, безусловно, заслуга В.Л. Цымбурского. Данная концепция могла оказаться противовесом «крайностям фашизоидной мобилизации» и «компрадорского разложения» [1, с. 104–105].

В 1994–1995 годах Цымбурский всё более уходит в теорию, старается разъяснять отдельные компоненты своей теоретической структуры, работает над такими категориями, как цивилизация [1, с. 110] и геополитика [1, с. 120]. Это время становится поворотным для ученого. Показывает Межуев и свои взаимоотношения с Цымбурским в этот период, теоретические разногласия с ним.

По мнению автора книги, новая версия «Острова Россия» (примерно 1995 год) многое потеряла [1, с. 107], оказавшись переосмысленной в духе идеи «цивилизационного эгоизма»: мы – основное человечество, а весь остальной мир – источник наших проблем [1, с. 101]. Ученый начал заходить в логический тупик, увлекшись цивилизационной геополитикой. Согласно схеме В.Л. Цымбурского, единственным подтверждением «цивилизационного статуса» России являлась власть над лимитрофными землями. Раз Россия теряла контроль над данными территориями, она утрачивала право считаться цивилизацией [1, с. 111]. Это привело к частичному переосмыслению мыслителем своей теории и понятия цивилизации [1, с. 117–118].



В конце 1990-х годов ученый всё более склоняется к исследованиям в области геополитики, а также хронополитики [1, с. 123]. Одновременно налаживается его взаимодействие с «молодыми консерваторами» [1, с. 124–140]. Продуктивным видит Межуев обращение Цымбурского к хронополитике¹, что должно было вывести мыслителя на новый уровень. Тем более что и геополитика в последних его работах занимает второстепенное, прикладное значение [1, с. 140–141].

Последнюю главу биограф начинает с разбора вышедшего в 2007 году сборника статей В.Л. Цымбурского. Вновь, как и в предыдущих разделах, Межуев обращается к «островной» концепции своего героя. Теория «острова» мыслится Межуевым как оппозиционная ельцинскому режиму, не имевшему представления о своей стране и стоящих перед нею задачах [1, с. 142]. Для правящей элиты «сброс» территорий означал вхождение в «общечеловеческую» (евроатлантическую) цивилизацию. Цымбурский это понимал именно как отдаление от Европы поясом пограничных земель-лимитрофов и концентрацию внимания на внутренних проблемах. В числе внутренних задач, стоявших перед страной, ученый даже видел перенос столицы в Сибирь [1, с. 143].

Но мыслитель выступал не только в качестве критика правящей элиты. Интересна мысль Б.В. Межуева о том, что цивилизационная геополитика Цымбурского обрела всё большую социальную направленность. Геополитик выступал в роли защитника «человека глубинки, жителя маленького города, которого психологически, экономически, да почти что и физически уничтожает открывшийся для глобальной информационной деревни и закрывшийся для своей собственной страны мегаполис» [1, с. 144]. Это именно глубинная Россия. Не Россия отдельных регионов, и не Россия-Евразия, стремящаяся вновь на Запад. А именно Россия-остров, сознающая и, добавим, сохраняющая свою цивилизационную уникальность [1, с. 144].

В «нулевых» меняется ситуация в стране. Были расставлены иные акценты в идеологии, во внешней (и не только) политике. В оппозиции оказались вчерашние идейные оппоненты Цымбурского [1, с. 144]. Только болезнь и связанные с ней обстоятельства избавили его от сложного выбора в пользу или против власти [1, с. 146].

Не став оппозиционером, он не превратился и в конформиста. Но «язык геополитики» уже не подходил для описания существующей реальности. Кроме того, Цымбурский не видел и конкретной политической альтернативы существующему в России положению вещей. Это постепенно привело его к отдалению от геополитики. Его всё более стали занимать размышления о своем времени [1, с. 147], попытки раскрыть тот глубинный конфликт, который составляет основной смысл текущего периода отечественной истории [1, с. 123].

Подробно в связи с этим Межуев останавливается на рассуждениях своего героя о Реформации и Контрреформации. В России своеобразной Реформацией стал большевизм. Теперь страну, по логике вещей, ждет Контрреформация. Но какой ей быть? «Петербургской» (то есть либерально-западнической)? Или Контрреформацией глубинки? [1, с. 150–151].

Большое место в «хронополитической» главе уделено теме «Цымбурский и Шпенглер». Немецкий философ интересовал его в первую очередь как автор второго тома «Заката Европы» и как создатель оригинальной социологической концепции развития обществ, альтернативной марксизму и либерализму [1, с. 152–154].

Интересно рассмотрение Межуевым томов «Заката Европы» как двух интеллектуальных романов [1, с. 155]. Совершенно оправданно биограф Цымбур-

¹ Хронополитика – комплекс исследований, посвященных неоднородности исторического и политического времени.

ского останавливается на втором, менее известном у нас томе «Заката Европы», размышляя о взглядах Шпенглера в контексте современной мировой политики [1, с. 167–171].

Интересны рассуждения Б.В. Межуева о роли интеллектуалов в СССР и в современной России, а также о соотношении «партии жизни» и «партии ценностей», о возможной Контрреформации в России [1, с. 170–185]. Именно из-за неудачи «Реформации» в России и должна наступить Контрреформация. Поэтому «Остров Россия» выступает не только в качестве геополитической концепции, но и возможного лозунга российского контрреформационного движения «Городского класса».

Подводя итоги творчества Цымбурского, Межуев указывает на то, что предельная задача мыслителя как политолога состояла именно в попытке возвращения «ценностям» их господствующего положения над «фактами», над «данностями» в условиях краха социалистической идеократии [1, с. 195]. Ученый оказался в парадоксальной ситуации: человек, бывший фактически политическим маргиналом и осознававший себя таковым в мире девяностых, смог обнаружить смысл и предназначение существования России [1, с. 196], вытекающие из ее «островного» характера. Если поколение мыслителей начала XX века оказалось проигравшим, то Цымбурский смог почти в полном одиночестве пробиться к той реальности, в которой идеи и жизнь соединяются в единое целое [1, с. 199].

Книга Б.В. Межуева о Вадиме Леонидовиче Цымбурском состоялась. Монография, несмотря на ее ограниченный объем, является познавательной, содержит много интересных материалов о жизни и творчестве великого ученого, освещающая основные этапы его биографии, в том числе интеллектуальной. Книга читается легко, интересно.

Украшают монографию личные воспоминания автора о Цымбурском, а также краткие очерки о людях, которые оказывали на него влияние (Г. Киссинджер и др.) или с которыми он общался (М.В. Ремизов и др.). Показаны непростые взаимоотношения Цымбурского с политологическим сообществом в начале «нулевых». Несмотря на заметное уважение автора книги к своему герою, в монографии преобладает взвешенный, критический подход, порой полемика с ним.

Со многими выводами и наблюдениями можно согласиться, особенно в главном: Цымбурский – выдающийся мыслитель, политический философ, сумевший дать описание постсоветской России, создать ее геополитическую модель (концепция «Остров Россия»). Многие его мысли, идеи звучат актуально и для нашего времени.

Он также оказался у истоков современной российской цивилизационной геополитики. Мы в рамках цивилизационной парадигмы выделяем минимум три главных подхода к определению категории «цивилизация» в геополитике [3]. Это «ценностный» (А.Г. Дугин и др.), берущий за основу цивилизации ценности. Он считается наиболее распространенным. «Территориальный» (С.В. Хатунцев), маркирующий цивилизации по территориальному признаку. В.Л. Цымбурский был создателем «этнологической» трактовки¹. Она отождествляет цивилизации с народами и считает, что цивилизационная геополитика должна, в первую очередь, рассматривать взаимоотношения ядра и народов периферии [7, с. 56]. Кроме того, как и указано в книге, Цымбурский стал одним из разработчиков теории Великого Лимитрофа (наряду с Хатунцевым).

Б.В. Межуев справедливо сопоставляет В.Л. Цымбурского с русскими философами начала XX века.

¹ Как нам представляется, теория Л.Н. Гумилева имеет мало общего с геополитикой, она более близка к этнологии.



Вместе с тем, «советский» период творчества Цымбурского, на наш взгляд, разобран более обстоятельно, нежели 1990-е годы. Отдельные сюжеты позднего творчества ученого можно было осветить подробнее. Например, диалог между Цымбурским и Хатунцевым по поводу лимитрофных зон, критику мыслителем теории «Столкновения цивилизаций» С. Хантингтона, оценку геополитиком творчества Л.Н. Гумилева, полемику с евразийством, размышления о переносе столицы в Сибирь. Таким образом, в книге подробно исследованы лишь отдельные аспекты творческого наследия мыслителя [5, с. 159].

Ряд положений вызывает споры. Например, тезис Б.В. Межуева о возможности советско-американского союза на рубеже 1980–1990-х годов. Речь тогда шла не о равноправном союзе двух супердержав, а о постепенной сдаче позиций внутренне слабеющим Советским Союзом.

Дискуссионен и тезис Межуева о том, что российское руководство со второй половины «нулевых» годов осуществляет ту политику, которую предвидел В.Л. Цымбурский. А вот евразийцы могли бы сказать, что российская власть в последние годы стала проводить именно их политику. Вопрос об идейных истоках современной внешней политики является сложным и требует специального исследования.

Вызывает возражения и одна из идей В.Л. Цымбурского. Ученый видел перед собой две альтернативы: 1) признать всё случившееся с Россией в 1990-х годах непоправимой катастрофой, обусловленной ее неспособностью справиться с внутренними и внешними вызовами; 2) признать, что Россия перестала быть империей добровольно, сбросив с себя пограничные территории, предоставив чуждый для нее мир своей судьбе. Б.В. Межуев склонен здесь видеть единственно спасительное для русской историософии предположение [1, с. 83].

На наш взгляд, в данной ситуации В.Л. Цымбурский категорически не прав. Какими «чуждыми территориями» для России являются Украина и Белоруссия, развивавшиеся тысячу лет вместе? И почему тогда, например, Китай в предчувствии распада существующего мирового порядка не сбросил с себя свои «лишние» территории – Синьцзян, Тибет?

Увы, идея В.Л. Цымбурского – это не «спасительное решение». Данным тезисом он сам бессознательно уводит от главной причины совершившейся трагедии. «Большая Россия» (СССР) была уничтожена разложившейся элитой, стремившейся сломить существующий социально-политический строй. Непонимание, игнорирование этого урока чревато бедами в будущем. Тем более что сам Цымбурский много пишет о негативных вариантах Контрреформации.

Распад «Большой России» породил дезинтеграционные процессы на всем постсоветском пространстве, угрожающие и самой России. В такой ситуации губительно закрываться от других цивилизаций лимитрофным поясом. Необходим интеграционный проект, но не на имперской (чего так опасался Цымбурский), а на цивилизационной основе [4]. Первый все-таки предполагает большую политическую централизацию (поэтому и слово «империя» может вызвать отторжение у постсоветских элит, привыкших к собственному суверенитету за двадцать лет). Второй преимущественно строится на культурной основе. Россия может создать свое цивилизационное пространство, предложив соответствующий проект [см.: 2]. Иначе осколки некогда единого государства будут втянуты в орбиты влияния других центров силы, цивилизаций.

Можно спорить и по иным моментам цивилизационной концепции В.Л. Цымбурского. Он оградил Великим Лимитрофом только Россию, указав, что в этом своеобразие нашей цивилизации. Однако все цивилизации окружены такими территориями [6, с. 86–89]. Многие идеи ученого вызывают полемику, но это не отменяет значения его трудов. Творческое наследие рано ушедше-

го из жизни мыслителя нуждается в дальнейшем изучении, чему способствует и рецензируемая монография.

В целом же Б.В. Межуеву удалось создать интеллектуальную биографию мыслителя, показать значение его работ, обозначить основные вехи творчества и главные идеи. Это – первая книга о В.Л. Цымбурском, а «первопроходец» всегда находится в невыгодном положении, так как его нередко оценивают не по тому, что он сделал, а по тому, что не сделал. Книгу Межуева надо оценивать именно как пионерский труд и судить по результатам.

Теперь, отталкиваясь от этой книги и трудов самого Цымбурского, можно идти дальше к осмыслению наследия мыслителя. Тем более что и сам Б.В. Межуев не останавливается на достигнутом, а работает над расшифровкой диссертации В.Л. Цымбурского, подготовкой к изданию других работ философа. И остается пожелать ему удачи в этом труде.

Литература

1. *Межуев Б.В.* Политическая критика Вадима Цымбурского. М.: Европа, 2012.
2. *Харин А.Н.* К вопросу о формировании цивилизационного пространства России // *Власть*. 2011. № 12. С. 126–129.
3. *Харин А.Н.* Цивилизационный подход в современной российской философии геополитики: основные направления и проблемы // *Геополитика и безопасность*. 2013. № 1. С. 58–63.
4. *Харин А.Н.* Эволюционные модели государства постмодерна // *Свободная мысль*. 2012. № 11–12. С. 91–102.
5. *Хатунцев С.В.* Вспоминая Вадима Цымбурского // *Полис*. 2013. № 3. С. 155–163.
6. *Хатунцев С.В.* Лимитрофы – межцивилизационные пространства Старого и Нового Света // *Полис*. 2011. № 2. С. 86–98.
7. *Цымбурский В.Л.* Конъюнктуры Земли и Времени: Геополитические и хронополитические интеллектуальные расследования. М.: Европа, 2011.

Аннотация. Статья посвящена интеллектуальной биографии В.Л. Цымбурского, написанной политологом Б.В. Межуевым. Межуеву удалось показать основные вехи творчества мыслителя и главные идеи, выявить значение работ Цымбурского. Отдельные положения вызывают дискуссию, но в целом книга состоялась.

Ключевые слова: Б.В. Межуев, В.Л. Цымбурский, «Остров Россия», Великий Лимитроф, геополитика, хронополитика, цивилизация.

Alexei N. Kharin, PhD, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Kirov Branch, Human Sciences Department, Associate Professor.

The First Book about the Great Geopolitician.

Abstract. The article is devoted to the intellectual biography V.L. Tsymbursky, written by a political scientist B.V. Mezhuev. In the monograph, Mezhuev succeeded to show basic landmarks of work and the main ideas of the thinker, as well as to determine the value of Tsymbursky's works. Separate positions cause a discussion, but on the whole the book turned out well.

Keywords: B.V. Mezhuev, V.L. Tsymbursky, "the Island of Russia", Great Limitrophe, geopolitics, chronopolitics, civilization.

*Д.М. Володихин
Россия как независимый субъект геополитики*

*В.М. Сергеев, П.Б. Паршин
«Вадим, по большому счету, не менял сферу своей деятельности»
(О политологическом периоде творчества В.Л. Цымбурского)*

*Е.Г. Борисова
Вадим, мой друг*

Россия как независимый субъект геополитики

Вадим Леонидович Цымбурский – один из умнейших политических мыслителей постсоветской России, придерживавшихся левых взглядов. А то, что он принадлежал к левому сегменту общественной мысли, – несомненный факт.

Для Цымбурского немислимым делом было хоть самое ничтожное, «дежурное», высказывание, которое могло бы оправдать корысть олигархической элиты, придать ей некий высокий «державный смысл». В ранг идеала он возводил «моральный контроль народа над элитами». Любой шаг правящего круга, усугубляющий тотальную нищету на постсоветском пространстве, был ему противен.

Справедливость и ценности

Большую роль для него играло понятие социальной справедливости. Он считал своим долгом критиковать всё, что, с его точки зрения, социальную справедливость разрушает. Более того, даже в условиях России 1990-х, когда сама эта категория казалась немодной, даже опальной, Цымбурский демонстративно показывал свою преданность этой идее. Когда коллеги начинали подступать с разного рода укоризнами в неумении «приспособиться к текущему моменту», Цымбурский не отступал ни на шаг. В этом вопросе он неизменно проявлял несокрушимую жесткость.

Проявляя интеллектуальная честность, Цымбурский, именно как левый мыслитель, стремился сохранить свои принципы, ничего не «подтачивать», не идти на компромисс. Он предпочитал жить в скверных условиях, но сохранять право на критику общественных групп, которые проводили в жизнь порочный политический курс.

Отказ от материальных предпочтений дает интеллектуалу право быть бескорыстным судьей по отношению к политике, идеологии и взглядам, высказываемым ангажированными коллегами. Цымбурский здесь проявлял полнейшую рациональность: «обмен» бытовых благ на интеллектуальную независимость – трудная, но честная и логически обоснованная процедура. Вадим Леонидович был человеком ценностей. Он считал ценности единственным адекватным фундаментом для сколько-нибудь значительной экономической и политической деятельности.

Цивилизации, циклы, геополитика

Цивилизационный подход, как его понимали Н.Я. Данилевский и К.Н. Леонтьев, – детище правых взглядов. Отдельные, суверенные судьбы «историко-культурных типов», или, иначе говоря, «цивилизаций» как самостоятельных

Володихин Дмитрий Михайлович, доктор исторических наук, доцент кафедры источниковедения исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

социально-культурных организмов, противостояли в российской историософии взгляду на исторический процесс как однонаправленному движению по единому пути к общемировому либеральному раю, предполагающему «освобождение» и «уравнение в правах». Цивилизационный подход был и, по большому счету, остается опорой для правых и крайне правых интеллектуалов.

И все же *левый* мыслитель Цымбурский, пусть и с целым рядом терминологических оговорок, развивал цивилизационный подход. Даже говорил о влиянии Шпенглера. Парадоксально, но факт.

Отчего так вышло?

Борис Межуев в монографии «Политическая критика Вадима Цымбурского» очень точно выразился: «Цымбурский – единственный из теоретиков – сделал ставку на Россию-РФ, на ее целостность и ее самостоятельность». Это, конечно, полемическое преувеличение. Во всяком случае, Цымбурский оказался в меньшинстве – среди тех, кто отрицал, что растворение России в глобализирующемся мире представляет собой однозначное благо.

Он не видел – собственно, и не мог увидеть, ибо трудно наблюдать то, чего нет, – сколько-нибудь основательных перспектив для сохранения столь любимой им социальной справедливости в условиях нарастающей глобализации. Поэтому вариант превращения России в геополитический объект его не устраивал.

Не напрасно главный труд его жизни, то, что получило наиболее широкую известность из наследия Цымбурского, – «Остров Россия» – носит столь неприемлемое для либералов название. Цымбурский воспринимал Россию как нечто, способное жить *самодостаточно*. Иными словами, не попадая под контроль инациональных или наднациональных сил и тем более не становясь частью некоего внешнего проекта. Тут он был вполне согласен с правыми, с консерваторами, только с не-либеральными консерваторами – приходится постоянно подчеркивать эту тонкость.

Но почему?

С точки зрения Цымбурского, крупные социальные общности масштаба России (то, что Данилевский и называл культурно-историческими типами) проходят развитие определенными циклами. Для чистого цивилизационщика – это «возраста цивилизации»; для Цымбурского – не так. Просто он рисовал логику обязательного перехода от одного состояния общества к другому, устанавливая циклическую последовательность. При этом общество не «старилось», а просто изменялось. Стоит оговориться: традиционные системы взглядов на историю России, предлагаемые «западниками» и «славянофилами», его не интересовали. Ни с первыми, ни со вторыми Цымбурский не солидаризировался.

Реформация и контрреформация

По его мнению, Россия XX века дорогой ценой прошла через обязательную стадию модернизации. Она превратилась в социум, где преобладает культура больших городов. Модернизация, или, как он писал, «реформация», дала огромным массам людей определенные права и свободы, уничтожив старое, «традиционное» общество. Она дала место для обширной «партии ценностей» внутри образованного класса.

Это вовсе не значит, что Цымбурский признавал советский культурный и политический опыт чем-то достойным одобрения; напротив, мыслитель подвергал *Pax Sovietica* жестокой критике. Но и признавал его достойным рационализации. Иными словами, он требовал не сноса, а преобразования со сбережением того ценного, что, так или иначе, появилось на просторах Советской России.



Сохранение «острова России», самостоятельной цивилизации, предполагает «контрреформацию». Это своего рода «профилактическая мера», без которой Россию ожидает развал. Иными словами, «подмораживание», которое остановит центробежные процессы, явно стимулируемые извне и грозящие распадом социальной ткани. Контрреформация поставит на повестку дня восстановление некоторых институтов традиционного общества, например, усиление религиозности. В рамках контрреформации должен установиться режим умеренного, здорового изоляционизма (также ради самосохранения). И, пожалуй, самое главное: контрреформация восстановит роль духовных ценностей как основы для принятия политических решений. Стихия мирового либерализма в подобной основе не нуждается... это-то и отвратительно!

Контрреформация, может быть, не особенно приятна для личности с левыми убеждениями, ибо она несет и некоторое сокращение личных свобод, однако без нее не обойтись, поскольку она даст шанс сберечь если не всю, то значительную часть этих свобод.

Следовательно, контрреформацию надо пережить, перетерпеть. Если она не станет необходимым строительным раствором для нового, модернизированного общества, то ничто другое уже не станет таковым.

В последнем случае все те блага, все те свободы, которые были оплачены чрезвычайно дорого, просто исчезнут, сойдут на ноль. Утрата Россией роли самостоятельного политического субъекта, переход ее в состояние глины, из которой внешние силы начнут лепить нечто, соответствующее их планам, уничтожит всякую перспективу для бывших ее граждан сохранить прежние права. Что же касается «партии ценностей», то для нее не останется места, поскольку необходимый набор ценностей будет «кастоваться» где-то на немыслимой социальной высоте, намного выше, чем живут независимые интеллектуалы, и его оттуда будут «спускать» обществу.

Современная политическая реальность год за годом подтверждает правильность этой оценки. Цымбурский был в какой-то степени романтиком, при этом мыслил трезво и умел видеть за частоколом идеологических клише морозную реальность бытия.

* * *

Вспоминая Цымбурского, работая с его идеями, невозможно отделаться от досадной мысли. С одной стороны, в России был крупный мыслитель – в одном ряду с великими именами XIX и начала XX столетий. С другой стороны, уровень признания Цымбурского образованной публикой, уровень востребованности его работ несоответственно низок. Лишь на закате жизни он удостоился за книгу «Остров Россия» двух наград – премии «Солдат Империи» (2006) и приза Лиги консервативной журналистики «В честь заслуг» (2006). Но программная статья Цымбурского, составившая ядро этой книги, появилась в журнале «Полис» в 1993 году!

После речи В.В. Путина перед Федеральным Собранием в декабре 2013 года, после целого каскада правительственных шагов и заявлений, маркировавших переход к консервативно-традиционалистскому курсу, стоило бы добрым словом вспомнить Вадима Леонидовича Цымбурского, ибо новый курс в очень значительной степени соответствует его идее «контрреформации».

А вспомнив, переиздать его труды.

Каждый крупный интеллектуал, который работает на страну, а не против нее, – непреходящая ценность для нации. Потомки, с почтением говоря: «В умственной жизни России оставили след столь значительные мыслители, как...» – должны помянуть и наших современников.

А потому всем нам следует сберечь память о Цымбурском.

**«Вадим, по большому счету,
не менял сферу своей деятельности»**
(О политологическом периоде творчества В.Л. Цымбурского)

П.Б. Паршин. Мы встретились сегодня с Виктором Михайловичем Сергеевым, чтобы поговорить об одном из этапов жизненного пути Вадима Цымбурского, о том, как произошло наше знакомство с ним, и об эволюции его весьма разнообразных научных интересов.

В.М. Сергеев. Я познакомился с Вадимом в 1981 году на конференции в академическом Институте славяноведения и балканистики. Конференция была весьма интересной, посвящена довольно экзотическим в контексте нынешнего нашего разговора вещам, а именно, анализу и дешифровке древних текстов. Я в тот момент очень интересовался этой проблемой, так как считал, что задача дешифровки древних текстов весьма близка к задаче компьютерного понимания текста. Потому и принял участие в конференции. Там я и познакомился с Вадимом, который произвел на меня очень большое впечатление прежде всего огромной эрудицией и нетривиальным пониманием проблем.

Впоследствии я сошелся с ним гораздо ближе. Мы стали делать совместные работы по дешифровке древних текстов. Где-то к 1985 году, когда Вадим окончил аспирантуру, у него сложилась очень сложная жизненная ситуация. Будучи не москвичом, а жителем Могилева, он не мог по тогдашним правилам устроиться на работу в Москве. И найти работу по специальности в Могилеве, конечно, тоже было невозможно. Я порекомендовал ему обменять квартиру в Могилеве на какую-нибудь подмосковную квартиру. Он так и поступил. После этого я приложил довольно большие усилия, чтобы, имея свободные ставки в Институте США и Канады в лаборатории, занимавшейся моделированием решения политических проблем, устроить его в эту лабораторию. Мне удалось уговорить Андрея Афанасьевича Кокошина, сказав, что Вадим – совершенно уникальный человек, который может заниматься чем угодно. В конце концов, он занялся в моей лаборатории анализом политического текста, выполнив при этом целый ряд очень интересных работ, которые были переведены на английский, переложены в Соединенных Штатах. Он был уже в это время блестящим филологом-классиком, но эти работы помогли формированию его как политолога.

В тот момент Вадим заинтересовался проблемами геополитики. Он начал ею заниматься прежде всего по причине того, что геополитическая проблематика, как ему казалось, ближе по духу к истории. И он создал в дальнейшем ряд блестящих геополитических работ, в частности, широко известный труд «Остров Россия», став известным специалистом в этой области.

Сергеев Виктор Михайлович, кандидат физико-математических и доктор исторических наук, профессор, директор Центра глобальных проблем Института международных исследований МГИМО. E-mail: laris-pulena@rambler.ru

Паршин Павел Борисович, кандидат филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник того же Центра. E-mail: pparshin@mail.ru



В дальнейшем наши отношения сложились таким образом, что Вадим ушел из моей лаборатории. Это случилось, если я не ошибаюсь, в 1989 году. Он вернулся на работу в Институт востоковедения, где у него руководителем кандидатской диссертации был Леонид Гиндин. Однако наступили тяжелые времена, в 1991 году денег у Института востоковедения практически не было, и Вадим пытался в этот момент заново найти свое место в науке. Нашел он его в Институте философии, где ему довольно быстро предложили писать докторскую диссертацию. Насколько я знаю, он ее так до конца жизни и не закончил, что очень печально, но именно после перехода в Институт философии он написал серию, на мой взгляд, самых лучших своих геополитических работ.

П.Б. Паршин. Я могу не так уж много добавить к тому, что сказал Виктор Михайлович, хотя познакомился с Вадимом несколько раньше. Это было на праздновании дня рождения одного из наших общих знакомых, Бориса Скуратова, известного ныне в качестве переводчика различного рода интеллектуальной литературы. Там я Вадима впервые увидел. Хотя слышать о нем мне доводилось и раньше.

Не помню точно, какой это был год, и был ли Вадим еще студентом, или все-таки это происходило уже в более позднее время, но человеком на филфаке он был весьма известным. Конечно, определенную роль играла и внешность Вадима, весьма заметная и запоминающаяся. Но рассказы о его выдающихся научных способностях по факультету, безусловно, ходили. Некоторые называли его вторым Аверинцевым. И, в общем-то, при всем различии их последующих судеб, определенный резон в этом был. Потому что, хотя Вадим по факту стал заниматься другими вещами, и даже в рамках классической филологии он и Аверинцев занимались разными вещами, но тем не менее замечательная эрудиция, нетривиальность суждений, способность к выдвиганию ярких и глубоко оригинальных идей, безусловно, роднили этих ученых, принадлежавших разным поколениям, но тем не менее имевших общий бэкграунд.

Примерно с таким представлением о Цымбурском я впервые с ним и столкнулся в компании. Основное, чисто человеческое впечатление заключалось в том, что за достаточно эпатажными внешностью и манерами скрывался абсолютно рационально мыслящий человек. Многие из тех, кто не был с ним знаком, воспринимали его не слишком серьезно, но достаточно было пообщаться с Вадимом несколько минут для того, чтобы понять, что ты имеешь дело с очень яркой личностью. В какой мере эпатаж был произвольной чертой поведения, а в какой наигранным – вопрос, который, по-видимому, навсегда останется без ответа.

В дальнейшем мы с ним почти не пересекались и довольно неожиданным образом встретились уже в Институте США и Канады, когда создавалась лаборатория, возглавляемая Виктором Михайловичем, и где на первой встрече будущих ее сотрудников неожиданно оказался и Вадим. В дальнейшем мы с ним на протяжении нескольких лет работали и общались. Соавтором его я не был ни по одной из работ, хотя, безусловно, находился в курсе его тогдашних исследований, в частности, связанных с изучением процессов принятия политических решений, а также был знаком с теми его работами, которые так или иначе имели определенное отношение к тогда весьма интенсивно развивавшимся исследованиям по моделированию человеческих знаний.

Каким образом происходила трансформация, приведшая филолога-классика к геополитике, мне проследить, по-видимому, не удалось. Есть, конечно, некоторые довольно интересные сюжеты. Например, наша с ним совместная поездка на сельхозработы в период пребывания в ИСКАНе, где мы довольно много общались на самые разные темы. Надо сказать, что тогда я впервые обнаружил у него совершенно очевидный интерес к проблематике со-

временной политики, причем, явно выходящий за рамки обычного досужего интереса. Вадим демонстрировал хорошее понимание проблемы и, более того, совершенно искренний интерес к ней, а также склонность выходить на интересные обобщения. Точнее, не столько на обобщения, сколько на гипотезы и умозаключения о долговременных тенденциях развития политических систем, которые, собственно, и составляют важную часть геополитической мысли.

В любом случае, момент, когда Вадим начал реализовываться как геополитик, мною уже почти не наблюдался. По-видимому, это происходило уже во время его работы в стенах Института философии. Мы продолжали общаться, изредка встречаясь на различного рода научных мероприятиях, в библиотеках, на улице. А со временем просто стали довольно регулярно перезваниваться. Я звонил Вадиму, Вадим звонил мне, задавая свой традиционный вопрос о том, что нового, яркого и так далее. В основном, конечно, наше общение было бытовым, но тем не менее уже в это время стали появляться его публикации и в журнале «Полис» и не только в нем.

Вадим всегда демонстрировал замечательное умение объединять различные научные подходы. Например, в его цикле из двух статей, посвященных поэтике политики, как сразу стало ясно, формировался очень и очень интересный взгляд на вещи. В дальнейшем, насколько я понимаю, этот подход эволюционировал в направлении, все-таки более близком традиционной геополитической проблематике, хотя, конечно, результат знакомства Вадима с не слишком обычными для представителей геополитики идеями и методами был совершенно очевиден.

В какой-то момент Вадим превратился в классика соответствующего научного направления и стал восприниматься таковым определенного рода референтной группой, к которой я, однако, не имел почти никакого отношения (можно даже сказать, вообще никакого) и в некотором смысле наблюдал за его эволюцией со стороны. Хотя, конечно, читать его работы было чрезвычайно интересно, и невозможно было не подивиться тому, сколь огромный круг самых различных концепций, взглядов, теорий он пропускал через себя.

По-видимому, это давалось ему не очень легко, потому что он неоднократно жаловался на то, как его не оставляет вся эта проблематика, и на то, что его бедная голова в конце концов со всем этим не справится. Возможно, это было кокетством, но возможно, и нет. Когда Вадим ушел от нас, очень многие удивлялись, узнав, что было причиной его смерти. Весьма распространенной была именно такая реакция: мы думали, что у него что-нибудь будет с головой, а оказалось все-таки нет, не с головой. Хотя, конечно, его ранний уход был – для тех, кто не общался с ним близко, – неожиданным. Впрочем, в последние годы жизни он действительно выглядел скверно.

Вот это, пожалуй, основные и довольно поверхностные наблюдения, которыми я мог бы поделиться. Утверждать, что я в состоянии реконструировать тонкости его интеллектуального развития, я бы, конечно, не решился. Хотя допускаю, что контраст между совершенно незаурядными интеллектуальными способностями и, скажем так, жизненной неустроенностью Вадима был очень и очень значительным. И, возможно, в какой-то степени именно этот контраст и сказался на том, как развивались его не только научные, но, в общем-то, и политические взгляды.

Хотя нужно сказать, что он никогда, во всяком случае в разговорах со мной, не настаивал на этих взглядах. Он с очевидностью обладал тем, что Роберт Абельсон когда-то назвал экспертной моделью мира. Иными словами, способностью осознать специфику любой модели мира, понимать, в чем заключается каждая из них, и, если угодно, даже менять эти модели мира, если это необходимо для понимания действительности в общении с собеседником



и так далее. Это не подстройка, конечно, и ни в коей мере не беспринципность, а просто способность если не вставать на альтернативную точку зрения, то, во всяком случае, понимать ее.

Дальше углубляться в это я не хотел бы, потому что, в конце концов, еще Пушкиным было сказано насчет того, что «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...» и т. д. Вадим никоим образом не был погружен «в заботы суетного света», нет. Но тем не менее пусть не суетный, но социальный свет не оставлял Вадима, скажем так, своим «попечением». И это, конечно, сильно осложняло его жизнь.

Возможно, кстати, в какой-то степени это способствовало тому, что одним из направлений его интеллектуальной реализации была такая все-таки очень специфическая область знаний, как геополитика. Скорее всего, он вполне сознательно рассматривал ее как ту область, в которой можно заниматься чистой интеллектуальной деятельностью. Во всяком случае, насколько я знаю, из геополитической проблематики, причем с довольно отчетливым консервативным уклоном, никаких особенных для себя выгод Вадим не извлек и, по-моему, не собирался извлекать.

Последний раз я видел Вадима в больнице, за несколько недель до его смерти. Он не расставался с кислородным баллончиком, но тем не менее чувствовал себя неплохо. По-видимому, это была ремиссия. И нужно сказать, что он как раз раздумывал на тему о том, как бы продолжить или, во всяком случае, довести до читателей свои исследования, все-таки скорее имеющие отношение к истории и к античному миру. Это штамп, но он действительно был полон творческих планов. Если эту ноту можно считать оптимистической, то я на ней был бы склонен закончить свой монолог.

В.М. Сергеев. Несмотря на то, что с начала 1990-х годов Вадим достаточно глубоко погрузился в геополитику, и представлялось, что именно геополитика является его основным интересом, он сделал несколько работ скорее по когнитивной науке, чем по политологии, и эти работы были весьма инновационными. И вообще его интерес к когнитивной науке остался, на мой взгляд, очень сильно нераскрытым. Между тем этот интерес приводил к весьма впечатляющим результатам, прежде всего в области лингвистики текста. Он достаточно серьезно интересовался этой областью, и весьма неожиданным поворотом этой темы было его обращение к жанровым формам политологической мысли и политологической литературы. Это направление едва намечено было в 1984 году Хейвордом Олкером в паре статей, которые Хейворд опубликовал. Вадим очень серьезно отнесся к этим результатам и развил те мысли, которые Олкер высказывал в этих работах. Развитие получилось неожиданное. И, на мой взгляд, это направление, если бы он им занялся всерьез – к сожалению, у него на всё, видимо, просто физически не хватало времени, – могло бы принести много интересных открытий. Вадим сформулировал целый ряд общих положений, которые приводили к совершенно новому пониманию жанра. И позволяли классифицировать политические тексты с этой точки зрения.

Это достаточно глубоко было им отражено в целом ряде публикаций, в частности, в работе о понимании победы в советской военной политической мысли. Это большая работа, объемом где-то около трех авторских листов, которая должна была быть первоначально опубликована в Соединенных Штатах, но потом, видимо, по политическим причинам все-таки не была взята. И, на мой взгляд, те мысли, которые содержатся в этой работе, – это очень интересный вариант интерпретации советских политических текстов вообще. С такой точки зрения на них никто никогда не смотрел. Мне эта работа представляется очень серьезным вкладом Вадима в политическую мысль. Эти работы все-таки опу-

бликованы (правда, опубликованы в каких-то крайне малодоступных изданиях), и, думаю, после их переиздания они в будущем окажут свое влияние.

П.Б. Паршин. Да, безусловно, Вадим продемонстрировал замечательное умение обнаруживать и убедительно показывать взаимную релевантность на первый взгляд далеко отстоящих друг от друга традиций – политической мысли, классической филологии и современной когнитивной науки. Он занимался политическими текстами, но вполне возможно, что если бы он занялся другими видами текстов, ему тоже удалось бы обнаружить много интересных фактов. Вадим продемонстрировал, что применение идей, почерпнутых из филологических наук, очень хорошо позволяет, в частности, структурировать самые разнообразные модели политического действия. В этом смысле он, конечно, был филологом в очень глубоком и сильном смысле.

Надо, конечно, еще сказать, что родство его различных ипостасей осознавалось далеко не всеми. На церемонии прощания с Вадимом представителей филологической и лингвистической общественности было очень и очень мало. Хоронили его, судя по всему, те, кто был знаком с его поздними геополитическими работами. Такое бывает, когда человек занимается очень и очень разными вещами и в какой-то момент начинает казаться сменившим свою сферу интересов. Вадим ее по большому счету не менял. В связи с этим уместно заметить, что жесткое разделение работ Вадима на филологические и геополитические при их публикации, быть может, не вполне оптимально. Такой подход не способствует осознанию, во-первых, разнообразия и глубины его вклада, а во-вторых, вполне все-таки органичного сочетания полученных им результатов.

Поэтому, на мой взгляд, попытка выбрать из творческого наследия Вадима как раз те работы, которые демонстрировали бы то обстоятельство, что в некотором смысле он все-таки всегда занимался если не одними и теми же (это было бы, наверное, преувеличением, особенно с учетом его работ по гомероведению), то близкими проблемами, так вот, такая попытка была бы чрезвычайно полезной и способствовала бы более адекватному осознанию характера его наследия.

В.М. Сергеев. Вадим был сложным, очень сложным человеком. И понимание его деятельности должно учитывать и этот факт. Многие вещи, которые покажутся, может быть, излишне эксцентричными, наверное, гораздо естественнее смотрелись бы в контексте такого более широкого понимания.

Хотел бы отметить еще несколько направлений, которые Вадим в своей работе успел только обозначить. Тем не менее мне представляется, что эти направления являются чрезвычайно важными. Одно из них – изучение конфликтных систем.

В наших разговорах с Вадимом мы очень часто обсуждали судьбу того, что он впоследствии назвал лимитрофными зонами. Вокруг лимитрофных зон, как показывает анализ, в частности, ситуации на границе раздела между православием и католицизмом, образовалась чрезвычайно устойчивая конфликтная структура. Мы назвали эту конфликтную структуру черноморско-балтийской, поскольку она соединяла Черное и Балтийское моря. По обеим сторонам от кратчайшей линии соединения этих морей находились на протяжении всего времени, начиная где-то с XV века, большие государства: с одной стороны Россия, с другой – Речь Посполитая, потом Германия и Австро-Венгрия. Эта зона на протяжении многих столетий была зоной устойчивого конфликта, причем структура конфликта воспроизводилась, несмотря на замену его субъектов.

В тот момент, когда мы обсуждали эти вопросы, данная проблема казалась неактуальной, потому что существовал Советский Союз. Но неожиданно, после распада Советского Союза эта конфликтная структура вновь ожила. Это



говорит о том, что конфликтные структуры такого рода являются чем-то большим, чем отношения между конфликтующими странами. Это некая структура, живущая собственной жизнью независимо от того, кто ее наполняет.

Такого же рода структуры были обнаружены и в Средиземноморском бассейне, и мне представляется, что разработка этой идеи, идеи о том, что конфликтная структура живет, так сказать, сама по себе, – это достаточно новое направление в изучении международных отношений. Так, собственно говоря, никто к международным отношениям никогда не подходил.

Насколько мне известно, спустя некоторое время Цымбурский опубликовал несколько статей, где эти идеи излагались, но туда не вошла значительная часть наших с ним рассуждений по этому поводу. Обсуждения проходили в основном в 1988–1989 годах. Насколько я знаю, эти идеи впоследствии использовались Михаилом Васильевичем Ильиным в ряде его работ, и почерпнуты они были, насколько я понимаю, Ильиным из разговоров с Цымбурским.

Это одно направление. Другое направление, которое мне представляется тоже очень важным, это направление, связанное с исследованием структуры принятия решений. Мы с Вадимом много обсуждали этот вопрос – как можно представить себе абстрактную когнитивную структуру принятия решения. Опубликовали вместе две работы на эту тему: одну в тартуских «Трудах по искусственному интеллекту», другую – в сборнике «Компьютеры и познание». Впоследствии Вадим еще долго работал над этой темой и, как мне представляется, довольно существенно довернул ее.

Абстрактная структура принятия решения позволяет достаточно легко проводить сравнительные исследования, потому что можно выяснить, чем различаются между собой структуры принятия решения различных политических деятелей и чем различаются между собой социальные группы, формирующиеся вокруг политического деятеля и принимающие участие в принятии им политического решения.

Смысл этой затеи заключался в том, чтобы разграничить достаточно основательно различные компоненты структуры принятия решения по их когнитивной роли, то есть прежде всего различить онтологические предпосылки, структуру ценностей и непосредственно процедуру, направленную на достижение цели. Дело в том, что в большинстве современных работ грубейшим нарушением анализа структуры принятия решения является путаница между онтологическими посылами и структурой ценностей. Иногда собственно представление об онтологических посылах вообще явно не формулируется, а различие в культурных стереотипах относят за счет различия в структуре ценностей. Такое впечатление, что онтология вообще исчезает из когнитивной модели принятия решения.

Это довольно серьезная ошибка, и, на мой взгляд, работы, которые Вадим проводил в этом направлении, частично вместе со мной, направлены на очень серьезный пересмотр, в частности, структуры политической деятельности, так как без анализа онтологических посылок, по существу, очень часто невозможно адекватно оценить характер политики.

П.Б. Паршин. Хотел бы еще сказать буквально несколько слов о том, насколько нетривиальным образом Вадим, скажем так, воспринимал самые различные области культуры и находил возможности, анализируя эти культурные области, делать интересные и далеко идущие выводы.

В частности, это касалось его совершенно очевидного интереса к массовой культуре, причем, может быть, даже не просто массовой культуре, а к жанру фэнтэзи как одному из ее проявлений, к которому в нашей стране никогда не было принято относиться особенно всерьез, хотя в последнее время мы видим, что рефлексии по поводу масскульты становятся распространенным и респектабельным жанром.

В частности, Вадим исключительно интересовался графом Дракулой, а также писателем Брэмом Стокером, который ввел эту фигуру не только в число исторических знаменитостей, но и в литературный пантеон. Чрезвычайно интересно, что именно с предисловием Вадима вышло первое за много лет русское издание – если не ошибаюсь, в конце 1980-х годов – книги Стокера.

Исключительный интерес вызывало у него и творчество Стивена Кинга. Прочитав его первые романы, опубликованные на русском языке (это были, если не ошибаюсь, «Мертвая зона», потом «Воспламеняющая взглядом» – из лучших романов Кинга), Вадим очень заинтересовался творчеством американского писателя и постарался со свойственной ему основательностью и дотошностью прочесть все сочинения Кинга, до которых сумел дотянуться. Такой же интерес он у меня на глазах (книжку ему показал я) проявил и к роману Колина Уилсона «The Mind's Parasites» (впоследствии роман появился в русском переводе, но первоначально это было издание на английском языке, опубликованное еще в Советском Союзе).

Такой интерес довольно интересным образом коррелирует с его взглядами на поэтику политики, о которых мы уже говорили, и это небольшой штрих, который мне хотелось бы добавить к нашему разговору.



Вадим, мой друг

Мои контакты с Вадимом начались в уже едва различимых 1970-х годах. Причем предметом общения было не языкознание, постижением которого мы тогда занимались, учась на филологическом факультете МГУ. И не объединившие нас гораздо позднее политология и политическая философия.

Тогда мы оба писали стихи, ходили в кампании, где и читали их друг другу, критиковали, анализировали, подначивали... Стихи Вадика мне очень нравились, особенно запомнились строки о Речице – городке, где, как я думала, Вадик вырос (мы знали, что он приехал из Белоруссии): «Где я первый раз вдохнул всей грудью». Гораздо позднее я пришла к выводу, что это были места, куда в детстве его возили отдыхать. Однако когда уже в конце его жизни я предложила собрать стихи, в том числе о Речице, он воскликнул с болью: «Об этом лучше не говорить!».

Стихотворные увлечения постепенно были отодвинуты научными изысканиями. При редких встречах (а в отсутствие Интернета и даже мобильных телефонов у нас обоих других способов контактов и не было) я узнавала о Вадинькиных исследованиях в области балканских языков, сохранившихся крайне фрагментарно, – фракийского, македонского. Уже совсем недавно я обнаружила, что его успехи в этой области высоко ценились историками. И к балканским языкам добавился таинственный этрусский, о котором историк и популяризатор Александр Немировский заметил в одной из своих последних книжек: мол, если бы Вадим Цымбурский не увлекся политикой, мы бы сейчас имели уже прочитанные этрусские надписи.

Вадим, однако, успел написать (не знаю, до какой степени готовности) монографию по этрусскому языку. И когда, узнав о диагнозе-приговоре, он начал систематизировать свои работы, о книге по этрусскому было сказано, что это то небольшое, что он хотел бы оставить после себя. К сожалению, в последний год его жизни мы только перезванивались, поэтому в дальнейшей судьбе рукописи я участия не принимала.

Общаться более или менее регулярно мы с Вадиком (которого я по-прежнему звала Вадинькой, поскольку он был младше меня) стали в конце 1990-х, после встречи в непривычно просторной тогда Ленинке. Он покашливал, жаловался, что никак не поставят диагноз. Конечно, о том, что это было на самом деле, никто не догадывался. С этой встречи наши беседы были посвящены почти исключительно проблемам геополитики (в широком смысле слова), поскольку и меня всё больше интересовали пути развития человечества, которые, как я поняла после трехлетней командировки в Европу, вовсе не столь однозначны, как нам представлялось по марксистской и антимарксистской литературе.

Мы не сходились во взглядах. Вадим проявил себя поклонником Шпенглера и собственные выводы считал развитием этих взглядов. Впрочем, вполне творческим. Особенно плодотворным мне показалось обращение к понятию хронополитики, давно сформулированному, но мало востребованному.

О его «занятиях политикой», то есть политологией, точнее политической историей, я узнала в конце 1980-х, когда он оказался в числе соавторов работы, показывающей, что границы стран Варшавского договора совпадают с западными границами «вторичного закрепощения крестьян»¹. Смысл совпадения был мне непонятен, но я восхитилась способностью улавливать связи в отдаленных объектах – почти как сопоставление колебаний числа грызунов, эпидемий и т.п., обнаруженных Александром Чижевским и объясненных циклами солнечной активности.

Однако я к этому времени уже была убежденным антиглобалистом и видела, что единый процесс исторического развития человечества уже не оставляет времени и места для возникновения новых цивилизаций или для повторения пути «передовых держав». Вадим к этим взглядам относился весьма скептически. Тем не менее, когда в 2005 году мы попытались организовать Всероссийский форум антиглобалистов с использованием Института философии РАН, и в какой-то момент выяснилось, что это будет возможно только при участии в Оргкомитете какого-нибудь сотрудника института, Вадим, уже работавший там, дал свое согласие. Он просидел на заседаниях весь день, выступить и дать статью в сборник отказался и, прямо скажем, разругал почти все доклады. И впрямь, большинство выступлений явно были на злобу дня и на глубину анализа не претендовали. (Можно вспомнить разве что доклад киевского психолога Алексея Мартюшева, анализировавшего «помаранчову» революцию в Киеве, но и тот скорее констатировал факты, чем пытался их объяснить.)

В дальнейшем мы встречались редко, больше перезванивались. Вадим был удручен своей бытовой неустроенностью, болезнью, которую никак не удавалось вылечить. Один раз, оказавшись в Институте, я заглянула к Вадиму в сектор в присутственный день, но его не застала. Когда я спросила одну из сотрудниц, что с Вадимом Леонидовичем, она ответила: «Рак». Потом и Вадик мне рассказал о диагностике и лечении. Но больше говорил о сборнике своих работ, который смог опубликовать. Он хотел, чтобы прошла презентация, я попыталась её организовать, беседовала об этом с Михаилом Ремизовым. Потом узнала, что это удалось.

Я вспоминаю наши телефонные разговоры, голос Вадима – иногда воодушевленный какой-то новой мыслью, иногда отчаянный: «Ты понимаешь, я умираю!». Мои сбивчивые рассуждения на религиозные темы не находили у него отклика. Его состояние здоровья я с ним особо подробно не обсуждала, а он тоже об этом не говорил. Только сообщил, что ему помогли попасть в очень хорошую больницу, там он проходит необходимое радиологическое лечение. Последний его звонок мне тогда казался очередным...

О том, что его больше нет с нами, я узнала из Интернета. Не думала я, что столько людей его знают, читают, обсуждают. Для меня он оставался младшим товарищем, способным на гениальные прозрения. Как хорошо, что они были замечены и оценены еще при его жизни. А голос его всё еще звучит в моей памяти.

¹ Сопоставление границ распространения «второго издания крепостничества» и рубежей стран «народных демократий» принадлежит академику С.Д. Сказкину, на выходы которого В.Л. Цымбурский ссылался в своей работе «Остров Россия. Перспективы российской геополитики»: «Особенно впечатляет то, что железный занавес, разделивший «ялтинскую» Европу, совпадает к северу от Балкан с минимальными отклонениями, вроде Шлезвиг-Гольштейна и т.п., с границей «второго издания крепостничества». Похоже, Сталин в Ялте получил ровно то, что западный мир в лице его лидеров не считал с уверенностью своим. Читая слова С.Д. Сказкина о том, что «второе издание крепостничества» должно было привлечь особое внимание «ученых стран народной демократии, ибо как раз на территориях этих стран за малым исключением такое второе издание имело место», мы вправе усмотреть прямую связь между этой контрмодернистской формой вхождения восточноевропейских народов в западную экономику, а с ней и в культурный мир Возрождения и Реформ». См.: *Сказкин С.Д. Основные проблемы так называемого «второго издания крепостничества» // Вопросы истории. 1958. № 2. С. 97. – Примеч. ред.*

БОРИСОВА (Широкова)

Елена Георгиевна

доктор филологических наук, профессор. Окончила филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Ведет исследования в области языкознания, в последние десятилетия – в коммуникативистике, политической лингвистике, рекламистике. Наиболее известные работы: «Основы руморологии. Теория и практика управления слухами» (М., 2014; в соавт. с С.А. Василенко), «Язык общественно-политической коммуникации» (М., 2012), «Алгоритмы воздействия» (М., 2005), а также изданная в 1999 году под редакцией Е.Г. Борисовой и Ю.С. Мартемьянова коллективная монография «Имплицитность в языке и речи». Вела общественно-политический проект «Антиглобалистское сопротивление», выпустила сборники «Антиглобализм» и «Антиглобализм: новые повороты». Ведет сайт www.anti-glob.ru

ВАНЧУГОВ

Василий Викторович

доктор философских наук, профессор кафедры истории русской философии философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, заместитель главного редактора сайта «Русская idea». Автор монографий: «Русская мысль в поисках “Нового света”: “золотой век” американской философии в контексте российского самопознания» (М., 2000), «Москвософия и Петербургология: Философия города» (М., 1997), «Женщины в философии (из истории философии в России XIX – нач. XX вв.)» (М., 1996; М., 2009), «Очерк истории философии “самобытно-русской”» (М., 1994), составитель русско-английского и англо-русского словаря «Русская философия» (М., 2005).

ВОЛОДИХИН

Дмитрий Михайлович

доктор исторических наук, доцент кафедры источниковедения исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Автор монографии «Социальный состав русского воеводского корпуса при Иване IV»

(СПб., 2011) и многочисленных научно-популярных публикаций.

ГРОМЫКО

Юрий Вячеславович

доктор педагогических наук, директор Института опережающих исследований им. Е.Л. Шифферса. Среди работ Ю.В. Громыко: «Политическая антропология. Руководство для управленцев и педагогов» (М., 2012), «Метод В.В. Давыдова: Учебная книга для управленцев и педагогов» (М., 2003), «Проектное сознание: Руководство по программированию и проектированию в образовании для систем стратегического управления» (М., 1998).

ИЛЬИН

Михаил Васильевич

доктор политических наук, профессор. В 1971 году окончил филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. В 1976 году защитил кандидатскую диссертацию, посвященную творческому методу последних пьес Вильяма Шекспира. В начале 1980-х годов приступил к изучению студенческого движения, разнообразных форм организации гражданских инициатив в различных странах мира, к их сравнению и типологизации. Данное направление исследований институтов гражданского общества и общественных движений стало основной дальнейшей научной деятельностью М.В. Ильина. В настоящее время – руководитель аспирантской школы по политическим наукам НИУ ВШЭ, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО, руководитель Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН. Из публикаций М.В. Ильина: «Асимметрия мировой системы суверенитета: зоны проблемной государственности» (под ред. М.В. Ильина и И.В. Кудряшовой. М., 2011), «Балто-Черноморье: времена и пространства политики» (Калининград, 2010; в соавт. с Е.Ю. Мелешкиной), «Очерки хронополитической типологии: Проблемы и возможности типологического анализа эволюционных форм политических систем» (М., 1995). Почетный президент Российской ассоциации политической науки.

МЕЖУЕВ**Борис Вадимович**

кандидат философских наук, доцент кафедры истории русской философии философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Председатель редакционного совета сайта «Русская idea». Заместитель главного редактора газеты «Известия». Один из основателей портала «Terra America». Автор книг «Перестройка-2. Опыт повторения» (М., 2014) и «Политическая критика Вадима Цымбурского» (М., 2012).

ПАВЛОВСКИЙ**Глеб Олегович**

политолог, политехнолог, журналист. Основатель и директор Фонда эффективной политики. Один из основателей интернет-издания «Русский журнал». До апреля 2011 года – советник Руководителя Администрации Президента РФ.

СЕРГЕЕВ**Виктор Михайлович**

кандидат физико-математических и доктор исторических наук, профессор. В 1986–1990 годах – заведующий лабораторией структурного моделирования Института США и Канады АН СССР, в которой с момента ее основания работал В.Л. Цымбурский. В дальнейшем В.М. Сергеев являлся заместителем директора Аналитического центра по научной и промышленной политике Министерства науки и технологий РФ (до 1993 года – Аналитический центр президиума РАН). Впоследствии – директор Центра международных исследований МГИМО. В настоящее время – директор Центра глобальных проблем Института международных исследований МГИМО и профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО.

Автор многочисленных и разнообразных по тематике научных работ, в их числе: «Народовластие на службе элит» (М., 2013), «The Wild East» (New York, 1998), «Пределы рациональности» (М., 1998). Член Ассоциации политических исследований, Кантовского общества, Российской ассоциации искусственного интеллекта, член правления Центра философии, психологии и социологии религии, почетный профессор Лидсского университета (Великобритания).

ПАРШИН**Павел Борисович**

кандидат филологических наук, доцент. Учился с В.Л. Цымбурским на филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова и работал с ним в лаборатории структурного моделирования Института США и Канады АН СССР. В настоящее время – ведущий научный сотрудник Центра глобальных проблем ИМИ МГИМО, преподает в МГЛУ. Сотрудничал (в течение всего времени его существования) с АНА «Московский институт рекламы». Почетный профессор Университета печати имени Ивана Федорова.

Автор и редактор многочисленных публикаций по лингвистической семантике, теории политического текста, политической и маркетинговой коммуникации. Соавтор «Англо-русского словаря по лингвистике и семиотике» (2-е изд., 2003) и коллективной монографии «Нанотехнологии: Форсайт» (2006).

ТЕСЛЯ**Андрей Александрович**

кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета, г. Хабаровск. Основная область научных интересов: история русской консервативной мысли XIX века. Автор монографий: «Первый русский национализм... и другие» (М., 2014), «Последний из отцов. Биография И.С. Аксакова» (СПб., 2014), «Источники гражданского права Российской империи XIX – начала XX века» (Хабаровск, 2005), «Земельная собственность в России: правовые и исторические аспекты (XVIII – первая половина XIX вв.)» (Хабаровск, 2004; в соавторстве с М.А. Ковальчуком).

ХАРИН**Алексей Николаевич**

кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных наук Кировского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Автор книг: «Трагедия СССР: Взгляд из прошлого и настоящего» (М., 2013), «Модели государственного устройства в условиях глобализации: сценарии для России» (М., 2013), «Восприятие населением Вятской

губернии международного положения и внешней политики Советской России в 1917–1928 гг.» (Киров, 2011), «Введение в политическую культуру: учебное пособие» (Киров, 2010), «История мировых цивилизаций: учебное пособие» (Киров, 2009; в соавт. с Е.В. Кустовой), «Закат Советской цивилизации 1985–1993 гг. Взгляд из провинции» (Киров, 2008).

ХАТУНЦЕВ

Станислав Витальевич

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России исторического факультета Воронежского государственного университета. Автор монографии «Константин Леонтьев. Интеллектуальная биография, 1850–1874 гг.» (СПб., 2007). Автор поэтических сборников «Факелы среди льдов» и «Сны Абракса».

ХОЛМОГОРОВ

Егор Станиславович

публицист, учился на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, какой не окончил, но сохранил интерес к русской средневековой и античной истории. Развивает идеологию русского национализма как православного, консервативного и в то же время демократически ориентированного. Акцентирует русскую культурную историческую идентичность.

Главный редактор интернет-журналов «Русский обозреватель» и «Новые хроники». Автор книг: «Карать карателей» (М., 2014), «Защитит ли Россия Украину?» (М., 2006), «Русский националист» (М., 2006), «Русский Проект: Реставрация будущего» (М., 2005).

ЦЫГАНКОВ

Андрей Павлович

окончил философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, PhD, профессор кафедры международных отношений и кафедры политических наук в Университете штата Калифорния в Сан-Франциско. Жил, учился и работал на Украине, в Татарстане, Москве. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации в России и США. С 2000 года преподает международные отношения

и российскую политику в Университете штата Калифорния в Сан-Франциско. Основная специализация: внешняя политика и политическая мысль России, российско-американские отношения, международные отношения стран Евразии. В России опубликовал одну из первых книг о политических режимах «Современные политические режимы: структура, типология, динамика» (М., 1996). Кроме нее на русском языке опубликованы книги «Социология международных отношений» (в соавторстве с П.А. Цыганковым; М., 2006, публиковалась также в Германии и Китае), «Внешняя политика России от Горбачева до Путина. Формирование национальных интересов» (М., 2008), «Международные отношения: традиции русской политической мысли» (М., 2013). Книги и статьи публиковались также в США, европейских странах, Китае и Южной Корее. В числе опубликованных на Западе книг: «The Strong State in Russia: Development in Crisis» (2014), «Russia and the West from Alexander to Putin: Honor in International Relations» (Cambridge University Press, 2012), «Anti-Russian Lobby and American Foreign Policy» (2009), «Whose World Order? Russia's Perception of American Ideas After the Cold War» (Notre Dame, Ind., 2004), «National Identity and Foreign Economic Policy in the Post-Soviet World» (2001). Книга-учебник «Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity» выдержала три издания (2006, 2010, 2013).

ЩАВЕЛЕВ

Алексей Сергеевич

окончил исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, в Институте всеобщей истории РАН защитил кандидатскую диссертацию «Представления о власти в славянских легендах о первых князьях». Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. Автор монографии «Славянские легенды о первых князьях. Сравнительно-историческое исследование моделей власти у славян» (М.: Северный паломник, 2007), а также научно-популярной книги «Викинги. Между Скандинавией и Русью» (М., 2009; М., 2013; в соавторстве с А.А. Фетисовым, А.С. Северяниным). См. подробнее: <http://igh.academia.edu/AlekseyShchaveljev>; <http://pashuto.ru/names/shchaveljev>

Альманах Фонда ИСЭПИ
Тетради по консерватизму
№ 1 2015

Редактор
Е.М. Кострова

Художественное оформление
В.И. Кучмин

Компьютерная верстка
А.В. Талалаевский

Издатель
*Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических
и политических исследований (Фонд ИСЭПИ)*
www.isepr.ru

Подписано в печать 10.02.2015. Формат 60x90¹/₈. Усл. печ. л. 27,0.
Тираж 1000 экз. Заказ 122

Отпечатано в ООО «Богородский полиграфический комбинат»
142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 40б